

Молодой Ленинград - 1975

Молодой
Ленинград
1975

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ · ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ · 1975

Литературно-
художественный

альманах

молодых

писателей

Молодой
Ленинград
1975

Главный редактор

Арк. Минчковский

Редакционная коллегия:

С. Давыдов

Н. Пантелеймонов (составитель)

Б. Сергуненков

А. Шевелев

© Издательство «Советский писатель», 1975 г.

Стихи
участников
VI Всесоюзного
совещания
молодых
писателей

VI Всесоюзное совещание молодых писателей явилось важным событием в нашей литературной жизни, оно дало нам возможность ощутить молодые дарования страны.

Ленинградцы — участники совещания — не потерялись в звучном хоре голосов молодых советских художников слова. О творчестве ленинградцев шла речь не только во время занятий семинаров. До широкого читателя их стихи доносили радио, телевидение, пресса...

Следует сказать, что не все ленинградцы имели в своем активе одинаковые творческие достижения. У одних — были книги, у других — лишь первые публикации. Но живое слово, рожденное опытом жизни, чувствовалось в стихах многих молодых ленинградских поэтов, приехавших в Москву.

На семинарах отмечалось, что многие авторы вполне владеют средствами художественного изображения. Им удается при помощи найденных образов выразить те или иные моменты душевного состояния человека. Но цельного поэтического мира при этом не возникает. И здесь со всей очевидностью выявлялась истина: наличие поэтических способностей еще не делает человека художником — важна общественная направленность дарования, таланта. Гражданские мотивы

в поэтическом творчестве рождаются как следствие жизненной позиции писателя.

Не простой вопрос — профессионализация молодого автора. Зачастую бывает так: школа — институт — первая, вторая книга — вступление в Союз писателей — профессиональная работа. Если молодой поэт живет богатой духовной жизнью, то такой путь может оказаться приемлемым для его творческого развития.

Но если внутренний мир поэта беден, если поэт, выпустив первый сборник, самоуспокоился, то вскоре последуют горькие разочарования. Необходимость тесной связи с жизнью для молодого поэта — это не назидательная пропись.

Хочется верить, что в дни работы совещания, общаясь со сверстниками и мастерами литературы, молодые поэты Ленинграда нашли новые импульсы для своей творческой работы, которые помогут их художническому росту.

Анатолий Белов



ДВЕНАДЦАТЬ ЛЕТ ТОМУ НАЗАД

Померкло северное небо,
отполыхал осенний сад.
Каким я был
(каким я не был!)
двенадцать лет тому назад!

Я жил, как яхта на приколе
перед уходом в океан.
Из-за меня в вечерней школе
с трудом вытягивали план.

Я рисовал карикатуры
для стенгазеты «Крокодил» .
и на урок литературы,
как на свидание, ходил.

Я повторял чужие строчки,
о утраченном скорбя.
Я, как побег в осенней почке,
еще предчувствовал себя.

БЕЛЫЕ НОЧИ

Белые ночи,
милостью чьей
вы — будто прочерк
в списках ночей?

Вы — как наброски
вечного дня.
Русской березке
вы — не родня?

Быль или небыль
то, что века
светится небо,
блещет река;
то, что на шпили,
на купола
тучи наплыли,
мгла наплыла?

Люди проснутся —
верят они,
что не вернутся
черные дни.

КОРЕНЬ ДУШИ

Наша жизнь — нерешенные дроби.
Математики ходят в чести —
их еще в материнской утробе
обучили считать до пяти.

Им завидный удел напророчен,
им любая задача — пустяк.
Над моей же судьбой приколочен —
во-о-от такой! — вопросительный знак.

Я, бывает, не сплю до рассвета,
без меня мой сынишка подрос.
Но никак не достичь мне ответа
на простой, пустяковый вопрос.

День за днем, землекопа упорней,
проедая за месяц гроши,
я веду извлечение корня
из моей беспокойной души.

ПЕРЕД ПУШКИНСКИМ ПОРТРЕТОМ

Кто-то запросто зовет себя поэтом.
Ну а я перед соблазном устою —
не повешу рядом с пушкинским портретом
фотографию бумажную свою.

Кто-то плачет, что в поэты не пропущен.
Ну а надо бы судьбу благодарить
за немалую возможность —
как и Пушкин,
жить в России и по-русски говорить.

Валентин
Голубев



МЕТЕЛЬ ВРЕМЕН

Когда метет метель времен
В белесом небе голубином,
Мне дорог птичий перезвон
Над русским деревом рябиной.

Кострами в поле ослеплен,
Я ухожу в сентябрь, в безбрежье.
Метель пылающих времен —
Моя бунтующая нежность.

Сентябрь все гнезда разорил,
И ловят ветры без затишья
Багряным неводом зари
В просторах синих стаи птичьи.

Метель времен — под облака
Летящий яро птичий угол.
В твоей сумятице упругой
Все потерял — не отыскать
Ни самого себя, ни друга.

В ладонях гром не уместить,
Не укачать в качалке горя...
И ты, метель, над красным взгорьем
Мети, но сердце не мельчи,
Придумай что-нибудь другое.

* * *

В осень, в пору проливную,
Без остатка кану весь.
Никого не приревную
К самой лучшей из невест.

Заслону я звезды на небе,
Обожгуся сгоряча...
Ты меня поймешь когда-нибудь,
Только помнишь обещаешь.

Не беда меня осилила,
И не песней я разбит:
Слишком ты была красивою,
Мне такую не любить.

Мы справляем в дни осенние
Запоздалый пир весны.
Где же те, в июльском сене
Разметавшиеся сны?

Поцелуем эти плечи
Мне теперь не золотить.
Будет легче, будет легче,
Тяжелее будет жить.

День придет, и час настанет,
Может, вспомнишь невзначай...
До свиданья, до свиданья,
Даже, может быть, прощай.

* * *

Еще не поздно все уладить,
Не ханжествуя, не юля...

Листочек вырву из тетради
И напишу: «Прощай, моя

Весна, не вызревшая в лето,
Мечта, не ставшая судьбой.
К чему обиды, если это
Решила жизнь за нас с тобой?

Ведь все равно не миновать
Нам поля минного разлуки,
Не целовать, не миловать —
Скорбеть, заламывая руки. . .»

ВСТРЕЧА

Не укрыться у крыльца
Солнышку в корытце.
Что смахнула ты с лица —
Совесь ли, корысть ли?

На забор, на косогор
Посмотрела мимо,
Песням всем наперекор
Брови разломила.

И стояла — не прильни,
Бровью хорошея,
А еще через миг
Бросилась на шею.

Умоляла: «Бег убавь!»
Что же ей ответить?
Ветру поле судьба,
Он на то и ветер.

Владимир
Головяшкин



**НА КОНЦЕРТЕ
В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ**

Я помню,
После песни современной,
Аплодисменты долгие уняв,
На сцену вышел паренек военный
И объявил негромко:
— «Жди меня».

Притихли вдруг,
Застыли напряженно,
Все в зрение и слух обращены,
Сегодняшние любящие жены
И вдовы не вернувшихся с войны.

Сидели все, не проронив ни звука,
Пока стихи звучали в тишине.
Одни считали —
Это о разлуке.
Другие знали —
Это о войне.

СЕВЕР

Особый край.
Особые приметы.
Полгода вьются снежные холсты.

Как яростно зато
Коротким летом
Спешат цвести деревья и цветы.

И каждый лучик солнца на учете,
И у людей,
Конечно, неспроста
Окружены особенным почетом
Тепло избы
И сердца доброта.

* * *

Тихо-тихо.
Уставшая за день,
Спит земля,
Погрузившись во тьму.
В этот час даже песня некстати,
Даже девичий смех ни к чему.

Даже кажется,
Если березы
Чье-то имя во сне назовут,
Вмиг осыплются крупные звезды
С неба
В мокрую эту траву.

МЕДВЕДИЦА

Пока восток зарей не светится,
Из чаши,
Мокрой от росы,
Большая, добрая медведица
Выходит тихо на овсы.

.. Ножи охотничьи отточены,
Отлиты пули про запас,

И в двух березах у обочины
Замаскированный лабаз.

Здесь все дистанции оценены —
Охотники не новички.
На поле сквозь листву нацелены
Двухстволок острые зрачки.

Но у охотников,
Мне верится,
Внезапно руки задрожат.
Уйдет от выстрелов медведица
И нарожает медвежат.

* * *

Гуще зелень.
Небеса синей.
Холодней туманные рассветы.
С каждым днем я чувствую сильней —
Остывает северное лето.

Где-то в самой глубине души
Зреет грусть,
Как осени примета.
В тишине
В лесной моей глуши
Остывает северное лето.

Там, где ты,
Еще стоит жара,
Пахнут дни асфальтом разогретым.
Ну а здесь
Прохладны вечера —
Остывает северное лето.

Было что-то светлое в судьбе.
Боже мой,
Как далеко все это!
Остывает память о тебе.
Остывает северное лето.

Григорий Калюжный



ГОСТЬ

Облупленное зеркало зимы. . .
Толпились мы в просторном вестибюле —
Кто с мамой, кто без мамы,
Кто холмы
Разглядывал в окне, застыв на стуле.
Все было ново:
Местность, школа-дом,
Входящих рты, открытые, парные,
Стерильный блеск, главнеющий кругом.
Девчонка рыжая, смиряя в горле ком,
С опаской встала на паркет впервые.
Мы были напряженно стеснены,
Разнесены нежданностью смиренья.
И, словно отделяясь от стены,
Снег повалил, как белое кипенье.
Он расковал нам руки, языки,
Весну принес цветком на полотенце.
Шли млечно звезд воскресшие полки,
Летели листья огненно сквозь сердце.
Взрывая воздух,
Местный мир края,
Цвели сирени цветом суеверья. . .

И вот я гость! Знакомые края!
Гляжу — стоит под липами скамья.

Гусыня в луже важно чистит перья.
Закрыв глаза — и теплый ветерок
Пахнул полетом авиамодели.
Когда-то здесь угрюмый паренек
Мечтал о небе, мучая качели.
Ну ладно, думаю,
Зайду в пенаты я.
Дверь открываю. Все свежо. Знакомо.
С повязкой красною блюстителю дома,
Малец решительный, значком блестя,
Мне объяснил:
«Сегодня нет приема».
Что ж, нет так нет.
А раньше, помню, был.
Наглядный факт — неумолимо время.
И тут я неожиданно открыл
Квартал домов, где быть должна деревня.
. . . Вишневый сад оградой обнесли
И речку камнем настрого смирили.
И те, кто нас «обламывал», сошли
На пенсию. А дети подросли
И им за нас собою отомстили.
Но я не рад. Не знаю почему:
Бегу на мост. Торчу без дел над речкой. . .
Идет девчонка к парню своему,
Неся на клеше алое сердечко.

ПЕРВЫЙ ПОЛЕТ

С капотом словно шляпка шлямбура,
Был самолетик тощекрыл,
Но первый раз, как в пьяном таборе,
Меня кружил.
Он синь раскалывал алмазом.
Грозил отвесно — «в пух и прах».
Он поле гнул и плыл с промазом,
Оставив землю в головах.
Он, как в парной, меня мочалил.

Разъятой нитью в стороне
Терялась речка. И, отчалив,
Катились копны по стерне.
На нас неслись столбы, артели.
Из виража мы в поле сели.

Я стал на землю.
Словно тина,
Дорога страдная плыла.
Несла волнистая равнина
Косилок лунные тела.
Кузнечик стрекотал дощато.
Легко вращаясь, словно вальс,
Смеялись весело девчата
(В косынках челки — как початки).
Смеялся друг, в траву валясь.
Он хохотал, отбойный будто
Бетон долбящий молоток,
И улыбался мой инструктор,
За чуб затиснув василек. . .
Пыльцою лебедеды пыля,
Я видел: вертится земля.
Она вертелась и вертела
Мое ликующее тело.
Она дыхание брала,
Как на лету нектар пчела.
Она ромашками шептала,
Что нет конца
И нет начала.
Что я не прошлый,
Не другой.
Что все во мне
И не со мной.
И что сама она, светая,
Уже не та. . . и не другая.

Евгений
Колухоx



* * *

Расступились
равнины снежные,
загорелись
огнем верхи, —
я читаю, глотаю
нежные,
горьковатые эти стихи.
Книгу,
будто бы чашу,
бережно
подношу —
расплескать боюсь. . .
Вижу в ней —
у озерного берега
меж холмами
запала Русь.
И, как будто
цветы весенние,
после вешних дождей
взошли
голубые стихи
Есенина
на зеленых полях земли.

ПАСЕКА

Сочный
и густой, как мед,
закат,
солнце —
полновесное, как соты.
Пчелы
с наших ульев
в синь летят,
четкие и звучные,
как ноты.

Светлана
Молева



* * *

Я рискую остаться навеки
Обделенной в счастливой любви...
Протянулись глубокие реки
За тобой, словно руки мои.

А над ними в полях далеко
Дождь негромкий поет и поет, —

В ДОЖДЬ

Плачут окна,
Плачут, плачут окна. . .
На душе бездонно и светло.
Бьется, бьется
Глупо и жестоко
Воробей о мутное стекло.

Отпущу — лишь дождь уgomонится!
Я сама порой о стены бьюсь,
А во сне летаю, словно птица,
И ничуть разбиться не боюсь.

* * *

Там далекó, за поворотами,
Медовый светится закат. . .
За деревянными воротами,
Как слитки солнца, сосен ряд.

Неслышно вечереет улица,
В садах, как в ведрах, тьму несет, —
Я знаю, это все не сбудется!
Ведь это было, было все!

И осторожно, настороженно
Я в лето давнее гляжу,
И по широким подорожникам
К забытым соснам ухожу.

Опять я брежу мшистым бором,
И песней — тоненькой струной,
А солнце краснó и нескоро
Ложится за моей спиной.

Николай
Севастьянов



СОЗВЕЗДИЯ

Поднимусь
На последний этаж,
Но до звезд
Не дотронусь
Рукою —
Мне земная нужна
Красота,
Без нее я не знаю
Покоя!
Там — направо —
Застава,
Завод. . .
Сколько раз я
Бродил здесь
И ездил —
И не знал,
Что мой город
Растет
Огоньками
Счастливых созвездий.
Вот плывут
Подо мною
Огни
Ярких фар
И строительных
Кранов. . .
Молодой

Наш проспект
Ветеранов
Чем-то
Звездному небу сродни!

ДЕТСТВО

Пахло полем
От ломтика хлеба.
У избушки,
Еще шалуны,
Затаенно смотрели мы
В небо,
В глубину
Грозовой тишины.
А потом,
Как под тучами мая,
Тонкий тополь
Листвой задрожал. . .
Так хотелось нам,
Гром обгоняя,
Стрелы молний
В руках удержать.

Диана Куваева



МЫ ВЕДЬ С ОДНОЙ ПЛАНЕТЫ

Повесть

СТАРЫЙ АЛЬБОМ

— Мама, я уже! — доложил Женька.

— Как «уже»? Ты же только что сел за уроки! — строго сказала мама. — Полчаса всего занимался, и уже?

— А нам только по двум предметам задали. Упражнение я уже написал и алгебру решил.

— Покажи-ка дневник, — потребовала мама и, вытерев передником руки, взяла поданный Женькой дневник.

— А это что? — спросила она строго. — У тебя же еще немецкий, да и по литературе, наверное, задали. Ну, смотри, Евгений, ты у меня заработаешь!

Мама положила дневник, пододвинула стул вместе с Женькой ближе к столу и ушла на кухню.

А Женька подумал, что раз «Евгений», то точно заработает, и достал из портфеля учебник немецкого языка. «И зачем только детей в разных странах на разных языках учат разговаривать: на английских там да на немецких; все равно ведь на русский переводить!» — подумал Женька и, нехотя открыв учебник, забубнил: «Анна унд Марта баден, Инна унд Ира заген». «Вот хотя бы немецкий!» — прервав чтение, опять стал рассуждать сам с собой Женька. — Мама говорит: «Сколько горя эти фрицы принесли!» А папа возражает: «Есть немцы социалистические, а есть фашисты — понимать надо!» Мама говорит, что умом-то она понимает, а как вспомнит Отто-палача — это немец такой был в мамином дет-

ском концлагере, — так сразу все границы стираются. Она всегда плачет, когда вспоминает об этом, а папа ее успокаивает, Женьку в такие минуты выпроваживают в другую комнату.

«Вир фарен нах Москау!» — продолжает учить Женька и поглядывает на часы, потому что уже скоро семь, а ему надо еще Кутьку дрессировать: он дал мальчишкам честное пионерское, что научит его ходить на задних лапах и прыгать через веревку, потому что кошки, может, способнее собак!

Женька еще два раза громко, чтобы слышала мама, перечитал заданный урок и, положив «Немецкий язык» в портфель, достал «Литературу».

Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя,
То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя. . . —

громко прочитал Женька. Литературу он любил, и заданный материал запоминал быстро, поэтому дома почти никогда литературу не учил. Прочитает на перемене раза три, и четверка обеспечена. А может, и пятерка.

Вот и сейчас, прочитав стихотворение Пушкина четыре раза, он уже знал его наизусть. Сложив учебники и тетрадки в портфель, Женька хотел было идти на кухню, чтобы сказать маме, что теперь уже точно все выучил, как услышал в дверном замке скрежет ключа — наверное, пришел с работы отец. Так рано он приходил редко: заводские дела не пускали. Женька очень обрадовался и хотел было, как и раньше, выскочить в коридор и повиснуть у отца на шее, но вспомнил мамины слова, что ему уже одиннадцать и пора быть сдержанным.

Он вышел в коридор и в нерешительности остановился. Мама тоже вышла.

Папа снимал пальто, поглядывал на них по очереди и улыбался.

— Сегодня пораньше удалось вырваться, — сказал он, целуя маму, потом Женьку в лоб.

И Женька сразу же забыл, что ему одиннадцать. Кутьку тоже забыл.

— Сейчас ужинать все вместе будем! — обрадованно сказала мама и расстелила в комнате на столе белую праздничную скатерть.

— Галя, ты не знаешь, где моя старая фотокарточка? — спросил папа, прихлебывая из стакана чай. — Ну та, групповая, помнишь, в ремесленном?

— В старом альбоме, наверно, где все, — ответила мама. — А зачем тебе?

— Да к нам на завод пришел один товарищ, я-то его сразу узнал, в ремесленном мы вместе учились, а он меня — нет, ведь двадцать с лишним лет прошло. На фотокарточке он есть — показать ему фотокарточку хочу, может вспомнит.

После ужина папа достал из шкафа старый бархатный альбом с вылинявшей розой в левом верхнем углу и сел на диван. Женька устроился рядом.

Перелистывая страницы, папа подолгу рассматривал каждую фотокарточку, иногда подзывал маму для уточнения, и они, вспоминая, спорили и смеялись. Усатый солдат с выпученными глазами и приставленной к ноге винтовкой оказался Женькиным прадедушкой, важная дама с высокой прической и в длинном платье — двоюродной бабушкой, а худенькая, в коротком пальтишке и больших валенках, закутанная до самых глаз серым платком девчонка оказалась самой мамой.

Одна из фотокарточек выскользнула из альбома и упала на пол. Папа ее поднял и, отложив альбом, стал молча рассматривать.

— Кто это? — спросил Женька, заглядывая через его плечо.

С пожелтевшей фотографии смотрели двое: взрослый в очках и маленький, лет трех мальчик.

— Курт с сыном, — ответил папа, но не Женьке, а маме. — Я тебе о нем рассказывал. . . Такие, как он, новую, демократическую Германию строили.

Мама взяла из его рук фотокарточку и долго смотрела на нее.

— Да, лицо доброе. . . и мальчишка. . . хороший, — сказала она и вышла из комнаты.

Женька спросил, кто такой Курт.

— Немец такой был, — объяснил отец, — пленный, во время войны еще. Фотокарточку он мне сам подарил. — И он тихо стал рассказывать Женьке о своем военном детстве, несладком хлебе и эвакуации, о том, что, когда горе и бомбы, дети рано взрослеют, и о том, что «немцы тоже от фашистов натерпелись, настоящие немцы».

— А он живой? — спросил Женька, ткнув пальцем в фотокарточку.

— А кто его знает. Он — не знаю, а сын, наверно, жив.

— А у нас пятый «А» переписывается с немецкими ребятами, — помолчав, сказал Женька, — из Гамбурга... Пап, а можно, я ребятам фотокарточку покажу и мы его найдем?

— Кого? — спросил, подняв от альбома глаза, отец.

— Немца.

— Ну возьми... Но не знаю, удастся ли вам это. Нужно, по-моему, всем классом. А может быть, в газету сначала написать?

— Нет, мы сами с мальчишками, — возразил Женька и деловито добавил: — Мы давно хотели следопытами быть. А немец ведь тоже можно искать?

— Конечно, можно, почему же нельзя? Если они стоят этого... А этот стоит. — Папа вынул из альбома групповую фотокарточку, которую наконец-то нашел, и, захлопнув альбом, ушел к маме на кухню.

А Женька подумал, что теперь-то докажет этой воображале Ирке Савиной, которая обвиняет его в отрыве от коллектива и в том, что он не несет общественных нагрузок, спрятал фотокарточку Курта в портфель.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Женька сидел у окна и ждал сигнала. Вдруг что-то стукнуло по стеклу, и на нем образовалась белая отметина от снежка. Он вскочил и выглянул на улицу. Было уже почти темно, но он разглядел на противоположной стороне улицы Фомина и троих мальчишек-одноклассников. Просигналив руками, что на морском языке означало «иду на выручку!», Женька побежал на кухню сказать матери, что все выучил и что ему срочно нужно к Фомину, потому что надо ему объяснить задание по русскому языку и еще... Что «и еще», Женька сказать не успел: мама велела вымыть руки и нос, потому что он, наверное, писал носом, и отпустила на улицу.

— Евгений, только до восьми! — сказала мама, и Женька, согласно кивнув, исчез за дверью.

— Ну че? — спросил Сережа Фомин. — Писать будем?

— А как же! Договорились ведь! А куда пойдем писать-то?

— Айда ко мне: мама моя на дежурство ушла, одна бабушка дома, — предложил Коля Зуев.

— Ко мне лучше пошли, — перебил его Сережа, — мама с папой в кино, а то старухи очень вредные — все дело испортить могут. Я обещал маме дома сидеть.

— Моя бабушка не вредная, — обиделся Коля, — она больная!

Но мальчишки сказали, что без бабушки все равно лучше, и решили идти к Фомину.

Когда ребята разделись и собрались у письменного стола,

Сережа достал бумагу и ручку и передал их Женьке. Тот пошарил по потолку прищуренным глазом и написал: «Дорогая редакция!»

— Не «дорогая», а «уважаемая!» — поправил Саша Кузьмин. — Что она, продается, что ли?

— «Дорогая» тоже можно, — отмахнулся от него Женька. — А дальше?

— «Во первых строках», — подсказал Коля, — моя бабушка всегда так пишет.

— Бабушка, бабушка! — перебил его Саша. — Ты что, на деревню дедушке письмо пишешь? Тоже грамотей.

Коля надулся и отошел к другому концу стола.

— Тише вы! «Пишет вам коллектив, то есть группа товарищей», — продиктовал Сережа.

— Не товарищей, а ребят! — поправил его Женька и написал: «Пишет вам группа ребят 5-го «Б» класса, 7-й школы, города...» — Женька перестал писать и стал грызть ручку.

— Напиши: мы хотим узнать адрес одного немца, которого зовут Куртом, — предложил Саша.

— А вообще папа говорит, что это трудноосуществимо, надо всем классом, — сказал Женька.

— Тайну выдавать, да? — возмутился с другого конца стола Коля Зуев. — И так папочке своему все рассказал!

— Фотокарточка моя? Моя! И папина! — рассердился



Женька. — Захочу — сам буду писать! — Он хотел разорвать листок, но ребята уговорили Женьку писать всем вместе, а Кольке велели замолчать, пока не попало.

— А вдруг ничего не выйдет, ведь фамилию Курта мы не знаем? — стал сомневаться Саша.

— Нет, сообщат! А мы тогда в ГДР напишем следопытам ихним и фотокарточку вышлем! — кипятился Женька.

— А вдруг он в западной Германии? В ФРГ? — спросил Саша. — Или у нас остался?

— Жди! Что ему там делать, в ФРГ? — возмутился Женька. — Он не такой, у него сын есть. А у нас их не оставляют!

— А вот и оставляют! — возразил с другого конца стола Коля. — А дядя Петя — немец? Немец!

— Какой дядя Петя? — спросил недоуменно Сережа.

— Алика Кремера отец!

— Дядя Петя — фриц? Не загибай ты! И Алька, значит, тоже фриц? — удивился Женька.

— Алькина мать, тетя Тоня, русская, — сказал Коля. — Мама говорила, что Алькин дедушка коммунист был немецкий. Его жену, Алькину бабушку, фашисты в Германии убили, пока он на войне был. А сына ее, дядю Петю, какая-то тетенька пленная прятала, она у соседнего фрица работала. А потом, когда наши пришли и война кончилась, Алькин дедушка с этой тетенькой поженились и в Советский Союз приехали вместе с дядей Петей, потому что тетенька русская была. А к нам они приехали в позапрошлом году.

— Ври больше! Откуда ты знаешь? — спросил Сережа.

— Не вру я совсем! Мама говорила, а ей сама тетя Тоня рассказала, Алькина мама, — обиделся Коля.

— А где тогда сейчас Алькин дедушка? А? Съел? — спросил Женька.

— Умер, вот где! Он на родину потом ездил, а его фриц один узнал и убить хотел, но не успел, потому что фашиста этого за шкирятник сцапали: он, оказывается, во время войны эсэсовцем был.

Женька замолчал, но смотрел на Колю с недоверием. Вдруг он взглянул на часы и испуганно воскликнул:

— Ой, уже половина восьмого, а мы еще письмо не написали! — Склонился над столом и стал быстро писать: «Сообщите нам, пожалуйста, как найти одного немца, которого

зовут Куртом, а фамилию его мы не знаем. У нас есть его фотокарточка, немец подарил ее моему папе».

— Не «моему», а «нашему»... то есть «товарищу Громову», — поправил Женьку Сережа. — Ты что, один письмо пишешь?

Женька зачеркнул «моему папе» и написал «товарищу Громову».

«Когда он был маленький во время войны, — продолжал Женька, — немец был пленный и подарил товарищу Громову фотокарточку, мы вам ее высылаем».

Женька поставил точку.

— Еще напиши, чтобы не отказали в просьбе, — предложил Коля.

— Ну тебя! Опять со своей бабушкой! — отмахнулся Женька, но Саша с Сережей поддержали Колю и сказали, что просто так писать невежливо, а то еще не ответят, и Женька написал: «Исполните, пожалуйста, нашу просьбу. Следопыты 5-го «Б» класса, школы № 7, города...», а в конце четыре фамилии и свой домашний адрес.

— Это ты зачем? — спросил Сережа.

— Чтобы тайну не выдать: вдруг ответ в школу придет! — объяснил Женька.

— Переписать надо и ошибки проверить, а то... — нерешительно предложил Саша.

Женька чуть не возмутился из-за такого к нему недоверия, но потом успокоился и сказал, что даст почитать папе.

Мальчишки не хотели выдавать тайну и стали протестовать, но Женька сказал, что папа уже все равно все знает и обещал никому не говорить, сложил письмо и спрятал его в карман, потому что раздался звонок, наверно вернулись из кино Сережкины родители.

Мальчишки оделись и, как только Сережа открыл дверь, выскользнули из квартиры.

— Здравствуй! — сказали они на ходу.

Сережкины родители не успели даже ответить.

— Эх, в хоккей сегодня не поиграли! — вздохнул с сожалением Коля.

— Завтра в хоккей! Письмо зато написали! — сказал Женька и, пожав каждому из друзей руку, убежал домой.

ЖЕНЬКИНЫ ДРУЗЬЯ

— Громов, повтори, что я сейчас объясняла! — строго сказала Галина Ильинична и положила указку на учительский стол.

Женька встал.

— Что з...земля в...вертится, — ответил он заикаясь.

Ребята засмеялись.

— Об этом я говорила полчаса назад, — сказала учительница и, взяв указку, постучала ею по спинке стула.

— Еще про... земное притяжение, — повторил Женька подсазку Коли Зуева.

— Иди к доске и объясни, что это такое, — сказала Галина Ильинична, а ребятам велела достать дневники и записать домашнее задание.

Женька размотал с пальца нитку, которая была привязана к хвосту белой крысы Путьки и, прицепив нитку к скамейке и засунув Путьку в парту, пошел к доске.

В это время прозвенел звонок.

Галина Ильинична отпустила ребят на перемену, а Женьке сказала:

— Можешь идти, Громов. Кстати, у крысы хвост — самое больное место. Нельзя мучить животное.

Женька покраснел и хотел уже объяснить, что нитку привязал для того, чтобы Путька не убежала, но учительница, взяв указку и классный журнал, уже вышла из класса.

Женька молча достал забившуюся в самый угол парты Путьку, отвязал от ее хвоста нитку и, засунув крысу за пазуху, вышел в коридор.

Кроме Путьки, которую подарила ему на день рождения соседка по квартире Анастасия Петровна, у Женьки были еще хомячок Хомка и одноухий, бесхвостый котенок Кутька.

Сперва к появлению нового соседа котенок отнесся очень подозрительно — ходил вокруг клетки, куда поместили крысу, мяукал, принюхивался. Но Женька часто вынимал Путьку из клетки для установления контакта, кормил животных из одного блюдца — приучал друг к другу. С Хомкой у Кутьки уже давно были дружеские отношения. С Путькой он тоже вскоре подружился. А Хомка сразу же обнаружил у крысы родственную душу, и вскоре все трое спали на одной подстилке.

Женька очень любил животных, и они отвечали ему взаимностью.

Хомячка мама купила Женьке, когда он еще учился в третьем классе, а с Кутькой была целая история.

Однажды, еще в сентябре, вернувшись из школы и приготовив уроки, Женька вместе со своими друзьями и одноклассниками Сережей Фоминым и Колей Зуевым гонял по двору футбольный мяч. Вдруг ребята услышали, что в соседнем дворе не своим голосом кричит котенок. Оставив мяч, мальчишки побежали на крик и увидели отвратительную картину: мальчишка из их класса Игорь Градов, привязав веревку к хвосту котенка и намотав веревку на руку, крутил им в воздухе. Ребята бросились к мальчишке, но он, забросив котенка с веревкой на крышу гаража, убежал. Достав котенка, ребята обнаружили, что у него оторвано одно ухо, а кончик хвоста, к которому была привязана веревка, сломан. Они отнесли котенка к ветеринару, а потом Женька взял его себе и назвал Кутькой.

А ребята подкараулили Градова на следующий день, когда он шел из школы. Надрали ему уши, чтобы почувствовал, как было больно Кутьке, и, набив по тому месту, откуда у котенка растет хвост, отпустили домой.

Вечером к Женькиным родителям пришла мать Игоря тетя Лариса и стала кричать, что из-за какого-то бездомного, паршивого котенка эти хулиганы избили ее сына.

Женька возмутился и сказал, что котенок не паршивый, а Игорь сам паршивый, раз мучает животных!

Мама велела Женьке помолчать, не грубить старшим и попросила его уйти, а с матерью Градова попыталась поговорить по-серьезному, убеждала ее, что мучить животных действительно жестоко, что тетя Лариса портит сына, позволяя ему это.

Но тетя Лариса не унималась.

— Я этого так не оставлю! — кричала она. — Пойду в школу и расскажу директору, как третируют моего сына.

Что такое «третируют» Женька не знал, но зато слышал из-за двери, как мама, провожая «гостью», тихо сказала:

— Лет двадцать назад я бы вашего сына, будь он моим сверстником, за такие дела тоже поколотила. Это между нами, конечно, — и закрыла дверь.

Женька притворился, что ничего не слышал.

— А от рукоприкладства, Женя, нужно... воздерживаться, — сказала неуверенно мама, входя в комнату, — нужно найти способ воспитывать таких людей по-другому. Тебе ясно?

Женька кивнул.

Мать Игоря в школу так и не пришла, а отомщенный Кутька спокойно зажил в Женькиной комнате со своими друзьями на подстилке.

НЕ ДО ВИКТОРИНЫ

Мальчишки каждый день ждали ответа из редакции. Бегали по очереди на почту, караулили почтальона, но ответа почему-то не было, хотя уже скоро месяц, как послали письмо в редакцию.

— Пап, а сколько дней в Москву письмо идет? — спросил вечером у отца Женька.

— Дня три, наверно. А что?

— Да, та-а-а-ак!

— Ответа, наверно, ждете из редакции? — догадался Олег Сергеевич.

— Угу! — кивнул головой Женька. — Нет что-то долго.

— Вы не одни ведь у редакции, — сказала, подняв от шитья глаза, мама. — Делом бы полезным каким-нибудь занялись, чем на почту по десять раз на день бегать. Шефство бы над кем-нибудь взяли, или вот Анастасия Петровна на новую квартиру переехала, навестили бы — может, помочь чем надо.

Анастасия Петровна — это старая мамина учительница и бывшая их соседка.

— Мы и так уже. . . будем помогать, договорились, — буркнул Женька.

— Бесплезное, по-моему, дело с этим письмом, — сказала, помолчав, мама и откусила нитку.

— Ну почему же бесплезное? — возразил отец. — Можно чем-нибудь параллельно и заняться, конечно. Анастасии Петровне надо помочь обязательно! Ну а еще можно организовать, например, всем классом соревнование или викторину, скажем, по географии.

— Как это? — спросил Женька.

— А так: кто больше всех по программе дополнительных сведений соберет, тот и выиграл! Без дополнительной литературы тут, конечно, не обойтись, придется и журналы читать, и книжки, и брошюры разные. Надо завести специальную тетрадь и записывать в нее сообщаемые участниками Викто-

рины сведения. А в конце учебного года подвести итоги. В ответах по предмету эти сведения можно тоже использовать.

— С этой твоей викториной они другие предметы и учить бросят! — сказала мама.

— Не-е-ет! — возразил отец. — Оценки по другим предметам тоже должны учитываться.

— А про путешествия можно? — спросил Женька.

— Конечно!

Женька обещал завтра рассказать одноклассникам о викторине, сказал, что много дополнительных сведений он уже знает и что наверняка победит.

Папа многозначительно произнес «ну-ну», а мама строго посмотрела на Женьку и недовольно сказала, чтобы не хвастал и чтобы не говорил гоп, пока не перепрыгнет, а, если выучил уроки, лучше бы помыл посуду.

— А я гоп и не говорил совсем, — буркнул Женька и пошел на кухню.

На следующий день, придя в школу, он сразу же доложил одноклассникам о папином предложении. И тут началось! Ребята так расшумелись, что прозевали звонок и не заметили, как в класс вошла учительница русского языка Ольга Сергеевна. Утихомирились только тогда, когда учительница открыла журнал и вызвала одного из спорщиков к доске.

На перемене опять поднялся шум и споры, но староста класса Ира Савина предложила всем остаться после уроков и обсудить, а то сейчас история и некоторым — она посмотрела на Женьку — будет не до викторины: у них история висит на волоске, а тянуть класс назад она, как староста, не позволит. Женька возмутился и сказал Савиной, что сам знает без нее, но тут же вспомнил, что его сегодня и правда должны спросить, а историю он не выучил, сел за парту и достал учебник.

Он вообще-то не очень любил этот предмет, потому что прошлое не вернешь, вот география — другое дело. Она путешественнику необходима.

Русский язык Женька тоже не очень любил, но он нужен, чтобы мир по земле распространять. Папа говорит, что прежде, чем убеждать в чем-то других, надо самому быть грамотным. Прочитать заданный материал Женька успел только один раз и почти ничего не запомнил. Поэтому, когда в класс вошел учитель истории Николай Григорьевич, он наклонился пониже

к парте — если бы было можно, он бы и под парту залез — и стал надеяться, что его не спросят.

— Отвечать пойдет... Громов Евгений. Есть у нас та-кой? — спросил, добродушно улыбаясь, Николай Григорьевич и пошарил поверх очков глазами.

Женька встал и нехотя пошел к доске.

— Расскажите-ка нам, молодой человек, о Междуречье и покажите на карте, где оно находилось.

— Мм... между реками, — сказал неуверенно Женька и, взяв указку, повернулся к огромной карте, повешенной на классную доску. На перемене он не успел посмотреть ее и теперь не знал, где находится это Междуречье и в каком углу карты его искать.

— Между какими реками? — спросил Николай Григорьевич.

Женька молчал, вопросительно поглядывая на Фомина.

— Та-ак! — протянул Николай Григорьевич и, поставив в журнал двойку, посмотрел на Женьку поверх очков и добавил: — Вы свободны, молодой человек!

Женька шел на свое место и мысленно сам себя успокаивал: «Подумаешь — Междуречье! Оно мне совсем не нужно, я буду по Африке путешествовать или в Антарктиду уеду с экспедицией, а может, на лодке папирусной по Тихому океану буду плавать! А Междуречье было... до нашей эры — на что мне! Только вот дома... будет».

Ира Савина, мимо которой он проходил, возмущенно посмотрела на Женьку и отвернулась, а Таня Круглова отдунула со лба челку и забросила за спину косичку. Женька мысленно обозвал Савину задавалой, а Таню дернул за косу.

— А барышни, молодой человек, вовсе не виноваты в том, что вы не знаете урока, и сейчас это докажут, — сказал Николай Григорьевич и жестом пригласил к доске Круглову.

Та с вызовом посмотрела на Женьку, отрапортовала урок, помогая себе указкой, и, получив пятерку, гордо прошла на свое место.

А Женьку почему-то это так задело и оскорбило, что он дал себе честное пионерское выучить историю так... в общем, чтоб она знала... и... и...

Что «и... и...», Женька сам себе сказать не успел, потому что прозвенел звонок на перемену.

— Ты это куда? — строго спросила Игоря Градова одна из девочек и загородила собою дверь. — Решили же остаться!

Игорь хотел было уже ее оттолкнуть, но за плечо его взял Сережа Фомин.

— Он боится, что мы его третировать будем, — сказал он презрительно, сделав ударение на слове «третировать».

— Да нет, чего ему бояться: у него директор — хороший знакомый! — сказал насмешливо Женька и, надавив Градову на плечи, посадил его на парту.

— Сиди, а если будешь еще кошек мучить, поймаем и так оттретируем!..

Игорь сперва хотел возмутиться и пригрозить, что пожалуется маме, но потом раздумал и, засунув портфель в парту, буркнул:

— Я... не мучаю больше, а директор — мамин знакомый, а не мой.



Но мальчишки от него уже отвернулись, «застулили» дверь, и собрание началось.

— Тише вы! — крикнула Ира Савина и, когда стало тихо, торжественно объявила: — Ребята, нам нужно наметить план общественной работы! Внесите предложения и поднимите руки, кто не несет общественных нагрузок!

— Ну тебя со своими нагрузками, — отмахнул-

ся от нее Женька. — Викторину надо организовать по географии!

— Ира правильно говорит! — выкрикнула тоненьким голоском Света Застежкина, на ее плечах подпрыгнули косички. — И так все говорят, что наш класс самый отстающий по общественным нагрузкам!

— Нагрузки, нагрузки! Викторина и есть нагрузка, если хочешь знать! — вступился за друга Сережка Фомин. — А еще мы над Анастасией Петровной... это... шефствуем!

— Над кем?

— Над Анастасией Петровной, пенсионеркой, — сказал Женька. — Она в нашей квартире жила и была маминной учительницей! А еще металлолом собирали? Собирали!

— Все равно этой нагрузки мало! — стояла на своем Савина. — А металлолом — это не нагрузка, а... а... обязанность!

— По истории тогда лучше викторину организуем!

— Нет, по литературе! Это самый нужный предмет!

— Давайте лучше не по предметам! — шумели ребята.

А Таня Круглова, Помидора, как прозвали ее ребята за розовые щеки и любовь к ботанике, предложила следить за зелеными насаждениями пришкольного района, потому что в настоящее время это проблема номер один!

Мальчишки схватились за животы.

— Держите меня! Проблема! Сама ты проблема! — крикнул Женька. — А география не проблема, да? А ты знаешь, что земля... ну... движется? — спросил он насмешливо.

— Знаю! Это же всем известно! — ответила с достоинством Таня. — Вокруг своей оси и вокруг солнца!

— Да не так! А... как его... земля раздвигается, ну расползается в разные стороны... и Красное море и озеро Байкал скоро океанами будут! — выпалил Женька.

Ребята вытаращили на него глаза, а Таня забросила кочичку за спину и, крутнувшись на пятке, залилась смехом.

— А вот и да! — поддержал Женьку Фомин. — А вы знаете, что такое Гондвана? А? Что, съели?

— Что-о?

— Какая Гадвана?

— «Гадвана»! — передразнил Сережка. — Не Гадвана, а Гондвана! — Но ничего больше объяснять не стал, а сказал, что это дополнительный материал по географии и что они с Громовым о нем расскажут, когда будет организована викторина.

— А я знаю, — сказал один из мальчишек, — это Толька в шестом классе проходит, он в нашей квартире живет. Я слышал, как он географию учил про Гондвану.

— У-у! Так не интересно, раз Гондвану в шестом классе проходят! — протянула Света Застежкина.

— А вот и пусть! А... а я все равно в журнале читал, а журнал — это дополнительный материал, так папа сказал! — упрямо твердил Женька.

— Ребята, ребята! Да погодите вы! — тянула вверх руку неугомонная Круглова. — Я предлагаю все-таки взять шефство над зелеными насаждениями пришкольного района, потому что некоторые деревья гибнут и уже засохли, а мальчишки кусты ломают!

— Да ну тебя! Привязалась со своими кустами! Подумаешь, гибнут, другие вырастут! — отмахнулся от Тани Сергея Фомин.

— Они ведь живые! — обиделась Таня. — У них даже температура поднимается, когда они болеют.

— Не ври ты! Они, может, и понимают еще, да? — спросил Коля Зуев.

— Честное пионерское! — вскинула в салюте руку Круглова. — Я сама в папином журнале читала.

— И я, и я тоже! Мы вместе читали! — поддержала Таню Света Застежкина. — И потом они еще от соли гибнут! Честное пионерское!

— От чего-о? — спросил недоверчиво Женька.

— От соли, которой дворники тротуары посыпают! А деревья и кусты соль не любят! — объявила Таня.

— Папа сказал, что нужно дворникам внушать: они, наверно, не знают про соль, а мама сказала еще, что не только деревья, так и мы скоро без обуви останемся от этой соли.

— Ну и внушай! А мы будем соревноваться по географии! — заявил Женька.

— Так тебя дворники и послушались! — поддержал его Коля. — Вон наша тетя Зина — внуши ей, так она тебя быстро метлой.

— Ха-ха-ха! Может, нам еще и над дворниками шефство взять? — спросил с издевкой Саша Кузьмин.

— Да тише вы! — отбивалась от мальчишек Таня Круглова. — Не хотите — и не надо, мы сами без вас...

В конце концов класс разделился: несколько девочек и мальчиков решили взять шефство над зелеными насаждениями.

Большинство ребят решили организовать викторину по географии. Ире Савиной было поручено завести тетрадь и записывать туда дополнительные сведения.

— Запиши! — ткнул перед Ириным носом пальцем в парту Женька. — Гондвана!

— Что — Гондвана? — спросила Ира.

— Что, что! Гондвана — вот и все! Земля, которая была

давно! Она состояла из м... м... Америки... Южной, — Женька прищурил один глаз в угол и стал загибать пальцы, — Африки... и... Антарктиды, а еще Австралии! А потом расплзлась — и стали материки.

— Нет! — сказала категорически Савина. — Раз в шестом классе мы это будем проходить, не запишу! А вообще-то, Громов, тебе нужно лучше учить материал за пятый класс, — сказала Ира, сощуриив глаза и подчеркивая каждое слово, — а то со своей Гондваной ты что-то стал двоечки схватывать!

— Это... это... Я тогда в викторине по географии и участвовать не буду, раз она!.. — возмутился Женька. — А двойка у меня всего одна, если хочешь знать! И вообще мы скоро всем докажем!

Что они докажут и кто это «мы», Женька сказать не успел, так как Сережа Фомин дернул его за рукав, а Савиной категорически велел записать Громова в тетрадь.

Ира открыла чистую тетрадь и написала под номером один фамилию «Громов», а напротив — слово «Гондвана».

— И Фомина запиши! — потребовал Женька. — Мы вместе в журнале читали!

Ира записала и захлопнула тетрадь.

ПОИСК ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Наконец-то пришло письмо из редакции, но ребят оно не обрадовало. Вот что было в нем написано:

«Дорогие ребята! К сожалению, мы ничем вам помочь не можем. Попробуйте наладить переписку с ребятами какой-нибудь из школ в ГДР, вышлите им фотокарточку Курта — может быть, таким образом вам и удастся напасть на его след. Но лучше это делать всем классом или школой.

С уважением заместитель редактора».

А рядом его подпись.

— Опять всем классом! Че они к классу-то привязались? — обозлился Женька.

Остальные мальчишки сидели на диване и угрюмо молчали.

— Давайте и правда в ГДР напишем, а? — предложил Коля.

— А кому писать-то? На деревню дедушке? — спросил насмешливо Кузьмин.

Коля обиженно замолчал.

— В Берлин написать надо, в школу какую-нибудь! — предложил Сережа Фомин.

— В какую школу? Мы и школ-то их не знаем, — стал возражать Саша.

— Все школы с какого номера начинаются? — спросил вдруг загадочно Женька.

— С первого, — ответил Фомин.

— А пятый класс в каждой школе есть! — сказал Женька. — Вот и напишем: «Следопытам 5-го класса школы № 1 города Берлина»!

— А может, в этом классе и следопытов-то нет совсем, — возразил Коля.

— Ну и пусть! Мы просто ученикам и напишем! — стоял на своем Женька.

Ребята согласились и тут же сели писать письмо.

— Эх, немецкий плохо знаем, — вздохнул с сожалением Сережа, — а то бы на их языке накатали, им бы и переводить не надо!

— Ну его, этот немецкий! — махнул рукой Женька. — Не могут научиться на русском говорить!

— Ты че? — спросил удивленно Кузьмин. — Это же... м... м... национальные традиции. «Каждый народ должен иметь свою... м... м... культуру и язык!» — процитировал он вычитанную где-то фразу.

— «Традиции», — передразнил его Женька. — Взаимопонимание должно быть? — спросил он, подбоченясь. — Должно! А когда на одном языке говорят, оно... ну, в общем... понятнее!

— Да ну вас со своими традициями! — сказал насмешливо Фомин и тут же, рассердившись, крикнул: — Давайте письмо писать, а то уже шесть, скоро почту закроют, а мне до-мой надо!

Женька с Сашей сразу же замолчали, потому что Женькина мама вот-вот должна была прийти с работы, а Сашина, наверно, уже пришла.

Быстро написав письмо, вернее переписав на чистый лист текст того, которое они отправляли раньше в редакцию, ребята положили в конверт вместе с письмом фотокарточку Курта и побежали на почту.

СКАЛОЛАЗЫ

Перед серой, разделенной глубокими бороздами на выпуклые шершавые квадраты стеной блестела тонким льдом огромная лужа.

В последние дни температура повысилась до нуля градусов и в парке было сыкотно и сыро.

— Ну че, полезли? — спросил Сережка, задирая вверх голову и рассматривая стену, на которую им предстояло лезть.

— Полезли! — твердо согласился Женька и положил на садовую скамейку портфель.

— Как лезть будем? — спросил деловито Сережка. — Я думаю, до второго этажа надо сперва по карнизу до угла, а потом вверх.

Женька совсем не был уверен, что долезет до второго этажа. Сережка уже давно собирался стать скалолазом и все время тренируется: летом через заборы и садовые решетки перелезает, а в школе по шведской стенке до потолка на одних руках. А Женька альпинистом быть не собирается. Он твердо решил стать путешественником. Но он поспорил с ребятами, что тоже залезет на стену, поэтому отступать было поздно.

— А слезать как будете? — спросил Коля.

Они с Кузьминым сидели на скамейке в качестве судей.

— Как, как! Нормально! — ответил Сережка и первым полез на стену.

Цепляясь пальцами за выступы квадратов и передвигаясь по карнизу фундамента, он дошел до угла и полез по углу вверх. Нашупывая ногами шероховатую поверхность квадратов, осторожно подтягиваясь и цепляясь пальцами за следующий квадрат, как альпинист за выступы скалы, он осторожно забирался выше и выше. Упасть и спрыгнуть нельзя: внизу была лужа. Руки Сережки задубенели, а спина вспотела.

Забравшись на карниз второго этажа, Сережка пошел на спуск. Руки почти не слушались, ладошки взмокли. Спускаться труднее, чем взбираться: не видишь выступов — все на ощупь.

— Прыгай! — крикнул ему Кузьмин. — Засчитаем и так! Заверни за угол и прыгай!

Но Фомин промолчал и стал спускаться. Напрягая последние силы, Сережка долез до фундамента и остановился: надо передохнуть — потом завернул за угол и спрыгнул.

Ноги и руки не слушались, но, не показывая вида, он пожал протянутую ему Колей руку и молча сел на скамейку.

Приготовился лезть Женька.

Сняв шапку, чтобы не мешала, он с некоторым страхом посмотрел на лужу и забрался на выступ фундамента. Но добраться смог только до угла и на один квадрат вверх. Цепляясь пальцами и так и этак, он старался поставить ноги на крошечные шероховатости стены, но ноги соскальзывали, пальцы уже кровоточили, а он не смог больше сделать ни шагу.

— Вниз давай! — крикнул ему Кузьмин.

— Да в лужу не угоди, левее бери!

И Женька со стыдом и чуть не плача спрыгнул.

Подошел Сережка.

— Ты не думай. . . Я знаешь сколько с папой летом в отпуске перелазал! — успокаивал он друга. — Все деревья вдоль и поперек. И баню еще! В пальцах твердость должна быть и чувствительность, и ноги. . .

Женька подошел к скамейке и, посмотрев на свои ободранные руки, смущенно сказал:

— Чувствительности нет. . . совсем. . .

Кузьмин презрительно хмыкнул, но, получив от Фомина по шапке, промолчал.

А Женька посмотрел на друга с благодарностью и решил упорно тренироваться.

КОЛЯ ЗУЕВ

Коля сидел у окна и ждал, когда мама придет с работы и отпустит его на улицу. Жалко вот только, что коньков у него нет. Вообще-то у него были коньки с ботинками, но малы стали — мама в комиссионку отнесла. С полочки она ему другие коньки купит. . . или с алиментов.

Коля вздохнул и стал убирать со стола учебники.

. . . Но на алименты надежды мало: они редко приходят. И почему их отец не высылает? Может, заболел или еще что? Мама говорит: скрывается, не нужны они ему. А Коля не верит почему-то, не может такого быть! Как отец может их не любить, они-то его любят? И Коля любит, и мама. . . плачет все время. А если не любит, ну и пусть!

Коля вытер рукой запотевшее стекло и выглянул на улицу.

. . . Не любит — и не надо! И алиментов не надо! И так про-

живут! Мама кроме поликлиники еще в больнице дежурит, ведь у нее на руках Коля с бабушкой, да и самой одеться хочется: молодая еще.

Коля опять вздохнул и достал с полки книжку, но читать не хотелось.

Вот коньки бы только! Если бы отец знал, что коньки Коле до зарезу нужны, наверно, выслал бы алименты. Сколько же можно на воротах-то стоять? В прошлом году он все время был нападающим — сколько шайб забил! А без коньков-то разве шайбу погоняешь?

Он положил книжку на стол и пошел в кухню ставить чайник: подходило уже мамино время. Чайник всегда ставила бабушка и обед разогревала, но она уехала на месяц в деревню: у нее там сестра есть — бабушка Лена с козой и огородом, и кур еще много. . . Что-то мамы долго нет. Коля посмотрел на часы — уже скоро семь, а она всегда в шесть приходит. . . Ей ведь сегодня на дежурство надо в «скорую помощь». Уроки он почти что все выучил и пол подмел.

Услышав звонок, Коля соскочил со стула и выбежал из комнаты.

— Здравствуй, Коля, — сказала, входя в прихожую, медсестра из маминой больницы, тетя Тоня, — мать твоя заболела — в больницу ее положили.

Коля растерялся.

— Да ты не расстраивайся: поправится, выходим, — попыталась успокоить его тетя Тоня. — Ты адрес бабушкин знаешь? Мама сказала, что конверт с ее адресом в шкафу, в коробке из-под конфет. Телеграмму бабушке дать надо, чтобы домой ехала.

Коля порылся в коробке, где лежали квитанции квартплаты и еще всякие нужные бумажки, и вынул конверт с бабушкиным адресом.

— А сейчас пойдем к нам, — сказала тетя Тоня и положила бабушкин конверт себе в карман. — Портфель возьми. Пока бабушка приедет, у нас поживешь.

Коля взял портфель, сложил в него учебники и тетрадки, оделся и пошел за тетей Тоней.

На улице, дав Коле рубль на телеграмму, тетя Тоня сказала:

— Беги на почту, пока не закрыли, дай бабушке телеграмму, чтобы домой ехала, а мне портфель давай. Да много-то не пиши: «Бабушка, приезжай, мама заболела» — вот и все. Мне

в магазин зайти надо... С почты прямо к нам. Все понял? — спросила она, подавая Коле конверт с бабушкиным адресом.

Коля кивнул и побежал на почту. «Бабушка приезжай мама заболела Коля Зуев», — написал он на чистом бланке и просунул его в окошко.

— Сынок, а адрес-то бабушкин ты знаешь? — спросила из окошка женщина в очках.

— Знаю, — ответил Коля и подал конверт.

Женщина взяла чистый бланк и стала переписывать телеграмму.

— У тебя сколько денег? — спросила она у Коли.

— Один рубль.

— Сейчас напишем, — сказала женщина и улыбнулась. Потом выписала квитанцию и отдала ее Коле.



Когда он пошел к выходу, вздохнув, сказала кому-то:

— Без отца, видно, бедные дети!

«Откуда она знает, что без отца? И совсем я не бедный!» — возмущенно подумал Коля, но у него почему-то защипало в носу.

Когда он подошел к хоккейной площадке, игра была в самом разгаре. Мальчишки, щелкая клюшками, носились по площадке раскраснев-

шиеся в взмыленные, а вратарям то и дело приходилось доставать из ворот шайбу.

Время от времени раздавался свисток Олега Сергеевича — тренера дворовой команды, — его высокая на фоне юных хоккеистов фигура появлялась то в одном, то в другом конце площадки. Иногда ему приходилось унимать не в меру раскисившихся ребят и объяснять им правила игры.

На Колиных воротах стоял самый маленький игрок команды, запасной Алик Кремер, ему было всего девять лет. Расстопырив руки, во взрослом, с загнутыми рукавами ватнике и безухой заячьей новогодней маске, он был похож на смеш-

ного неизвестного зверька. Коля тоже в последнее время надевал этот костюм: после того как ему шайбой чуть глаз не выбило, Олег Сергеевич запретил играть без маски. А настоящих хоккейных костюмов у ребят пока не было, они и тренировались-то по-настоящему всего месяц. Олег Сергеевич выкроил для них один вечер в неделю. Шайба то и дело влетала в Аликовы ворота, и хотя он и падал, и старался поймать шайбу, но опыта ему еще не хватало.

— Мазила! — кричали облепившие площадку мальчишки, а Олег Сергеевич подбадривал:

— Ничего, Алик, учись ловить! — и показывал, как это нужно делать.

Защита тоже хромала — Коля это со стороны хорошо видел. Олег Сергеевич время от времени и защите указывал на ошибки.

Коля очень огорчился, когда его команда проиграла, а Алик чуть не плакал.

— Ничего, тезка, не огорчайся! — попытался успокоить его Олег Сергеевич и нажал пальцем на Аликов нос. — Главное — не вешать носа и тренироваться. У Зуева вот учись: он у нас молодец — хорошая реакция! Как дела, Коля? — спросил он, подойдя. — Почему опоздал? Коньки тебе еще не купили?

Коля отрицательно мотнул головой.

— Мама заболела, в больницу ее положили, — сказал он и опустил голову.

— Ах вот оно что! — сказал сочувственно Олег Сергеевич. — Ты один, что ли, остался? Дома-то у тебя кто есть?

— Бабушка... в деревне, телеграмму дал, скоро придет, — ответил Коля.

— А сейчас как же? — спросил с тревогой Олег Сергеевич. — Пошли-ка к нам! — предложил он тут же и окликнул сына.

Подбежал Женька, остальные мальчишки тоже подошли.

— Как вам не стыдно, друзья? Товарищ в беде, а вы не знаете? — строго спросил Олег Сергеевич.

— А что? А мы... — начал было оправдываться Женька.

— Мать у него в больнице, Коля один дома остался, а ты и понятия не имеешь! — перебил его отец. — Друг называется!

Коля хотел было сказать, что сам недавно узнал, что мама в больнице, после школы уже. Олег Сергеевич велел сыну пригласить Колю к себе, пока не придет из деревни бабушка.

— Я к тете Тоне, Аликовой маме, пойду, — сказал Коля, — она с моей мамой в больнице вместе работает, она и портфель уже унесла.

— Ах вот как! Ну ладно тогда, — согласился Олег Сергеевич, но все равно велел заходить и не стесняться, если что. — А вы, друзья, — обратился он к мальчишкам, — если будете так невнимательно друг к другу относиться, не выйдет из вас настоящих хоккеистов. Спорт — это не только закалка, тренировка, это еще и товарищеское отношение друг к другу. Ясно?

— Ага!

— Понятно!

— Ясно! — загалдели мальчишки.

— Ну то-то же! А теперь пора по домам.

— Я сейчас, только Колю с Аликом провожу, па, можно? — спросил Женька.

Олег Сергеевич одобрительно улыбнулся и зашагал к своему дому.

ФОТОКАРТЧКА

Целые две недели прожил Коля у тети Тони, пока не приехала бабушка.

Оказывается, она в деревне на свежем-то воздухе с непривычки захворала, и бабушка Лена отпаивала ее козьим молоком: «Это лучше всяких таблеток на организм действует».

— А у мамы что-то болезнь затянулась, — сказала Коле тетя Тоня.

Но хотя Коля и скучал по маме с бабушкой, жить у Алика ему очень нравилось. В большой Аликовой квартире целую стену занимали полки с книгами, некоторые из них были на иностранных языках. Оказывается, Алик почти совсем знал немецкий язык, а его отец, дядя Петя, говорил свободно и читал Гейне и Шиллера в подлиннике. У другой стены в этой же комнате рядом с диваном стоял большущий аквариум, в котором сновали взад-вперед красные пузатые рыбки. По сигналу Алика они подплывали и хватали пищу. Над аквариумом висели две клетки с канарейками. Когда Алик открывал дверцы клеток, канарейки радовались и летали друг к другу в гости. Еще у Алика было целых три альбома с марками. Оказывается, собирать марки — это традиция их семьи. Со-

бирать марки начал еще Аликов дедушка, потом его альбом перешел к дяде Пете, а дядя Петя передал все альбомы Алику. Алик открывал по очереди альбомы и рассказывал Коле о том, что изображено на каждой марке, он был убежден, что по маркам можно изучать историю. Коля с уважением посматривал на Алика и очень ему завидовал. Об Аликовых сокровищах он рассказал мальчишкам. Женька тоже собирал марки, но покупал их редко, потому что не очень любил это занятие. Но ему все равно было любопытно посмотреть на Аликовы марки: уж очень восторженно рассказывал о них Коля.

Что такое читать Гейне и Шиллера в подлиннике, Женька толком не понял и спросил об этом у отца.

— Это значит читать произведения этих поэтов на немецком языке, а не в переводе на русский язык, — объяснил папа. — Ведь Гейне и Шиллер — это известные немецкие поэты. Люди разных национальностей специально изучают в совершенстве чужой язык, чтобы читать в подлиннике полубившихся им поэтов и писателей других национальностей. В Англии, например, есть поэт, который всю свою жизнь изучает русский язык, чтобы читать в подлиннике Пушкина и чтобы совершеннее переводить пушкинские стихи на английский язык.

Женька с удивлением слушал отца и уже сомневался в том, что говорить всем на одном языке удобнее.

Однажды вечером, закончив тренировку, Женька отпрашился у отца и вместе с Колей пошел к Алику в гости.

— А, хоккеисты! Проходите, проходите! — встретил их, открыв дверь, отец Алика, дядя Петя. — Ну как дела, вратарь? — спросил он у сына. — Падаешь успешно?

— Я уже две шайбы поймал! — похвастался Алик.

— Молодец! Придется тебе настоящий хоккейный костюм купить — из «заячьего» ты, я вижу, уже вырос! А Коле я вот что купил, хватит ему на воротах стоять! — сказал торжественно дядя Петя и, достав из шкафа коньки с ботинками, подал их Коле.

Коля так обрадовался, что не мог и слова вымолвить, осторожно взял коньки и вопросительно уставился на дядю Петю.

— Это алименты тебе пришли от отца. А долго не присылали потому, что отец болел, — ответил на немой Колин вопрос дядя Петя.

Алик знал, что папа говорит неправду, он купил Коле коньки со своей полочки, но они с папой договорились хранить тайну, потому что так надо.

— Ну а теперь мойте руки и проходите в комнату, — сказала тетя Тоня, которая наблюдала всю сцену молча. — Скоро ужинать будем.

Мальчишки вымыли руки и ушли в Аликозу комнату смотреть марки, потому что Женьке не терпелось их увидеть. Марок действительно было ого-го! И такие, что он даже дал себе слово заняться ими всерьез.

Потом пошли в большую комнату смотреть рыб. Но такие рыбы были и у Сережки, а вот канареек у Сережки не было. Женьке бы таких! Надо у родителей попросить, чтобы купили! Наблюдая за канарейками, Женька все время поглядывал на полки с книгами, пытаюсь угадать, которые из них Гейне и Шиллер в подлиннике. Попросить Алика показать их он стеснялся.

— Ну как у вас дела? — спросил, войдя в комнату, дядя Петя. — Кто сегодня выиграл?

— Мы! — ответил Коля. — Мы с Аликом по очереди на воротах стояли: сперва он, а в третьем периоде я.

— Молодцы! А это кто же у вас будет? — спросил дядя Петя, указав на Женьку.

— Нападающий Женя Громов, он мощно бьет и здорово меткий! — гордо сказал Коля.

— Ах вот оно что! Это его отец вас тренирует? — спросил дядя Петя.

Женька утвердительно кивнул.

— Ну тогда накормить вас немедленно надо, раз вы так здорово играете, — пошутил дядя Петя.

— Да я... меня... только на полчаса папа отпустил, — сказал, покраснев от похвалы, Женька.

— Как же так? Разве на полчаса в гости ходят? Ничего, на полчаса опоздать, наверно, можно, — сказал дядя Петя. — А отец знает, где ты?

— Знает.

— Тем более.

Дядя Петя встал и пошел на кухню поторопить тетю Тоню с ужином.

— А которые Гейне и Шиллер в подлиннике? — не выдержал Женька.

— Вот эти, — указал на две толстые книги Алик. — Я тебе потом покажу, когда поужинаем.

— Давай лучше сейчас, а? А то мне некогда потом: скоро восемь, а мне еще историю зубрить, — умолял Женька.

— Ну ладно, — сжалился Алик и полез на полку за книгами. Вытаскивая, он нечаянно задел соседнюю книгу с красивой обложкой, она упала на пол, и из нее посыпались фотокарточки.

Алик стал их быстро собирать и складывать в альбом — книга в красивой обложке оказалась семейным альбомом.

Женька с Колей бросились ему помогать.

— Ой, кто это? — спросил удивленно Коля, подняв с пола пожелтевшую фотокарточку.

— Это мои дедушка и папа, — сказал Алик, продолжая складывать в альбом фотокарточки.

— Эт-то же Курт, которого мы ищем! — сказал удивленно Коля.

Женька взглянул на фотокарточку и открыл от удивления рот.

— Да, его звали Куртом Иоганновичем, по-русски — Ивановичем, — сказал Алик. — А откуда вы знаете? Вам мама сказала, да?

— Д-да нет, у нас есть такая же фотокарточка, ее подарил моему папе один немец пленный, во время войны еще! — сказал, захлебываясь, Женька.

В это время в комнату вошел дядя Петя.

— Вы о чем это? — спросил он у ребят и взял из Женькиных рук фотокарточку.

— Женька говорит, что это какой-то немец... пленный, который подарил такую же фотокарточку его папе... еще во время войны, — сказал Алик. — Это же наш дедушка, правда, папа?

Дядя Петя стоял бледный и молчал.

— Кажется, нам сейчас действительно не до еды, — сказал он задумчиво. — Женька, ты не возражаешь, если мы сейчас пойдем к твоему папе в гости? — спросил он у Женьки. — Мне ведь нужно в конце концов познакомиться с тренером своего сына.

— П-пойдемте... — растерянно сказал Женька. Он догадывался, что дядя Петя совсем не за этим к ним пойдет, что тут что-то связано с Куртом, но промолчал.

— А вы останьтесь, — сказал дядя Петя Алику и Коле

засовывая фотокарточку в карман. — Тоня, — позвал он жену, — я ненадолго, вы ужинайте, а я приду и все объясню... когда сам что-нибудь пойму.

Удивленная тетя Тоня хотела о чем-то его спросить, но дядя Петя похлопал ее по плечу и, надевая пальто, торопливо сказал:

— Я сейчас, сейчас! — И, выйдя вслед за Женькой, прикрыл за собою дверь.

АЛИКОВ ДЕДУШКА

Дядя Петя и отец сидели в комнате на диване и тихо беседовали. Рядом на столике лежала фотокарточка Курта.

Женька крутился тут же, стараясь уловить что-нибудь из их разговора, но мама строго предупредила его, чтобы он не мешал взрослым и шел в свою комнату.

Женька уходил на некоторое время к себе, но тут же опять за чем-нибудь возвращался. Он уже догадался, что Аликов дедушка это и есть Курт, но его все равно разбирало любопытство: как это так вышло, что они и живут-то почти рядом, а совсем не знали об этом. Женька прислушивался к разговору и поглядывал на отца.

— Да, мир тесен, — сказал отец, — иной раз ищи — не доищешься, а тут... Впрочем, мы все ведь с одной планеты, — пошутил он.

— Выходит, искали и нашли... они вот, — кивнул дядя Петя на Женьку.

Женька, довольный, покраснел и, решительно напоминая о себе, уронил книжку. Но из кухни опять донесся голос матери:

— Женя, поди-ка сюда! Вынеси-ка мусор, — распорядилась мама, когда он вошел.

— Мусор, мусор! Мы, может, Курта нашли! — буркнул недовольно Женька и взялся за ведро.

— Евгений! — строго сказала мама, но тут же спросила: — Какого Курта? Что, ответ из Берлина пришел?

— Д-да нет, он не в Берлине совсем и живет-то, — ответил Женька.

Мама хотела еще о чем-то его спросить, но в кухню вошел отец и позвал Женьку в комнату.

— Ты знаешь, кто это? — спросил у Женьки дядя Петя, указав на фотокарточку.

— Знаю.

— Ну и кто же?

— Курт... то есть ваш отец, — ответил Женька и покраснел.

— Точно — он! Молодец, наблюдательный, прямо Штирлиц! — похвалил дядя Петя. — Выходит, нашелся твой Курт, — зря в Берлин писали?

— Почему же зря? — возразил отец. — Переписываться — не воевать, это дело нужное. Так я говорю? — спросил он у сына.

Женька согласно кивнул.

— Да, это вы правильно заметили, но не все еще на земле так считают, — сказал задумчиво дядя Петя. — Поэтому нужно, чтоб было как можно больше переписки... дружеской... и встреч... А ты знаешь, — спросил он у Женьки, — что Курт, отец мой, внука в честь твоего отца назвал Алькой?

Женька удивленно посмотрел на папу, тот молчал и улыбался.

— Ну, мне пора: заждались мои, наверно. Теперь вы к нам в гости приходите, — сказал дядя Петя и пожал руку папе и Жене, а маме вежливо поклонился.

Когда он ушел, Женька достал из портфеля бумагу и карандаш, чтобы составить предельно жесткий режим дня, и дал себе слово еще больше тренировать наблюдательность, потому что он твердо решил стать разведчиком.



ПИСЬМО ИЗ БЕРЛИНА

А на следующий день пришел ответ из ГДР.

Женька получил письмо днем, когда вернулся из школы. Оно было на немецком языке.

Повертев листок и так и этак и поняв из всего письма толь-

ко одно слово — «геноссен», Женька быстро оделся и выбежал из дома. Единым духом влетел на четвертый этаж и потоптавшись у двери, он нажал кнопку звонка.

Дверь открыл Алик.

— Привет! — тяжело дыша, поздоровался Женька. — Я к тебе, знаешь, в общем, прочти. . . — сказал он, подавая Алику конверт.

— Что это? — спросил удивленно Алик.

— Это письмо из Берлина пришло, — пояснил Женька. — Только оно на немецком языке написано. Я переводил-переводил по учебнику, но там многих слов нет, а ты ведь умеешь по-ихнему. . .

Женька вошел в прихожую, и Алик закрыл за ним дверь.

— Давай попробую. Только я не очень-то умею, — сказал Алик смущенно. — Какие марки красивые! — указал он на конверт.

— Да отлепи хоть все! — разрешил снисходительно Женька.

Алик отклеил от конверта марки и, осторожно положив их на край стола, вынул из конверта письмо.

— Какое большое! — сказал он удивленно. — И стихотворение какое-то в конце. — Шевеля губами, он прочитал про себя первую строчку и перевел: — «Здравствуйте, товарищи следопыты!»

Женька гордо вскинул голову и приготовился слушать дальше.

— А. . . а дальше надо со словарем: я некоторые слова не понимаю, — сказал Алик и достал из шкафа словарь. — «Вир. . . беклаген», — прочитал он и запнулся. — «Вир» — это значит «мы», а «беклаген». . .

Женька пристально всматривался в чужие слова, но ничего не понимал.

Полистав словарь, Алик нашел перевод нужного слова и вслух прочитал:

— «Мы сожалеем, что не имеем. . . возможности вам. . . помочь в. . . — Алик опять заглянул в словарь, — в настоящий момент. . .»

— Ясно! — перебил его Женька. — Не только в настоящий, но и вообще! Курт, то есть Курт Иоганнович, там и не жил-то совсем! Надо им написать, чтобы не искали: что зря время-то тратить! Давай стихотворение лучше переведем, — предложил

он, — может, это... как его... Гейне или Шиллер в подлиннике... то есть не в подлиннике, а вообще... Письмо потом переведем.

— Давай, — согласился Алик и стал переводить стихотворение: — «Пусть... мм... раздастся громче, шире первый... звон его о... мире!»

— Кого это его? — спросил недоуменно Женька.

— Колокола. Это стихотворение Шиллера «Песня о колоколе», — пояснил Алик. — У нас такое есть, — указал он на полку с книгами.

— А дальше ребята пишут, что хотят, чтобы между нами всегда были мир и дружба, — сказал он, прочитав конец письма.

Женька с восторгом смотрел Алику в рот и молчал.

Когда он вернулся домой и показал маме письмо, та повертела его в руках и, положив на стол, сказала:

— Я немецкий не знаю, а вы еще с ним повозитесь, чтобы перевести: у тебя ведь тройка по немецкому.

— Я уже исправил, — Женька вынул из портфеля дневник и подал его маме. — А письмо мы уже перевели с Аликом... почти. — И Женька продекламировал: — «Пусть раздастся громче, шире первый звон его о мире!».

— Какой звон? Откуда это? — спросила мама.

— Из письма! Это Шиллер так написал о колоколе! — гордо ответил Женька. — Здорово, что у каждого народа есть свои традиции и... язык!

Мама с удивлением смотрела на сына.

— Ма, можно я к Сережке сбегая, письмо ему покажу? — спросил Женька.

Мама согласно кивнула.

Алексей Любегин



МОНУМЕНТ

Скамеечки, вы словно пьедесталы
под бабушками.
Память, воскреси,
как в сорок первом: «Господи, спаси...» —
какая же из них не прошептала,
на правый бой сряжая сыновей
и дочерей...
К земле пригнулось тело,
и скорбь из-под насупленных бровей
тяжелая, как мраморная стела.

И спицы, словно стрелки часовые,
мелькают в шерсти теплого носка:
ведь у детей дорога далека.
Дай бог, чтобы здоровые, живые...

И облака над ними дождевые.
И напряженный взгляд из-под платка.

ДОБРОТА

По городу открыто разлита
асфальтом под ногами доброта.

И фонари Народного моста,
который Полицейским был когда-то,
стоят, как караульные солдаты,
но теплится в их лицах доброта.

И ветвь нерукотворного куста,
моей щеки коснувшаяся грустно, —
я заверяю письменно и устно,
что это милых пальцев доброта.

И если снег не тает на устах
реки и камуфлирует мосты,
где мерзнут постовые на постах, —
то это лишь причуды доброты.

ПАСТУХ

На землю опрокинувшись ничком,
вздыхнул протяжно: «Ох, добра земля-то...»
И гимнастерку гладили телята
шершавым осторожным языком.

Он муравья, как будто все в новинку,
тащившего домой стройматериал,
разглядывал и муху и травинку
за жажду к жизни солнцем поощрял.

После войны надумал он пасти,
хоть был и глух, и очень плохо видел.
Я удивлялся: мухи не обидел,
и все же смог Отечество спасти?

Виктор Парфенов



ТОПОВЦЫ

Повесть

1

Мы с Сашкой сразу же после завтрака собрались идти на новый КП — строить себе землянку, хотя и не знали, как мы это будем делать: ни лопаты, ни топора, ни пилы у нас не было. Но нашего лейтенанта вызвал начальник штаба, и он, уходя, велел погодить. Мы стали ждать. Сашка откинул голову к стенке землянки — пробовал добрать не добранное ночью. А я достал из трофейной полевой сумки последнее письмо отца. Развернул слежавшийся треугольник и подался к свету.

Письмо было получено до наступления, недели две назад, и было очень тревожно. Отец и мать жили почти на передовой, в пригороде Ленинграда. Снарядом разворотило угол дома. Жизнь отца и матери была вроде моей, солдатской. Но к этому я уж привык, больше беспокоило другое. Толя, мой братяник, отцу писал, а мне — нет. Мобилизовали Толю недавно и направили сапером в лыжный батальон. Когда я уходил в армию, он был еще школьником, мирным, недрачливым парнишкой. И я не мог представить его солдатом. Обычно он и мне писал, а тут не написал, успел только старикам. А что писал-то? Они начинают двигаться. Похоже, речь о начале прорыва под Шлиссельбургом. И это меня тревожило. Я знаю, какова участь сапера лыжного или не лыжного батальона, особенно во время прорыва. Перечитывая письмо отца, я ста-

рался найти в нем что-нибудь успокаивающее о брате, но не нашел.

Не успел я убрать письмо, появился лейтенант. Еще сверху он окликнул меня. И сразу же в проходе появились его ноги, обутые в стоптанные валенки, коленки в ватных брюках, ремень с револьвером на боку. И наконец весь он, в шапке с опущенными ушами, с новыми погонами, на которых белело по две звездочки. Лейтенант сел на нижнюю ступеньку, положил на колени карту, карандаш и компас. Нужные расчеты он произвел или в землянке командиров, или просто под открытым небом. А сейчас, бегло глянув маленькими серыми глазами на карту, нетерпеливо уставился в глубь землянки, в мою сторону. Я выбрался из гущи солдат, дремавших на нарах и в проходе, и опустился на корточки перед лейтенантом.

— Слушаю.

Лейтенант, постукивая тупым концом карандаша по карте, показал, где будет новый КП полка.

— Так вот, топай на эту полянку. Ты ее знаешь. И отсель, — карандаш скользнул в прямой верхний угол пятна, — шуруй по азимуту шестнадцать градусов. Выйдешь вот сюда, — карандаш перелетел к самому краю нижнего угла большого белого пятна.

Лейтенант окончил десятилетку, писал интересные, грамотные письма, но в разговоре любил употреблять просторечные слова. Впрочем, и все мы не гнушались этим.

Мне хотелось уточнить: а если выйду не туда? Но лейтенант, сунув компас в мою руку, спокойно двинулся в глубь землянки, на мое место. И я сердито спросил:

— А Сашка?.. — С Сашкой-то было бы проще. В любую минуту посоветоваться можно.

— Сашка остается, — отрубил лейтенант. И более благодушно пояснил: — Пойдут саперы деревья метить. Двое.

Я потянулся за карабином, который протягивал Сашка, а лейтенант крикнул:

— Давай топай! Не рассусоливай!

Вырвав карабин, я процедил:

— На боковой-то просто не рассусоливать, — и выпрыгнул наверх. И тут, уже для самоутешения, закончил: — Шли бы тогда хоть нору для себя рыть. — Распрямился и закинул карабин за спину.

Поляна, на которой вздымались три бугра землянок, была иссечена воронками разных размеров. На длинном бугре нашей землянки темнели два кратера — посредине большой и у края маленький. Большой оставила двадцатимиллиметровая мина. Слава богу, накат оказался добротен. У воронки, напротив входа в нашу землянку, валялся труп немца.

Подошли два сапера. Один старый знакомый, Морозов, молодой высокий плотник в полушубке и ушанке, с винтовкой на спине. Второй — новичок, молодой парень с бледным грустным лицом. И Морозов, или, как его чаще называли, Мороз, был не шибко румян: морковно красны только щеки да конец носа, будто надломленного ниже переносицы. Саперы поздоровались, вскинули на плечо один пилу, другой лопату. Топоры по-плотнички были засунуты за ремень. Двинулись в сторону передовой. Хотя точно не знали, куда идти, знали одно — не в тыл. Я пошел рядом.

Дорога уходила влево, на КП батальона. А я по заснеженной тропке вышел на полянку. Остановился в нужном углу, перед самым лесом. Достал из кармана компас и нерешительно начал устанавливать заданный лейтенантом азимут.

Топографом я стал недавно и случайно. На прежнем участке, до боя, много ходил по переднему краю вместе с Паковым и Невиным, топографами опытными. Основную работу делали они, а я считал для сравнения шаги да служил подобием рейки: на меня засекали азимут. Правда, и я неоднократно определял азимут, но под чужим руководством это казалось просто. . . И вот теперь мне предстояло самому пройти по азимуту.

Саперы переминались позади. Мороз, покуривая, ехидно поглядывал на меня. Я это скорей чувствовал, чем видел. Опустив компас, я с наигранным вниманием посмотрел под ноги, на опушку.

— Да не снаряд ли неразорвавшийся поблизости? Железо-то действует на магнит. — Мороз насмешливо хмыкнул. — А может, мины под снегом? . .

Сердито сжав компас, я держал его, пока стрелка не замерла. Не поворачивая, поднял к глазу и увидел сквозь азимутный прицел небольшую статную елку в глубине леса. Пошел на ту елку. Мороз крикнул:

— Метить, что ли?

Я помолчал, знай, мол, как насмехаться над спецом! Потом, не оборачиваясь, буркнул:

— А как же!..

Топоры мягко застучали сзади. После елочки дело пошло быстрее. Саперы едва поспевали за мной. Лес негустой, хорошо просматривался. Многие ветки срублены осколками, а иные деревья скошены. Если попадался завал, я засекал впереди ориентир — приметное дерево или куст, обходил завал, подбирался к ориентиру и продолжал путь. Снегу было выше колен, он набивался в голенища валенок. Наконец впереди, чуть правее, за деревьями появился просвет.

Пройдя немного вдоль поляны, я остановился. Еще от угла поляны я услышал стук топора и треск падающего дерева. Мой путь пересекла тропка, проложенная утром строителями КП. Когда подошли саперы, я махнул рукой в сторону будущего КП:

— Гоните отсюда прямо на них.

Мороз снял шапку, провел ею по запотевшей голове, и начал завязывать сверху тесемки.

— В конце-то, на КП, придется, поди, вырубать дорогу петлей? Чтобы развернуться...

— А это уж ваше дело.

Возвращался я тем же путем. Шел по обратному азимуту — 196. Шел и радовался, что не было Сашки. Я сам, без чьей бы то ни было помощи, проложил дорогу! Что лейтенант высчитал азимут — не важно, мелочь. По карте, с помощью транспортира, это сделать просто. А впервые проложить азимутный ход на закрытой местности потрудней. На полпути я задержался на минуту. Взял азимут на старую ель, зеленеющую в глубине леса, засек еще несколько азимутов, возвращался к ранее определенным ориентирам — результат был тот же. Значит, я не ошибался. И если выходил на задание горетопографом, то приходил опытным.

2

Вернувшись, я нашел то же, от чего уходил. Сашка спокойно добирал в углу землянки, лейтенант загибал очередную побасенку, до чего он был великий охотник. О новой своей землянке они и не думали. Сев на нижнюю ступеньку, я доложил о сделанном и двинулся было в угол, но лейтенант остановил:

— А теперь такое дело. — Порастолкав соседей, он продвинулся ко мне, по привычке взялся за планшетку, но не открыл ее, а опустил на колени. — Выбирайся отсель и сразу же бери азимут три...

— А Сашка? .. — простонал я.

— Выйдешь туда же, где был. Заберешь пополнение автоматчиков. Они проложат тропку. . . Женер, — так, по фамилии, он иногда называл Сашку, — тоже пойдет. . .

Я не очень уверенно пристукнул прикладом карабина:

— Давно пора самим обзаводиться жильем. . .

Но лейтенант, словно поклявшись игнорировать все мои высказывания, продолжал:

— И отправитесь вы двое в распоряжение Силовского. . .

— Рыть людям землянки? — подхватил я. — А самим. . .

— Выполняй приказание! — отрубил лейтенант. Его и без того узкие глаза превратились в щелочки. Он помолчал, чтоб я почувствовал значимость его слов, и добавил помягче: — Компас тебе насовсем. — И он приподнял немецкий компас, прицепленный к тренчикам планшетки, который я и без того видел.

— Спасибо за подарочек. — И уже свободно, от души я рывкнул в угол:

— Сашка!

Послышались движенье, сопенье, ругань.

— Иду, иду.

Я высочил из землянки. За мной выбрались автоматчики, человек десять. Когда они поселились в нашем логове — ночью или пока я ходил на задание, — не знаю. Разные по внешности и по возрасту, они были одинаково суровы. Все возвращались из госпиталей и санбата.

Появился Сашка, как и я, в полушубке и в шапке с опущенными ушами — парень чуть помоложе меня. Покосившись в мою сторону, он поправил шапку и отряхнулся, будто лошадь, повалившаяся на пашне. Я ехидно-мягко приветствовал его:

— Ты, душа лубэзный, совсем превратился в штабную штафирку: лишь бы схемки чертить. . .

Сашка растянул в улыбке толстые арабские губы, отвел в сторону темно-ореховые глаза и досадливо потер пальцем толстый конец носа с легкой горбинкой. Его густые черные брови поднялись и опустились.

— Что прикажут. — Он невозмутимо закинул карабин за спину.

Лейтенант наблюдал за нами из входа в землянку. Он обычно не поощрял, но и не пресекал наши пререкания. Иногда казалось, что он не без интереса следил за спорщиками. Настраивая компас, я вспомнил, что мы незадолго до боя читали в журнале, как боец убежал из фронтового дома отдыха на передовую. Бросил Сашке:

— Люди из дома отдыха рвутся в бой, а ты? ..

Сашка даже не повернулся в мою сторону.

— Так то в книжке.

Неожиданно лейтенант уточнил наигранно строго:

— Не в книжке, а в журнале.

Натягивая рукавицы, Сашка буркнул:

— Одного поля. . .

Я взял заданный азимут и пошел.

Бредя по глубокому снегу, вскоре вспотел. Остановился и протянул Сашке компас:

— На-ка. Потопай впереди.

Сашка обогнал автоматчиков. Меня интересовало, как он начнет путь. А Сашка, взяв компас, даже не глянул на него — посмотрел назад, на пройденное. Потом наметил ориентир и зашагал. И, уже на ходу, сверился с компасом, пошел смелее. Просто и верно! Я пошел в хвосте за автоматчиками. Так было куда легче идти, будто по дороге.

На фронт Сашка пришел из художественного училища. В топогруппе оказался за полгода до меня. В свободные минуты я пытался учиться у него рисованию. С ним я больше всего сдружился в топогруппе, хотя это не мешало нам изредка спорить и даже поругиваться.

Вышли мы к той же поляне, где я уже был. До чего же точна эта штука — азимут! .. Мороз и его напарник уже очистили небольшой участок дороги от нового КП. В молодом, негустом лесу расчищать дорогу было нетрудно. Но некоторые деревья приходилось срубить под самый корень, чтобы за них не цеплялись сани. Мороз сердито раскидывал снег, а напарник его оттаскивал в сторону срубленные стволы. Проходя мимо, я шутиливо козырнул:

— Морозычу — бог в помощь.

Он, словно буря, швырнул в меня снегом.

Место для КП было выбрано удачно. Неподалеку клочкотала передовая. Не будь леса — пули долетали бы сюда.

Изредка с шумом и посвистом, точно огромные невидимые птицы, пронеслись мины, снаряды. Они бухали где-то за поляной.

КП чернел развороченной землей, свежими ямами. Рыли неглубоко: через месяц, а то и раньше осилит вода. Работа кипела. Мелькали лопаты, летела земля из котлованов. Из лесу брели солдаты с бревном на плече.

Увидав землянку, где трудились несколько автоматчиков, мы показали на нее своим спутникам. И они направились к ним, на ходу снимая оружие.

В центре КП, между землянками командира полка и начальника штаба, стояли Силовский и старшина Балахов. Силовский вначале командовал саперным взводом, теперь был полковым инженером.

Силовский был первым, с кем я познакомился в полку. Мы, группа вновь прибывших, сидели около землянки строевой части. Курили, ожидая назначения. Неподдалеку солдаты соорудили постройку, похожую на сарай. Возле строителей снова молодой белолицый лейтенант с чудесной сизо-черной бородой. Впоследствии я узнал, что лейтенант был выпускником Академии художеств, архитектором. Когда он присел на бревно, я подошел к нему:

— А что это за сарай строится? Если не секрет, конечно...

— Это не сарай, а клуб. Фронтовой клуб.

Я снова оглядел сооружение — ничего себе хоромина! Но солдаты с большей охотой отдохнули бы не на стройке клуба и не в самом клубе, а на боковой в землянке. Но столь еретическую мысль я оставил при себе, а высказал другую:

— А лозунги будут в клубе?

— Будут.

— А спецы есть по этой части?

В таком духе продолжалась беседа. Незаметно лейтенант выведал, каковы мои познания в топографии. И хотя они были не весьма обширны, деловито прошел к землянке, горбившейся неподалеку от штабной. Вышел из землянки в сопровождении невысокого сутулого лейтенанта, поглядывавшего на меня исподлобья маленькими серыми глазами. Губы лейтенанта были странно поджаты, будто он хотел улыбнуться, да не знал, стоит ли. Подойдя, он потрогал пилотку, нахмурился

— А по азимуту хаживал?

— Ни разу.

— Д-да. — Он переглянулся с бородачом. — Да, поди, на-

собачишься: не боги горшки... — И исчез в землянке строевой части. Пропадал он там недолго. А выскочив, повелительно махнул мне рукой: — Забирай сидор. Пошли. — И двинулся к землянке, из которой вывел его Силовский.

Тогда на петлицах Силовского краснело по два кубаря, сейчас на его погонах с красной полоской белело по две звездочки. Бороды не стало. Говорили, что он перед боем проспирит ее за сто граммов, но вряд ли это так: на передовой, особенно зимой, не до бороды — бритому и то не просто умыться.

Переговорив с Балаховым, Силовский повернулся, и я козырнул:

— Явились, товарищ лейтенант, в ваше распоряжение.

У Силовского с топогрупповцами установились особо дружеские отношения. С театральной важностью Силовский выкинул руку в сторону Балахова, отошедшего к своей землянке:

— Он за старшего. Спешу выколачивать из боепитания МЗП, спираль Бруно... .

В конце прошлого года я сидел сутки на губе и под командой Балахова, как арестант, день пилил дрова. Балахов не притеснял меня, но снова идти в его распоряжение не тянуло, и я отчеканил:

— Хотелось бы лично от вас, товарищ лейтенант, получить задание. С большим рвением взялись бы. У всех есть свой угол. Может, отпустите и нас потрудиться для себя?

— Ни в коем случае! — Он усмехнулся одними глазами и шагнул под сосны, стоящие между землянками полкового начальства. — Хотите получить задание именно от меня? Так вот оно. Здесь выройте яму. — И он дал размеры будущего сооружения.

Я пошутил:

— А не губа ли это будет?

Силовский сурово усмехнулся:

— Отставить! — И в его глазах сверкнули лукавые искорки. — Это будет уборная.

Сашка захохотал. Я насупился и сразу же усмехнулся:

— Такое сооружение не каждый может строить.

Сашка воскликнул:

— Хорошо, хоть нас умудрил господь!

Мы посоветовали лейтенанту идти по только что проложенной нами азимутной тропке, и он скрылся за деревьями. А мы направились к старшине Балахову, помощнику коман-

дира комендантского взвода, за инструментом. Балахов выкидывал из котлована землю на накат. Под накатом земля была выбрана в полную глубину, а дальше — только частично. Мы полюбовались работой Балахова. В работе сказывался, конечно, опыт войны, но чувствовалась и старая, гражданская сноровка. Балахов был из крестьян, а добрый крестьянин всякое дело знает. Нравилось мне и побеседовать с Балаховым. Заранее предполагая, каков будет ответ, я передал приказание Силовского.

Шлепнув ком земли на только что уложенное двумя солдатами бревно, Балахов вонзил лопату в землю.

— А где их, топор и лопату, я возьму?

Мы знали, что Балахов должен был выделить нам нужный инструмент, и повторили приказание Силовского. Старшина невозмутимо повторил ответ. Слово в слово. Неизвестно, до каких пор тянулось бы испытание повторением, если б Сашка не ткнул ногой в колышек, торчащий из-под земли у наката. Кол пошатнулся, и показался широкий язык лопаты.

— А это что, старшина?

Балахов распрямился. Его полное, похожее на пузырь лицо с большими светлыми глазами ничего не выражало. Увидев Сашкину находку, Балахов вновь склонился.

— Ах, это? Ну эту-то берите.

Лопата была насажена на сырую березовую палку, даже не окоренную, с мелкими желвачками. Сашка провел по ней рукой.

— Разве это инструмент? Такой штукой не дело делать, а мозоли набивать. — И Сашка, изобразив на лице праведный гнев, театрально отчеканил: — Ты, Балахов, не выполняешь приказание полкового инженера. Не пришлось бы, гляди, отвечать.

— Да уж отвечу, — подчеркнуто равнодушно бросил Балахов.

Сашка посмотрел на меня, подумал. И заговорил доверительно:

— Зря ты нас не уважаешь. Ты, верно, только сильных мира сего ценишь. Но и мы не бессильны. Если на то пошло, мы сумеем заставить уважать себя. Поверь, Балахов, сумеем. Не сегодня — так завтра.

— Это как же? — обронил Балахов, не разгибаясь.

— А вот будем делать схему расположения КП — не нанесем твой взвод, и все.

— Дороги мне ваши схемы!

— А строевики, раз нет вас на схеме, снимут с довольствия. Сразу же прибежишь к нам. Да мы еще подумаем: возродить вас или обречь на вечный голод.

— Строевики на ваши схемы — ноль внимания.

Сашка тихо засмеялся. Он признавал правоту Балахова, но игра увлекла его, и он быстро сел на ком земли.

— Разве можно так, Балахов? Да мы, если хошь, и строевиков побоку со схемы. — И вдруг Сашка изобразил на лице глубокую задумчивость. — Но откуда у тебя такая неприязнь к нам? Не потому ли, что один из нас... совершенно случайно попал в твое ведение всего на сутки? Но ты должен бы знать: и большие люди сживали на губе.

Сашка наклонился, стараясь заглянуть в лицо Балахова: ему хотелось знать, понял ли Балахов, о ком речь. Но тот продолжал работать. Ни признака догадки на равнодушном лице, лишь моментальный блеск глаз, когда взглянул в сторону Сашки.

— Где-то, может, и большие, а у меня — только мелочь пузатая.

Сашка сдался, хохотнул и поднялся. А я не вытерпел, сел на его место.

— Это, выходит, и я мелочь пузатая? Ах, Балахов, Балахов! Кто знает, что выйдет из человека. Может, я стану великим... — никогда не мечтавший о величии, я замаялся и брякнул первое попавшееся на язык: — Стану великим балеруном. Да, Балахов, не шути! — И, схватившись за эту мысль, я начал ее развивать: — Я убедился, что языком всего не выскажешь. Великие истины изрекаются и ногами. Да, да! Иначе балета не существовало бы. В общем, Балахов, я молод, у меня все впереди.

Балахов особенно смачно пристукнул лопатой по бревну.

— У тебя впереди одно — немец.

Сашка замотал головой то ли от восхищения фразой Балахова, то ли от досады, что попалась ему эта лопата. А я топнул ногой:

— Ах, черт! — И сказал смиренно: — Ладно, Балахов, ты прав... А мы решили сами, как зайцы, под кустом жить, а начальство сегодня же обеспечить нужником.

Балахов опустил лопату на бревно.

— Нужником? Начальство? Чего же сразу не сказали?

— Чудак человек! Да иначе мы разве пошли бы к тебе за инструментом?

Схватившись рукой за поясницу, он распрямился во весь рост.

— Трепачи горькие! — И, вонзив лопату в землю, исчез под накатом. Вылез и бросил мне топор.

Я с радостью схватился за него. Но радость пропала, как только я рассмотрел дар. Топор был под стать лопате — с той лишь разницей, что деревянная часть, топориче, была добротна, а лезвие иззубрено, как у колуна. А Балахов преспокойно взялся за лопату:

— Вот вам и топор. Принимайтесь.

С этими дарами мы подошли к месту, указанному Силовским. Я ударял топором по корням, Сашка пошел вслед за мной с лопатой. Мы провозились дотемна, но сделали образцовый фронтной нужник. Яму до половины укрыли жердочками. А сверху наставили молодых елок, на манер чума или вигвама. Я хотел опробовать сооружение, но Сашка огрел меня лопатой:

— Ошалел, что ли? . .

3

На ночлег мы вернулись в ту же немецкую землянку. Все три землянки были пусты, и мы заняли офицерскую хоромину с двухэтажными нарами, с чугунной буржуйкой. Устроились было на нарах из березовых жердочек, пружинивших не хуже матраса. Но тут же спохватились и перебрались в солдатское жилье. И мудро поступили: вскоре хоромина была занята артначалством. Под утро и наша нора стала полна, но нас никто не беспокоил угрозой выселения.

Утром, разбуженные толчками и говором соседей, идущих за завтраком, мы с Сашкой тоже устремились наверх. Чуть теплый тощий завтрак получили в один котелок и у порога быстро поели. Ополоснули котелки у воронки, подвернув рукава полушубков, заодно умылись в сторонке. Сашка сказал лейтенанту, сидевшему на нарах:

— А теперь за работу: надо же и для себя сгношить хатинку.

Но лейтенант, будто не слыша, жадно затянулся сигаркой и задвинул котелки за спину. Дежурные связисты и двое комендантцев покидали землянку. Проводив их взглядом, Саш-

ка повторил фразу настойчивей, лейтенант достал из планшетки карту:

— Отставить! Поидете на передовую во второй батальон, составите схему. — Высунувшись из прохода, он поставил ногу на ступеньку.

Мы присели перед ним на корточки. Лейтенант положил на колено планшет, на планшет карту и стал объяснять, где находится КП батальона.

Второго батальона на передовой до позавчерашнего вечера не было. И нам надо было найти его.

— Разыщите в батальоне сержанта Невина, — продолжал монотонно лейтенант, — у него, наверно, готова схема участка батальона. . .

— Как еще даст, — еле слышно перебил я.

Лейтенант покосился на меня щелчками глаз. Сашка поспешил мне на помощь:

— Верно, бабушка надвое сказала. . .

— Если был в штабе, даст. . . — Лейтенант опять склонился к карте. — Его данные сличим со своими. . . — Сурово посмотрев на нас, он отрубил: — Ясно? — Захлопнул планшетку, щелкнул кнопкой, будто выстрелил. — Все. Топайте!

Мы распрямились.

Штаб батальона находился в сосняке на пологом бугре, в двух немецких землянках. На большой наворочено было земли — с курган. Но вход в нее обращен в сторону противника. Его прикрыли барьером из бревен. Снег вокруг изрыт, ветки на соснах обломаны. Одна сосна совсем голая, как мачта.

С начальником штаба батальона старшим лейтенантом Роговым мы столкнулись в проходе. Козырнув друг другу, остановились. Невысокий, прямой Рогов, по обыкновению, слегка улыбнулся и потянул из тонкой длинной сигарки. Не успел я доложить о цели прихода — он пояснил:

— Передовая там же, где была и позавчера. Только участок значительно расширен. Подкинули людей и провели рассредоточение — баталия окончена. — И, глядя вбок, спросил: — Человека надо, что ли? — На его лице появилось напряженное выражение.

— Да вроде бы. . . — И вдруг расхрабрился: — Но старый-то участок я знаю.

Рогов пристально и, как мне показалось, признательно посмотрел мне в глаза. Этот круглолицый, розовощекий стар-

ший лейтенант, мягко, по-мальчишески улыбнувшийся, — единственный уцелевший после боя командир роты. Его и назначили начальником штаба батальона.

— Там, вдоль всего участка, большак. Вчера Невин лазил со связным, разведчики шастали, саперы. . .

— А нас не задержат? — спросил я.

— Я позвоню в роту, — сказал Рогов.

— Ладно, идем одни. — И я спросил о Невине, о нашем товарище, которого перевели из топогруппы в батальон.

Зашумела плащ-палатка, прикрывающая вход в землянку, и показался Невин с сержантской полевой сумкой на животе. Узнал по голосу старых друзей.

Облокотился о верхнее бревно прохода, спросил, что нового в топоверхах. Трогал себя то за одну, то за другую иссиня-белую щеку, только что, похоже, побритую.

Я смотрел на его узкое лицо и старался понять его чувства. Переводя темно-кофейные глаза с меня на Сашку, он улыбался так же просто, как и в бытность свою в топогруппе. А ведь он имел право оставаться в топогруппе: пришел туда раньше не только меня, но и Сашки. И я решил: раз он не в роте, схема у него есть, а раз есть у него — и у нас будет. Сашка спросил его:

— А как оно у тебя? На новом месте-то? . .

Невин переступил с ноги на ногу:

— Да как. . . Почти так же. Я и тогда ползал тут же.

Что верно, то верно. Как раз неподалеку от этих землянок дней пять назад мы с ним искали штаб батальона.

Нас не предупредили, что штаб передвинулся по фронту. Мы повернули влево, бежали под пулеметным огнем. Иногда спрашивали солдат, какого они полка. Но ни один не отвечал вразумительно. Люди с марша брошены в бой, и кто из них будет запоминать четырехзначное число полка, когда имя жены может вылететь из головы. Добежали до немецкой землянки, черневшей на бугорке. Из землянки выскочил командир минометного взвода. Он тоже искал штаб батальона. Надо было перебежать поляну с редким крупным кустарником. Пули свистели у самого уха. И вдруг Невин вскрикнул. Упав, я оглянулся. Сержант зывал о помощи. Как под таким градом, мелькнуло у меня, волочь такую тушу? Лейтенант крикнул, чтоб я не бросал товарища. Будто я не знал этого. И я издали спросил Невина, может ли он хоть повернуться. В ответ Невин медленно, словно судно на воде, развернулся.

— А ползти можешь?

Он что-то буркнул и, вижу, пополз. Когда он исчез в воронке, и я сорвался с места. Воронка была мелкая, и, прижимаясь к ее краю, Невин правой рукой шарил под полушубком, у ремня слева. Чем дольше он держал там руку, тем удивленнее становились его глаза. Наконец вытащил руку. Она была сухая, ни кровинки. Я выругался, загнул на всю катушку.

— Да сбило же. Вот видишь.

Левая лапа его полушубка была иссечена. Невин развел руки, озадаченно уставился на меня. И быстро схватил свою винтовку. Он называл ее драгункой, а мы — дрыном. Нижняя часть ствола и затвор были вырублены пулей. Я полез из воронки.

— Твое счастье, что личное оружие непутем носишь.

Штаб мы нашли в соседней, более широкой и глубокой воронке. Лейтенант сидел среди начальства и с удивлением разглядывал Невина.

Невин положил руку на сумку, потянул было ремешок и остановился. Сашка, не спускавший глаз с его руки, лежащей на сумке, слегка подтолкнул Невина:

— Ладно, не жмись, показывай схему-то.

Невин покосился на меня:

— Ишь какой ловкий! — и выдернул ремешок из пряжки. — Вы же считали меня негодим топографом. — Запустив обе руки в сумку, перебирал бумаги.

— Мы?! — удивился Сашка. — Да, по-нашему, вместе-то куда как лучше. — И засмеялся: — Да будь ты средь нас — я не был бы тут.

Невин тоже засмеялся:

— То-то! — и протянул мне схему. — Хоть один да ценит.

— Мы-то ценим, — буркнул я, беря схему.

Сашка быстро шагнул ко мне, склонился над листком. На нем была срисована часть карты со всеми ориентирами: дорожкой, лесом, поляной, вырубкой — и даже нанесена коричневая горизонталь. Красным карандашом обозначен длинный изломанный гребешок переднего края и треугольный флажок — КП батальона. В топогруппе Невину не поручали чертить схемы, и я считал, что он не спец по этой части. Но схема была сделана строго, грамотно. До войны Невин заочно учился в техникуме, и черчение ему было не в новинку.

— Ты подаришь нам эту схему?

— С донесением уже отправлена.

— Когда?

— Да только что.

Сашка бережно взял у меня схему. И мы еще раз рассмотрели ее. Красный гребешок (точнее расческа, ибо зубцы только с одной стороны) тянулся с юга на север по азимуту 360. Левый фланг упирался в лесную вырубку. По широте все привязано вроде прочно. Как-то — по долготе?.. Зажав схему, Сашка потянулся к моей трофейной полевой сумке.

— Убери... — сказал он мне. — То с донесением, то нам. Разные, дорогуша, вещи.

Невин не сопротивлялся, женственно улыбнулся:

— Что ж поделаться с вами?..

Сунув схему в сумку, Сашка крепко, даже немного театрально пожал Невину руку:

— Топослужба не забудет этого.

Протившись с Невиним, мы двинулись обратно на левый фланг. Подошли к землянке, у которой встретили лейтенанта. Снег около землянки был утоптан, но из нее никто не вышел. Признаться, мы робели. Впервые предстояло произвести съемку переднего края — не шутка.

Передний край напоминал разворошенное гнездо шершней, с той лишь разницей, что там видишь и гнездо и шершней, а тут ничего не видно, только пули визжат и щелкают по деревьям и кустам.

— Ладно, — выступил из-за бугра землянки Сашка, — начнем.

Я кивнул головой, и Сашка, пригибаясь, побежал через маленькую котловину по узкой тропке. Пригибался он сильно, чуть не до снега лицом. Двигался не особенно ходко, шагал крупно, считал шаги. Метил он на сосну, отпрыгнувшую от соседок на маленькую полянку. Добежав, упал, исчез. А затем шеvelyнулся, затемнел серым, похожим на кочку комом полусубка, махнул рукой. Я засек на него азимут. И, тоже пригнувшись, побежал, считая шаги. По другую сторону сосны около Сашки заметил солдата, одного из тех невидимок, которые творили шум. Упал около Сашки. Сглотнув солоноватую слюну, тяжело выдохнул:

— Двести шестьдесят восемь и сто восемьдесят пять. — Азимут и расстояние в шагах.

Сашка на бумажке записал цифру и буркнул:

— А у меня сто семьдесят три.

Сашка пониже меня, но ноги у него длиннее и шаг крупнее.

— А пиши обе. . .

— Писанины много набезжит. — Он помедлил, спрятав руку с карандашом в карман. — А-а, буду писать среднее.

— Давай.

Солдат покосился на нас. Его небольшое молодое лицо посерело от щетины и грязи. Лежал он с винтовкой под правой рукой в неглубокой снежной ямке, устланной ельником. В такой же ямке, используемой ночным напарником, лежал Сашка, но не так, как стрелок, а чуть ли не поперек ямки, ко мне лицом.

А за головой солдата, за концом ствола его винтовки, начиналась нейтральная полоса, часть нашего же, русского леса с кустарником и мелкими полянками. По нейтральной полосе ползают, чаще всего по ночам, разведчики и саперы. Бывал и я на этой полосе. Но сколько бы ни хаживал, ни ползал по ее грани, каждый раз волновался. Вроде стоял на поднебесной вершине, узкой будто штык, или шел по краю бездонной пропасти.

За спиной солдата вдоль цепи по снегу тянулась свежая тропка. Та самая, которую лейтенант называл большаком. Она была неровна, извилиста. То вплотную подходила, то отбегала от цепи, но не прерывалась. По ней-то и пустился Сашка к опушке. Пробежав примерно половину, присел у высокого куста, повернулся ко мне, поднял руку: засекай! Я определил азимут и махнул рукой, благословил на путь до конца. Он исчез за кустом. Вытянув шею, я все посматривал, не появится ли он. Но лес был частый, и Сашка не подавал знаков. Появился он вскоре под тем же кустом. Посидел, отдышался, записал расстояние от куста до опушки и сорвался. Запыхавшись, упал около меня.

— Сколько?

Я назвал азимут, Сашка записал его. От куста до опушки определил он азимут на глаз; излома в цепи здесь не было, и азимут крайнего отрезка тот же, что и предыдущего, — 180. Да если даже и было маленькое отклонение, значения оно не имело: на схеме его не отразить. И я удовлетворенно подытожил:

— Ну что же, начало есть. — И запустил руку в карман. — Перекурим? Кто знает, каково впереди.

Сашка, тяжело дыша, начал вертеть сигарку.

— Знаешь, там, на самом фланге, пулеметчик... Вроде не спал, замерз. И так он глянул на меня...

Раскурив сигарку, я протянул ее Сашке прикурить.

— А ты не сказал, что нам еще трудней, опасней?

— Нет.

— И ладно. Солдат, хоть и молчит, а знает, кому лихо на войне.

— Он и взглядом это сказал. — Сашка приподнял голову, и злая очередь брызнула над нами. Сашка ткнулся в лапник лицом. — А сейчас-то нам не слаже, чем ему.

— Зато мы, коль — тьфу, тьфу, тьфу! — не угодим в наркомзем, на ночь завалимся за его спиной.

Стрелок повернулся на бок, и передо мной блеснули синие его глаза. Как я раньше их не заметил! Лицо солдата неумытое, заросшее, а глаза поразительно ясные. И улыбнулся он ясно.

— И за мою вроде бы.

— И за твою, конечно.

Солдат, толстый от фуфайки и ватных брюк, постучал добротными валенками, похлопал рука об руку и снял рукавицы. Оторвав клочок от письма, он попытался было свернуть сигарку. Но одеревеневшие от холода пальцы плохо слушались. И я протянул ему свой окурок. Он убрал клочок бумаги в карман и охотно взял окурок.

— Хоть капельку согреться.

Я знал цену такому согреванию и пробурчал:

— Хвати, хвати этого теплеца.

Сашка опустил в снег окурок, поднялся. Теперь он подался в противоположную сторону, в глубь обороны. Пробежал по горбу пологого длинного холма, похожего на дюну, спустился вниз. И пошел между кустов и деревьев, изредка оглядываясь. Вот он исчез за деревьями и вновь появился. Сел и помахал поднятой рукой. Я взял азимут и внаклонку пошел по его следу, считая шаги.

От холма начинался незнакомый участок, добавленный батальону позавчера. Слева, то у самой тропки, то поодаль, через неравные расстояния лежали солдаты. Иные в ямках, устланных лапником, иные просто на снегу, а некоторые за легким снежным бруствером. А справа, за кустами или под деревьями, другие солдаты строили землянки. Среди них попадались и командиры. Но нас никто не задерживал. Место было ровное, болотистое. Сосняк редок, да и кусты нечасты.

К полудню мы добрались до правого фланга первого батальона. Вырубка, четырехугольная поляна с полкилометра в длину и метров двести в ширину, белела нетронутым снегом. Здесь, на опушке, лежал солдат за «максимом». Пулемет стоял за нетолстым бревном. Пулеметчик был пожилым, с угрюмым лицом. Зорко чернели его маленькие впалые глаза. Рот его сначала показался перекошенным и большим, но, приглядевшись, я понял, что это не губы, а шрам, похожий на красноватый жгут. Когда я выдохнул данные для Сашки, пулеметчик сердито глянул на меня и резко отвернулся, продолжая смотреть через бревно в сторону противника.

До конца вырубки было метров двести. Немец, похоже, сидел по ту сторону.

Пока Сашка записывал данные, к нам подошел младший лейтенант, высокий и тонкий. Сашка, первым увидевший его, полез было в карман за удостоверением, но лейтенант оборотился:

— Топографы?

Сашка кивнул и повернул к нему свою таблицу. Лейтенант сказал:

— Ротный говорил... — И представился: — А я — взводный.

Вот почему нас нигде не задерживали — Рогов сдержал слово. Но лейтенант успел увидеть Сашкину запись и понимающе улыбнулся: азимутный ход?

Лейтенант не был красавцем, но его юное, свежее лицо было на редкость привлекательно. Хотя он по старинке называл командира роты — ротным, а себя — взводным, чувствовалось, что он из интеллигентной семьи. Недавно из школы, а может, и с первого курса вуза. Длинная узкая шинель сидела на нем строго. Но ворот гимнастерки, выглядывавший из-под фуфайки, был широк. Подворотничок был не белей ворота, пришивался, поди, на последней ночевке в штадиве. Изображая хозяина, лейтенант осведомился:

— И как, удачно идет привязка?

— Идет. — Сашка сунул таблицу в карман полушубка. — А результаты ведь — когда вычертим...

— Ну что же, продолжайте, — сказал взводный и торопливо, но не пригибаясь, зашагал к землянке, где копошился его взвод.

В первом батальоне все было закончено. Не обрывая азимутного хода, надо было перейти во второй батальон. Мы



направились было по тропке вдоль вырубki. Тут же упали около пулеметчика. Лес озверел, взревел. Не поднимая головы, я кинул взгляд вперед. Но никого не увидел. А лес вокруг гудел, трещал. В непрерывном реве выделялись беспорядочно частые винтовочные выстрелы, залиvistые очереди автоматов и еще более гулкие и длинные — пулеметные.

— В чем дело? — Я угадал это по Сашкиным губам.

Я сам ничего не понимал. Сашка прополз вперед к бревну, бросил ствол карабина на конец бревна, но ствол поднялся вверх, и Сашка опустил карабин на снег. Чуть приподняв голову, Сашка посмотрел вперед. Пули щелкнули по щиту пулемета, и Сашка ткнулся в лапник. Дрогнул и пулеметчик. Но сразу же напряжился, развернул пулемет в сторону вырубki. Полежал и махнул нам рукой, похоже, велел занимать оборону. Сашка немного отодвинулся от пулемета, я — от Сашки, влево. Но прежде чем отодвинуться, я потянулся к Сашкиному уху:

— А у нас только по пять патронов. А если немец в атаку!..

Но в атаку идут после артподготовки. А разрывов снарядов почти не слышно, бухают сзади, редко, не чаще обычного.

Поправляя карабин, Сашка завалил запасную коробку с лентой, и пулеметчик сердито стрельнул в него глазами, поставил коробку, подвинул ее к пулемету. Сашка, глядя вперед, шевелил своими арабскими губами, ругался.

А немец заливался, гремел. Казалось, конца не будет сумасшедшей пальбе. Но длилась она минут пять. И так же, как началась, внезапно кончилась. Наступила тишина. Не полная, не настоящая, а фронтовая тишина передовой с редкими винтовочными выстрелами, с короткими очередями. Но эта тишина в первые минуты казалась полной.

Мы разом подняли головы. Никого. Пулеметчик негромко крикнул, и плечи его опять задрожали у пулемета, прогремели короткие гулкие очереди.

Мы еще немного полежали и сели. Сашка привалился спиной к бревну, я к ближней сосенке. Закурили. Пуская через плечо дым на нейтральную полосу, Сашка заключил:

— А на первый раз ничего, производит впечатление заваруха-то.

Пулеметчик резко повернулся:

— А на второй?.. — Голос у него негромкий, но резкий, недовольный.

— На второй раз будем знать ей цену.

— Брось! А может, на второй-то он и пойдет.

— А возможно. Раз попугал, на второй пожалует.

— То-то. За что на войне ручаться? — Пулеметчик сделал несколько торопливых затяжек. — Этак иной балаболит: страшно впервой, а потом-де все нипочем. — Он подождал, что мы скажем, и закончил: — А я после двух ранений. И как первый раз. Тогда покарябало, теперича, гляди, доконать может.

Сказал это он быстро, точно боясь, что мы уйдем, недослушав. Я решил поддержать разговор:

— А как же поют: «Смелого пуля боится, смелого штык не берет».

Пулеметчик провел пальцем по шраму около рта:

— Вишь, как она боится? А действовал вроде не робко.

Я всегда любил слушать людей, побывавших в огне, и заинтересовался:

— Как же это?

Рассказ был краток. Поднялись в атаку. Тогда он был стрелком, не пулеметчиком. И уже обстрелян, второй раз после ранения шел в атаку. И как ни жутко было — держался. Не хотелось перед сержантом, отчаянным парнем, лицом в грязь ударить. Ну, взметнулись, завопили «ура». Опять сержант громче всех «ура» кричал и с первых же шагов опередил. Но солдат не отставал, метнулся, сравнялся. И тут сержант скорчился, будто переломился. Уронил винтовку, обеими руками — за живот. Так и сел, зажимая рану. Солдат кричит «ура» и видит, как сержант побелевший корчится. И в эту-то минуту солдата по щеке будто собака рванула. Мазнул рукой — красная. Не вопи он, зубы выкрошило бы, а так только рот разодрало. Но «ура» он все-таки докричал. Пулеметчик резко оборвал свой рассказ:

— А то — «пуля боится». Брось!

Сашка хмуро подвигал бровями.

— Вполне возможно. — И тихо, но веско проговорил: — И все-таки это частность, мелочь.

— Здорово! — Пулеметчик, казалось, готов был пронзить его черными глазами. — А что ж не частность?

Я догадывался, что на уме у Сашки, и поднял руку, чтобы самому высказать мысль, но он отчеканил:

— Миллионы погибших разве трусы? Да все они доблестные, святые люди.

Лицо пулеметчика разом подобрело.

— Ах так? Ну если так, то само собой... ты прав. Прав! Готовясь встать, я пододвинул карабин.

— Прав-то прав. Да зачем же сочиняются такие песенки? Сашка тоже взялся за карабин.

— Для самовосхваления.

Я засмеялся:

— Вот оно что! Тогда...

Но пулеметчик перебил:

— А что ж, и верно, — тихо, задумчиво проговорил он. — Раз он поет — он жив. Его-то якобы и боится пуля. — И, спохватившись, он припал к пулемету.

Вдоль передовой торопливо пробирались знакомый младший лейтенант и незнакомый старший лейтенант. Видно, проверяли состояние роты после дикой пальбы. За ними угрюмо тащился солдат. Мы думали, что это связной, но пулеметчик сказал: его второй номер. Шел или на смену, или для усиления.

Сашка стрельнул окурком и пустился вдоль вырубки. Я — за ним. Азимут здесь мы не засекали, но шаги считали. По жидкой тропке мы добрались до того места, где она прямо пересекала вырубку. Саперы, откидывая снег в одну сторону, сделали узкий переход по вырубке. Но это снежное укрытие не скрывало и до пояса. И Сашка, ухмыльнувшись, предложил мне первенство. Я не воспользовался его любезностью. И, потоптавшись, он побежал. И сразу же взвизгнула очередь, подняла белые бурунчики на глыбах снега. Сашка упал, я прислушался: стоны не было. Сашка вскочил, и снова очередь, долгая, злая. Сашка упал и пополз. Короткие очереди взметали снег, но он продолжал путь. Вобрался в лес, поднялся у сосны и что-то крикнул, смело вскинув руку.

Я засек азимут. Расстояние мерить не нужно — его давала нам вырубка. И я плюхнулся и пополз по узкому холодному проходу, как по желобу. Несколько коротких очередей плюнуло снегом, но я спокойно двигался. Поднявшись перед Сашкой, отряхнулся.

— Вот как делают ветераны! Учись.

За вырубкой тропка разделялась на три. Наугад мы пошли по средней. Тропка уперлась в небольшую землянку со свежей черной землей на накате. Белобрысый, с легкими веснушками парнишка-солдат, одетый в фуфайку, устало швырял землю на оголенный угол наката. Его ППП стоял под ближней сосной. Рядом ютилась маленькая землянка, из трубы которой, будто летом в поле, струился горячий воздух. У парнишки мы узнали, что это и есть КП батальона и что нужно начальство там, в большой землянке.

Но не успели мы спрыгнуть на узкие ступеньки, опускающиеся к входу, как появился старший лейтенант в полушубке, с планшеткой в руке. словно не заметив нашего приветствия, он хмуро сдвинул назад шапку. Его угловатое лицо с острым носом и маленьким ртом, казалось, говорило: знаю вас, стрикулистов! Проведя большой рукой по узкому длинному подбородку, точно сжимая несуществующую бороду, он буркнул:

— Кто такие? Что надо?

Мы сразу поняли: Паков тут не задержится, не застрянет, Паков — в роте. И, предъявив удостоверения, мы объяснили цель прихода. Старший лейтенант пробежал светло-серыми глазами Сашкино удостоверение, лежащее сверху, и вернул оба:

— Что ж, привязывайте. — Сказано это было так, словно дальше должно было последовать: если более серьезным делом не хотите заниматься. Но последовало другое: — Не возражаю.

Придав лицу самое мягкое выражение, я тихо, просительным и в то же время вроде бы между прочим обронил:

— Человечка бы, товарищ старший лейтенант. Провести по передовой.

Глаза старшего лейтенанта сверкнули угрюмо-весело:

— О-о! Так и знал. Где я возьму человека? Рожу, что ли?

Пули повизгивали над головой. И мы с Сашкой присели на корточки перед ступеньками. Сашка торопливо заговорил о необходимости сегодня же провести привязку. Старший лейтенант равнодушно поднял планшетку с бумажкой, прижатой пальцем.

— А в вашем батальоне, товарищ старший лейтенант, есть опытный топограф, Паков, — сказал внезапно Сашка. И начал развивать эту мысль: Паков, мол, помогал бы не только в топоделах, но и в составлении любых документов.

Старший лейтенант, опуская планшетку, остро сверкнул глазами:

— А ты один это думал или вот с ним? — Он махнул планшеткой в мою сторону и преспокойно заявил, что ему нужны не бумагомаратели, а штыки. Участок дан вон какой — на целый батальон! А в батальоне — ни одной комплектной роты. И кончил он заверением, что, попадись мы в его руки, он и нас положил бы в цепь. Судя по решительному выражению лица, по резкому жесту, сомневаться в его словах было излишне. И надо было бы переходить к существу вопроса, но Сашка продолжал:

— Такая деловитость похвальна, но... человек с высшим образованием, я имею в виду Пакова, служит у вас штыком, когда и поважней дело мог бы делать.

— А сейчас самое важное — держать рубеж, быть в цепи!

Сашка разошелся, как и во время беседы с Балаховым. Еще вкрадчивей, мягче он заговорил о приказе, оберегающем средний комсостав в бою.

— Подготовка гражданского специалиста высокой марки, — ввернул Сашка, — тоже влетает в копеечку, а вы...

Но старший лейтенант рубанул воздух огромным кулаком:

— Молчать!

Сашка, не привыкший к подобным командам, вздрогнул. И старший лейтенант усмехнулся:

— Экономист нашелся. С твое-то всяк смыслит. — И он добродушно бросил: — Да от болтовни-то прок невелик.

Прав был Сашка, прав был и старший лейтенант. А время не ждало, у нас оставалась непройденной добрая половина участка. И я показал на парнишку, орудовавшего лопатой на накате:

— А вот он мог бы... Наверняка знает передовую.

— А ты не видишь, что он занят? — И старший лейтенант пояснил: — Землянка неглубока, и земли на накате мало, а ночью гад, — имелся в виду немец, — мину шарнул. Да хорошо, только батальонную, но и та полземлянки оголила.

— А он дороеет, когда вернется.

Старший лейтенант сунул мне под нос планшетку с неподписанным донесением:

— А это кто понесет начальству? — Внезапно он глянул мимо нас, и его лицо снова подобрело. — Уж быть по-вашему.

Мы не без удивления оглянулись. Из глубины обороны, видно от нового КП полка, шел высокий плечистый капитан. А за ним семенил небольшой солдат с автоматом на животе. На этого-то солдата, связного комбата, похоже, и надеялся начальник штаба. Встав на ступеньку, он окликнул Васю, рывшего землю, и приказал ему провести нас по передовой. От фланга до фланга.

Вася встретил приказание с легкой тревогой. Молча опустил лопату, прошел к сосне, под которой стоял автомат, ловко вскинул его на плечо и встал перед нами. Мы поспешили к вырубке.

Шагая впереди Сашки, я старался угадать, кем был начальник штаба до войны. Судя по лицу, мог быть и рабочим высокой квалификации, мог быть и руководящим работником районного, а то и областного масштаба. А судя по рукам, да и по фигуре, не плечистой, но крепкой, был он грузчиком или каталем — работа с тачкой сильно развивает руки, плечи. Впрочем, и занятие боксом способствует этому. Так что мог он быть и рабочим, и спортсменом-любителем. Но и деревенская работа приводит к тем же результатам. А в общем-то, не так уж и важно это. Важней то, что он дал-таки человека.

Вася, считая себя проводником, обогнал нас. Шел он ходко, но его узкие плечи гнула усталость. Ростом он был почти с меня, но хрупок по-мальчишески. И шея тонкая, как

у лейтенанта из первого батальона. Оглянувшись, не отстаем ли мы, Вася поднял шапку и махнул рукавом по запотевшему темени. Остриженная голова кругла, бела, точно спелый кочан. И нечто знакомое виделось мне в Васе. Да это чуть ли не Толя, мой братеник! Верно, немного, но похож. У Толи веснушек не было, глаза побольше, а взгляд рассеянный. По крайней мере три с лишним года назад так было. И рост не тот, но за это время и Толя вытянулся. Мне захотелось услышать голос Васи, и я спросил:

— А кем же, Васек, ты работал?

Он опять оглянулся, не быстро, а с раздумьем. Нет, вряд ли он похож на Толю. Худощавей. Впрочем, сейчас, в блокаде, и Толино лицо не шире, не краше. Пожалуй, все же похож. . .

Двинув на плече ремень автомата, Вася ответил:

— На токаря учился. — Голос не Толин, голос взрослого. У Толи при мне голос был мальчишеский.

Но я сказал:

— И мой братан, ровесник твой, на слесаря. . .

Вася признался, что он начал учиться на слесаря, да откачнулся: всегда пальцы избиты молотком. Зная, что и Толе это же досталось, но он все-таки не сдался, я грустно усмехнулся:

— Так, так. . . А в техникум не стучался?

— Нет, — легко, беззаботно обронил Вася.

А Толя поступил в морской техникум. Когда принес первую стипендию, писал мне отец, радости предела не было. И как не радоваться! Учат интересному делу и грóши платят. Впереди заветная специальность, странствия по морям, океанам, по чужим странам. . . Но вскоре я прочитал в газете: не только стипендии отменяются, но взимаются деньги за учебу со студентов. А потом прочитал в письме отца: платить за учебу нам не с чего, и Толя бросил техникум, пошел на завод. Я утешал как мог: учиться никогда не поздно, вернусь из армии — помогу. И я сказал Васе:

— И правильно. Хоть не переживал уход из техникума.

Вася равнодушно кивнул головой и спросил, воюет ли братан. Я рассказал о Толиной солдатской участи, даже не сдержал тревоги по поводу молчания Толи. Вася насторожился, слушал участливо. А я все глядел на него и думал: такой и Толя солдат. Как раз такой. . .

Мы подошли к тому месту, где стоял Сашка, когда я засекал на него азимут. Мы велели Васе идти к левофланговому

солдату и, считая шаги, затопали вслед за ним по узкой тропке вдоль вырубki.

У вырубki лежал молодой солдат с ручным пулеметом. Вася объяснил пулеметчику, кто мы такие, хотя тот и не проявлял любопытства. Повернувшись на бок, он крепко похлопал руками и неожиданно подмигнул нам:

— Давайте засекайте. Да, смотрите, точнее!

Если Вася смутно представлял цель нашего похода по передовой, то пулеметчик хорошо знал. Записав расстояние, Сашка с Васей пошли вдоль цепи. Лес тут был погуще, чем на той стороне вырубki, и отрезки приходилось брать короче.

Вот Сашка, пробежав немного, присел и посигналил мне. Я засек азимут, подобрался к нему, рядом с ним на лапнике лежал Паков с винтовкой. Мы поздоровались.

Старший сержант Паков, бывший преподаватель географии, был начальником топогруппы нашего полка. Прошлым летом начальник штаба послал в топогруппу резервного лейтенанта. И его стали считать начальником, а Пакова соответственно заместителем. В бою Паков больше всех лазил по переднему краю. Главная и самая опасная работа всегда выполнялась им. Я не отставал от него. А лейтенант выдавал нам задания и принимал данные, которые на бумаге воплощал Сашка. После наступления Пакова и Невина перевели в батальоны. Признаться, как позже, всех прибывший и менее опытный, прежде всего я ожидал этой участи. И перед Паковым чувствовал себя немного виноватым.

Когда я подошел, Сашка и Паков дымили. Вася обтирал тряпочкой ствол автомата. Я тоже закурил. То поднимая, то опуская желтоватые глаза, Паков говорил:

— И ночью тут же, только вдвоем. Лежим по два часа. Сейчас-то я накопался до того, что спина и руки как чужие. И залег вот. До ужина, дотемна. Отдохнуть. . .

— Ничего себе отдых. . . А где спали?

Паков большим пальцем показал через плечо в сторону кустов, за которыми его соратники копошились в котловане.

Окурки жег пожелтевшие пальцы, и Паков швырнул его в сторону. Сашка еле заметно кивнул головой и поднялся. Вскочил и Вася. Я сел, держа компас наготове. Паков медленно перевел хмурый взгляд на меня, на компас:

— Навострился?

— Да не знаю.

И мы замолчали. Мне вспомнился случай, происшедший вскоре после моего прихода в топогруппу. В нашем маленьком подразделении, как и во всяком, было установлено дневальство. И разок, когда я дневалил, мы не вышли на поверку. Во время обороны, по крайней мере на КП полка, была введена вечерняя поверка. Хотя это мероприятие мне казалось не весьма существенным, но я, услышав глас, возвещающий поверку, предложил товарищам выбираться из логова. Но кто-то из них, кажется Сашка, сказал, что, мол, не грех и пропустить. И мы поверку провалялись на нарах. А лейтенант, получивший нагоняй от начальства, потребовал ответа от своего помощника. Паков свалил вину на дневального, то есть на меня. Мне долго досаждала мысль о незаслуженности наказания. Это был первый и последний неприятный случай за время моего пребывания в топогруппе.

Сейчас, уходя от Пакова, я пожелал-таки ему удачи. Он ответил, но что именно — я не разобрал. Стрельба участилась, и я подбежал к Сашке запыхавшись, с металлическим привкусом во рту. Сашка оглянулся в сторону Пакова, вскинул брови:

— А топографию-то он знает лучше всех нас. Да и не только топографию.

В сумерках, когда мутное небо опустило наземь легкую сероватую синьку, Вася объявил, почесывая висок:

— А вон за тем кустом уже не наш батальон.

Было похоже, что ему не хочется идти туда. Я посоветовал Сашке сбегать до куста одному. И Сашка, ругнувшись, пустился. С половины пути он пополз. Взяв на него азимут, я прошел до опушки сосняка, за которой после узкого просвета, похожего на просеку, начиналось мелколесье — березняк, ольшаник, редкие елки. На обратном пути Сашка полз — очереди резали, чуть он поднимал голову. Вот отчего не хотелось Васе туда бежать. Добравшись до нас, Сашка отдышался, записал расстояние и азимут. На сегодня по крайней мере дело было сделано.

И мы повернули назад, домой. На КП батальона простились с Васей, поблагодарив его за помощь. По тропке, на которой мы видели днем капитана со связным, прошли на новый КП полка, думая отсюда двинуться на старый. Но у землянки увидели химика-метеоролога Сергея Сергенча, нашего друга. Скривив по обыкновению в усмешке красивый рот, он кружил, мотал над головой градусник, привязанный на шпагатине. Мы остановились.

— Уже перебрались?

Не переставая кружить градусник, он кивнул. Его глубокие глаза вроде были устремлены на то, чего мы не видели. И вдруг он опустил градусник, ловко поймал, посмотрел на него.

— А вы все на передовой? — И сунул градусником в сторону соседнего низкого бугра: — Вон ваше новое гнездовье.

Мы не совсем поверили ему. Бугор был низок, но широк — значит, землянка большая, не по нам. На верху ее белел снег — значит, землянка сделана не вчера и тем паче не сегодня. Кто постарался для нас? Вход был не от противника, а параллельно передовой. За спиной же Сергея Сергеевича уютно дымила жестяная труба, выступающая из черной кучи земли, наваленной под высокой сосной. Сергей Сергеевич и направился за эту кучу, ко входу, сделанному с противоположной от противника стороны. А мы неуверенно шагнули к старой землянке.

Из нее вышел, чертыхаясь, лейтенант с котелками в руках. Увидав нас, он сунул котелки Сашке, шедшему впереди. Чтоб не оставаться с разгневанным начальством, я поволокся за Сашкой. Ужин привезли по дороге, проложенной по нашему азимуту. Кормили нас из-за трудности доставки дважды в сутки, так что эта трапеза была и обедом. Получали мы последними.

Ужинали в новом жилье. Землянка была почти так же велика, как и немецкая, в которой мы жили. И удобства те же. Только вход не в углу, а посередине. Обитали, оказалось, тут артиллеристы не нашего полка. Выбрались они вчера или позавчера, и землянка настыла, будто поле морозным утром. Палатка, повешенная лейтенантом на входе, разумеется, не согревала. К тому же на время ужина ее пришлось откинуть — иначе и котелка не видно. Мы с Сашкой ели из одного. Для нас, день проведенных на воздухе, ужин был беден и холоден. А лейтенант завел: начальник штаба ему всю плешь проел, требуя схему. И где только черт нас таскал до сих пор? Все можно бы давно сделать. Мы понемногу отбивались от него. Излив гнев, он велел поторапливаться с едой и браться за схему: шкилет — он имел в виду скелет схемы, то есть срисованную на лист бумаги увеличенную часть карты, — шкилет у него заготовлен. Услыхав это, Сашка взвыл:

— Схему? В таком-то холоде? Во мраке?

Лейтенант обещал раздобыть коптилку, а руки, или лапы, порекомендовал греть как сумеем. Впрочем, добавил он уже

не гневно, а ворчливо, утром явится Потнов с печкой. Я хотел, скорей ради шутки, сказать, что вот и делать бы тогда схему, но лейтенант, швырнув пустой котелок в угол, вышел.

Не успели мы перекурить, он появился с коптилкой, сделанной из гильзы небольшого снаряда. Зажгли мы этот светильник, огляделись. Землянка показалась еще более пустынной и холодной. И все-таки мы радовались: у нас есть свое жилье. Лейтенант выложил на нары карту, скелет схемы, командирскую линейку, треугольник, приказал делать схему как можно быстрее и, само собой, точнее. А сам, решив якобы что-то уточнить у саперов, смылся. Но как только затихли его шаги, Сашка уточнил его намерение: греться пошел, и не к саперам — они поди все на передовой, — а к химикам.

Поставив коптилку на щепку, торчавшую из стены, мы сели справа и слева от нее.

Сашка приступал к делу свободно, смело. Его не устраивали только холод и тьма. Светильник наш больше коптил, чем светил, и деления на линейке и транспортире не просто было рассмотреть. А меня пугала еще и неопытность. В обороне я делал схемы, срисовывал с карты увеличенную копию, наносил на нее тактические знаки. Но азимутных ходов не чертил, наблюдал, как это делается, и только. Конечно, Сашка и сейчас бы вычертил всю схему, да подстегивало время.

Посматривая на Сашку, я с помощью треугольной линейки в самом низу листа провел вертикаль, потом горизонталь. Наложив транспортир центром на пересечение, отсчитал первый азимут, отметил его точкой. Соединил точку с центром. Циркулем (Сашка отдал его мне, а сам отсчитывал расстояние по линейке) взял на транспортире 6,5 миллиметра, то есть расстояние в 65 метров, и перенес на только что проведенную линию. Первый ход готов! Я толкнул Сашку ногой:

— А ведь верно: не боги горшки обжигают.

Сашка кивнул, но ликовать пока не советовал. Действительно, пока я возился с одним ходом, он сделал четыре. Я заторопился. Следующий азимут — 360. Наложив транспортир в последней точке на последнюю линию, я отсчитал градусы и заскреб висок:

— Азимут другой, а направление то же.

Не отрывая взгляда от своего листа, Сашка бросил:

— Проведи вертикаль из последней точки.

Я ругнулся: черт возьми, забыл! Сделал, как советовал Сашка, и линия пошла туда, куда следует; чтобы быть точным,

я измерял расстояние циркулем. Сашка же проделывал это на глаз и очень точно. Третью вертикаль и я рискнул провести на глаз. Провел и сразу же проверил циркулем — получилось недурно. С этого хода и я чертил по-Сашкиному, не прибегая к проверке.

Но если Сашка работал не спеша, то я спешил. А спешка к добру не приводит. Я заметил, что мой ход подозрительно круто загибается вправо, на восток. Нечто подобное есть и на местности, но там переход легкий, малозаметный. Ревизуя работу, нашел отсутствие вертикали. Не было вертикали и на следующем ходу.

А Сашка уже вычертил свою половину. Ориентируясь по вырубке, наложил чертеж на скелет. Левый фланг не дотягивал до опушки больше двух миллиметров.

Появился лейтенант. Сашка поведал о нашей промашке и добавил:

— Под таким обстрелом да на таком расстоянии точней и не взять.

Лейтенант, наложив Сашкин чертеж на скелет, пожевал губами. Схема Невина была того же масштаба, и лейтенант прикинул Сашкину кальку к невинской схеме. Зорко проверив ход от фланга до фланга, он добродушно насупился:

— Совпадают. Неплохо совпадают. — И, еще раз пробежав глазами изломы хода, качнул головой: — Переноси все. Со всеми потрохами.

Сашка переколол циркулем каждый поворот азимута со своей схемы на скелет. То же проделал и с моей частью схемы. Соединил проколы красным карандашом, пустил по линии короткие зубцы в нашу сторону. Получилась схема передовой полка. До конца опушки на левом фланге пришлось таки «шарнуть» карандашом.

Казалось, все готово. Снять бы пару копий — да и на боевую. Но лейтенанта насторожила ошибка в расстоянии на левом фланге. И, взяв схему, он провел карандашом по тонкой линии, проходящей поперек линии обороны на правом фланге.

— А эту дорогу видели?

Мы с Сашкой переглянулись. Сашка указательным пальцем потер конец носа.

— Никаких дорог сейчас там нет.

Я добавил:

— Дороги нет, но на границе сосняка и мелколесья есть просека.

— А вы отметили ее?

— Нет. Как раз она делит последний ход пополам.

Лейтенант опять пожевал губами, ткнул карандашом в правый фланг:

— А у вас где?

Красная линия кончалась у дорожки.

Сашка признал: тоже ошибка в расстоянии, и тоже метров на двадцать. Лейтенант запустил руку под шапку, погладил голую голову.

— И тридцать набезит. Д-да... — Нахмурясь, сдвинул шапку на брови. — Д-да, — повторил он угрюмо и посмотрел на меня и на Сашку. — Завтра с рейкой и биноклем привяжете правый фланг. Это раз. — И махнул карандашом по схеме: — Уточните расстояние от конца вырубки до перехода. Это два.

Мы утвердительно кивнули. И Сашка, мелко дрожа, начал делать копии. Застывшие руки слушались плохо, и лейтенант, укладывая чертежный инструмент в планшетку, насмешливо сощурился:

— Да ты, Женер, никак запоем поешь?

Сашка простучал зубами:

— В таких условиях диво ли?

— А ты хотел бы этак воевать: «На солнечной поляночке... мальчишка на тальяночке»?

Лейтенант придирчиво просмотрел схему, аккуратно положил ее в планшетку, щелкнул кнопкой и спокойно посоветовал нам поменьше мудрствовать. Взяв коптилку, погасил ее и откинул палатку у входа.

— Если не вернусь — остался у химиков.

Сашка ткнул меня в бок: я же, мол, говорил...

Мы выскочили вслед за лейтенантом. Он, ссутулясь, топорливо прошел за землянку химиков, к начальнику штаба. Лес гремел от перепалки. Изредка пули взвизгивали и щелкали неподалеку. Низкое небо вздрагивало, окрашенное то рыжим, то зеленым, то белым светом. Мы потоптались, помахали руками, согреваясь, и прыгнули в свою берлогу. Сняв палатку, прикрывавшую вход, расстелили ее на нарах. Легли, укрылись полушубком, а сверху — второй палаткой, постепенно стали согреваться.

И передо мной потянулась узкая, желобом тропинка, поднялись редкие сосны. Треснула пуля над ухом. Я вздрогнул,

открыл глаза и сразу же закрыл. Появилось лицо Васи, похожее и непохожее на лицо Толи. Оно медленно превратилось в Толино лицо. Но было совершенно неподвижно. Я всмотрелся пристальней и увидел Толины глаза. И тут снова проснулся, лежал с открытыми глазами и утешал себя тем, что впервые, хоть и не без помощи Сашки, провел привязку огневых позиций и вычертил азимутный ход.

4

Потнов был старше меня лет на пять.

До топогруппы он был санинструктором при санчасти. Его познания в медицине были не лучше моих. Паков перетащил его в свое подразделение. Потнов научился делать схемы, чертить азимутные ходы, но на передовую выходил редко. Сидел в тылу, оберегал наши документы и держал связь с топоотделом дивизии.

В то утро, проснувшись в холодной землянке, мы с Сашкой жадно ждали его. Он должен был доставить нам печку со старого участка.

Выскочив из землянки, мы огляделись. Воды поблизости не было. Мы обтерли руки снегом, и Сашка пошел за завтраком.

Лейтенант закинул палатку на накат, пропустил Сашку с котелками и хлебом в руках и плюхнулся на нары. Сняв с шеи трофейный бинокль, положил его рядом и взял свой котелок из Сашкиной руки. Сашка разрезал хлеб на палатке, отложил одну пайку в сторону лейтенанта, одну взял себе, а последнюю двинул так, что она покатила ко мне.

— Жри вот все холодное и ликуй.

Я понимал Сашку. Человеку надо сорвать гнев, и если нельзя на виновнике, то хоть на том, на ком можно. Спокойно взял пайку, поставил котелок на колено, ближнее к Сашке.

— Жрать буду, а ликовать погожу.

Сашка сел рядом, запустил ложку в котелок. А лейтенант, прожевывая кашу, заметил по моему адресу:

— Он и в мирное-то время вряд ли возликует.

Я утвердительно кивнул:

— Вряд ли.

— Во! — воскликнул лейтенант. — Как в кофейную гущу смотрел.

Я промолчал, не хотелось болтать. Но Сашка, с аппетитом уписывая кашу, укоризненно посмотрел на меня, и я возразил:

— И в гущу заглядывать нечего. В мирное время нет смертоубийства, нормальное состояние. А сейчас нет причины для ликования.

Лейтенант, любивший поспорить и в особенности выйти из спора победителем, вскинул голову:

— Эва! В каких это вузах нахватался такой премудрости?

— В единственном, пока доступном нам, — на передовой.

То ли случайно, то ли преднамеренно лейтенант, щелкнув ложкой по котелку, отрубил:

— Ну хватит балабонить!

Отложив пустой котелок, лейтенант покопался в углу под лапником, достал короткую, сантиметров тридцати, немецкую металлическую рейку, пересеченную красными и белыми полосками, и протянул ее Сашке. А мне подал бинокль. Мы приняли дары. Лейтенант с картой в руке склонился у входа. Мы с той и другой стороны присели рядом. Лейтенант провел карандашом по черной линии — дорожке, якобы проходящей у правого фланга полка, велел найти ее на местности. А лучше всего, посоветовал он, начать уточнение привязки от сарая. И он ткнул карандашом в маленький четырехугольник, черневший у края белого пятна карты. Протягивая мне карту, лейтенант посмотрел деловито, строго.

— Левый фланг, в сущности, еще раньше закреплен. А вот правый висит, как будто... х-хвост. Так что смотрите!.. — Мы потянулись за карабинами. Лейтенант запустил руку под шапку. — Коль будет возможно, добежите от перехода на вырубке до огневых. С той и другой стороны. Это будет добрая привязка. — Мы разом угрюмо покачали головой, и лейтенант насупленно, но мягко пробормотал: — Если можно, само собой. — Мы кивнули и двинулись к выходу, а он крикнул, хотя мы и так могли бы слышать: — Да! Крайний срок — полдень! Топайте.

Мы выбрались из землянки. Прежде чем сунуть карту в карман, посмотрели на свой участок. КП полка лейтенант обозначил еле заметной красной точкой. Напрямую отсюда до сарая — рукой подать. Сарай, разумеется, не уцелел, — когда мы с Паковым ползали по краю поляны, не видели никакой постройки. Надо было найти следы сарая.

Чтобы не идти по снежной целине, мы пошли тем же путем, каким вчера возвращались.

Вскоре вышли на след, оставленный орудием. Такой след ничего нам не говорил: орудие солдаты протащат и по просеке, и по тропке, и даже в чащобе. След сворачивал в лес, а мы пошли прямо. Выбрались на большую поляну. На ней и надо было искать сарай, точнее его остатки. Поляна была гладкая и чуть поблескивала под солнцем, мутно глядевшим сквозь тонкую тучку. Только неподалеку серели тени от краев воронок, больших и маленьких. След батареи был заметен. На противоположной опушке гулко бухнули снаряды, два толстых бурых столба разрывов выросли на поляне.

Если путь, по которому мы шли, дорога, то сарай от нас должен находиться на юго-востоке. По карте на глаз мы определили его азимут и расстояние до него. Я поставил азимут на компасе, и мы пошли, считая шаги. Впереди заметили низкий широкий неровный холм, отбрасывающий легкую пепельную тень. Мы повернули на него, догадываясь, что это остатки сарая.

Сашка, будто напав на клад, завопил:

— Эври-ки!

Осматриваясь все еще не без сомнения, я спросил:

— А почему «ки»?

— А во множественном числе. И за тебя ликую.

Я посоветовал и впредь так делать: мне одной обузой будет меньше. Сашка рявкнул: «Рад стараться!» — и выдернул из кармана рейку. Я поковырял ногой снег, надеясь найти бревно, но добрался только до сухого бурьяна и высказал предположение, что это все-таки сарай. Блеснув зубами, Сашка воскликнул:

— Неужто питейный дом? Или харчевня?

Я махнул рукой, и Сашка пошел. Остановился на месте выхода дороги из леса. Вынул из рейки более тонкий вкладыш, соединил части вместе, удлинив рейку вдвое, и поднял ее, как свечу. Я навел цейсовский бинокль и четко увидел деления на рейке.

Нашел рейку Паков около одной из землянок. Мы не знали, как ею пользоваться. Взяв у командира взвода разведки трофейный бинокль, лейтенант воткнул рейку на дороге в снег, отошел, сосчитав шаги, глянул на рейку через пересеченное штрихами стекло и нашел то же расстояние. Прodelав несколько измерений, он установил точное значение делений.

Определил расстояние до Сашки. Оно точно совпадало с данными карты до дороги. Я засек и азимут. Сашка записал данные, когда я подошел. Через три хода мы были на передовой. Работать с рейкой и биноклем было одно удовольствие. Если бы, конечно, не пальба...

Я подполз к пулеметчикам. Один из них, немолодой, с приятным лицом, невесело покосился на меня:

— Все мерите? Аль полюбилось у нас?

— Чего там, — буркнул я, — народ-то что надо.

Второй номер лежал на лапнике, уткнувшись лицом в рукав: решил, видно, вздремнуть, пока относительно спокойно. Сев под кустом, я поднял рейку. И в тот же миг стеганула очередь. Ветка, срезанная пулей, чуть не выбила рейку. Я подался на другую сторону куста. Пулеметчик проворчал:

— Хорош ты, хлопец, да лучше б убирался: не то навлекешь грому на нашу голову.

Устроившись за кустом, я осторожно вскинул рейку. Над краем снега увидел Сашку, поднявшего бинокль. Едва он опустил бинокль, я сунул рейку в карман.

Обратно добираться было трудней. Пока я вылезал из-за куста, посыпались очереди. До войны я не особенно старательно ползал по-пластунски, все казалось: пустое это занятие. А сейчас разом наострился не хуже опытного пластуна. Полз по тропке, как и вчера на вырубке, похожей на желоб. Очереди затихли, но пули шарили, искали меня, то сзади, то спереди, то с боков прошивали снег. Чтобы спутать расчеты охотника, я на минуту задержался. Но и пули задержались — окружили особенно плотно, просто давили. И я метнулся вперед. Рывок, другой, третий. Пули, пули очередью. И даже глухие хлопки мин, писк осколков. Вскочив, я перелетел через дорогу и упал под сосной, прополз к другой. Замер, тяжело дыша.

Сашка вытащил рейку из моего кармана.

— Вот, — признал он, — мы ворчим на лейтенанта, а лейтенант не заставляет всю передовую привязывать с рейкой. Знает: рано. Жалеет нас.

Прислонившись к дереву, я отдышался. Сашка возвратил бинокль, глубокомысленно заметил, что бледность мне к лицу, убрать бы щетину, и был бы красавец. Я послал его подальше. А он в ответ обещал доложить о моем посещении правофланговой огневой лейтенанту. И тут же спохватился: лейтенант скорей Потнова представит к награде... Я молчал, и он вздох-

нул: не опоил ли Потнов лейтенанта приворотным зельем? Сашкина болтовня начинала меня забавлять.

— А что ж ты думаешь? — подхватил я. — Потнов медик, а медику, в особенности такому, как Потнов, любое зелье сварганить пара пустяков.

Побалагурив, мы поднялись. Еще пробираясь на фланг, мы заметили на передовой оживление. Солдаты валили лес, носили его к тропке. Кое-где забивались или уже торчали длинные колья. Похоже, начиналось строительство деревоземляного вала, такого же, какой был на старом участке. И сейчас двое солдат пронесли бревно перед нами и бросили его между кольев. А сержант кидал на бревна мшистую болотную землю. Вдоль тропки тянулась жидкая низкая стенка забора. Были в ней и разрывы — места, оставленные для проходов и для устройства огневых точек. А слева Мороз с напарником орудовали топорами над плахами двух-трехметровой длины. Мы свернули к Морозу. В ответ на приветствие он прогудел:

— Здорово, топовцы! — Так называли нас друзья-солдаты, и это было удивительно меткое, чисто русское слово.

На снегу лежал нижний венец сруба будущей огневой точки. Напарник Мороза скалывал щепки быстро, но мелкими порциями, осторожно. А Мороз двумя меткими ударами вырубил крупные щепки у прорезов и одним сильным выколол середину. Небрежно швырнул топор, и он концом крепко впился в бревно.

Мы присели на венец, закурили. Заговорили о житье-бытье. Дзот саперы готовили для установки в заборе. Когда сруб будет готов, его перенесут на специально оставленное место. Строить забор — тяжелая работа, а людей не хватает.

— А чего ж, достается всем во! — Мороз резанул себя ребром ладони по горлу, загудел добродушно-сурово.

Позавчера они ставили мины в нейтралке всю ночь, а днем отделявали землянки начальству: вешали двери, ставили столики, настилали нары из жидкого березняка, чтоб не отлежать бока. Сами-то готовы и на снегу храпануть. Пршлую ночь опять минировали, а днем — вот дельце.

— Зато сегодня ночью отдохнете.

Мороз, ругнувшись, коротко хохотнул:

— Как раз! Вчерась привозили, да и ныне подкинут всякой хреновины — и колючки, и спиралей, и препятствий. Только тяни в нейтралку. Да тяни-то не как попало и не где

попало... Так что ахти долго не сыпáть по ночам. А днем и тем паче. — Он, прижав язык к зубам, далеко плюнул.

До завтрака Силовский беседовал с нашим лейтенантом о второй линии обороны. Еще забора не будет, а огневые будут. А кому их рубить?

Сашка потянул меня за полу. И мы простились с саперами. Я брел за Сашкой и думал о Толе. Под Шлиссельбургом тоже началась заваруха, и Толе достается не меньше, чем Морозу. Да нет, побольше! Мороз — крепкий, прокаленный трудом мужик, а Толе только что стукнуло восемнадцать. Труда-то он тоже хватил, до мобилизации рыл и окопы, и противотанковые рвы, а ел по-блокадному. Да, Толе покрепче достается. И Сашка, видимо взвешивая слова Мороза, оглянулся:

— Как посмотришь на других, наша-то житуха вроде не хуже всех.

— Тем-то мы и держимся.

Мы вышли к месту перехода через вырубку. И Сашка, упомянув, что лейтенант не приказывал, а рекомендовал произвести здесь уточнение, затопал к огневой точке — к пулеметчику, засевшему у старого широкого пня. Сегодня лежал другой, и не за бревном, а в нижнем венце сруба, точно в гнезде. Ствол пулемета покоился в выемке будущей амбразуры. У самой огневой слева и через некоторое расстояние было забито несколько кольев, а между ними брошены бревна, крупные ветки.

Когда я, присев у заднего бревна, выкинул рейку, пулеметчик, широколицый, с лычком на погонах, удивленно посмотрел на меня: что же, дескать, мы делаем? Он видел и Сашку, нацелившегося биноклем.

— Да вот определяем, сколько у немца отхватили... своей земли.

— А-а... И чтобы в случае заварухи бог войны не грянул по своим?

Я кивнул. Он намеревался продолжить разговор, но я, помахав рукой, побежал к Сашке.

Сашка сидел под кустом, просматривая таблицу. Я привалился к его боку, он легонько подвинулся.

— Еще какое сверхзадание провернем?

— Никаких! Сегодня мы будто с поля убрались, как говаривала моя добрая мамаша.

— А что-то схема покажет?

Невысокий, плечистый, с крупной вскинутой головой, он стоял на месте, где повар раздает обеды и завтраки. Его лицо, тронутое румянцем, с белым носом и красными губами, сложенными в добрую улыбку, как всегда, было ясно. Ушанка, завязанная наверху, молодецки сдвинута назад. Полушубок, который он получал вместе с нами, новей и чище. Сашкин полушубок был отменно замызган, мой — тоже и, мало того, в нескольких местах продырявлен осколками, из одной дырочки выглядывал клочок шерсти.

Потнов заметил нас, видно, еще тогда, когда мы шли по опушке вырубки. Сани, на которых он приехал, уже ушли. От воза саперного скарба оставалось только несколько мотков спирали Бруно. Да и те при нас забрали молодой сапер из новичков и тощий, рыжий, унылый помкомвзвода, тоже пришедший в саперы после боя. Перед Потновым лежали наши сидоры, печка с трубой, поллитровка с бензином и солью да немецкий ящик из-под мин, в котором хранились бумаги то-погруппы. Протягивая руку Потнову, я брякнул:

— А мы думали, ты все зелье варишь.

Пожимая руку, он открыто посмотрел в глаза, спросил, что за зелье. Сашка, после моих слов покачавший головой, пояснил: приворотное. Потнов и ему сердечно пожал руку.

— Вы, робятки, что-то ударились в балагурство. — Он немного окал.

— Обстановка уж очень благоприятствует.

Мы забрали свое добро и потащили к своей землянке. На встречу нам из землянки химиков вылез лейтенант, раскрасневшийся, вытянувший губы в ниточку. Здороваясь с Потновым, он бросил нам: все ли мы сделали? Проходя мимо с сидорами на обоих плечах, Сашка буркнул:

— Даже с лихвой.

Пока Потнов и Сашка вносили в землянку имущество, я показал лейтенанту на карте, что мы сделали. Лейтенант удовлетворенно пожевал губами и, в знак признательности за сделанное, велел нам с Сашкой устанавливать печку и топтать за дровами, а Потнову чертить схему. Вылезая из землянки, Сашка проворчал:

— Опять Потнов в уют? Да ему же не разобраться в записях: ход-то не непрерывный.

И лейтенант переменял назначения: передал Сашке чер-

тежные принадлежности, новый скелет, вчерашнюю схему. Мне велел взять топор у химиков, пока он свободен, и наготовить дров, а сам с Потновым начал устанавливать печку.

Ольховый и еловый сухостойник поблизости был повыбран. Попадались мелкие палки. А нашу землянку, большую, неутепленную, надо топить и топить. В глубине леса я нашел высокую ольху, наполовину голую, срубил ее и притащил на плече к землянке.

Сашка обминал землю около трубы, когда я сбросил рядом свою ношу, похвалил мою находку. И вдруг насупленно, не глядя на меня, спросил, знаю ли я, на сколько мы вчера заporоли? Я не спеша вынул топор из-за ремня, швырнул его по-морозовски, и он мыском воткнулся в дерево. Я посмотрел на Сашку.

— На сто метров.

— Где?

— По всему участку.

Я послал его подальше, сел на ольху. Когда мы на старом участке под руководством Содова, дивизионного топографа, проводили привязку передовой с мензулой, то частенько на глаз, ради тренировки, определяли расстояние. И расхождение с данными мензулы было плюсом-минус 10—15 метров. Правда, там было значительно спокойней, и шли мы за здоровенным двухметровым забором. Но и здесь, в особенности на вырубке, ошибки в сто метров не могло быть. И я потребовал схему. Но Сашка не вытерпел, поднял глаза, засмеялся: на правом фланге ошибка на 25, точнее на 23 метра. Я признал это возможным и, уточнив, вперед или назад, заключил:

— И... недурно. Вроде за ночь продвинулись, отхватили двадцать три метра.

Сашка взял топор, ему хотелось погреться.

Потнов, сидя у входа на нарах, одеревеневшими руками чинил коптилку. Я забрался в дальний угол, бросил под голову полевую сумку и быстро, словно на родимой деревенской печке, заснул.

Разбудил меня Сашка. В землянке было холодно. Я с трудом разглядел на Сашкиных коленях котелок. Достал из полевой сумки горбушку, из-за голенища выхватил ложку и подсел к Сашке. Ближе к входу постукивали ложками Потнов и лейтенант, каждый над своим котелком. Я осведомился: почему печка не топится? Оказалось, после моего ухода Сергей Сер-

геич забрал топор. Коптилка тоже не горела: Потнов переломал заусенцы, державшие гильзу.

После ужина я пошел в комендантский взвод за пилой. Но Балахов, стоящий у кучи дров, показал в сторону землянок комполка и начальника штаба:

— Вон она, пила.

К нашей землянке подошли двое. Каждый нес сидор на плече. В полумраке я увидел на погонах того и другого по три звездочки. Меньший был подвижен, строен. Второй — смуглолиц. Первый ходко подошел к Сашке и пояснил, что они начальником штаба присланы на ночлег.

Пока он говорил, я прихватил несколько полешек и щепок. Распрямившись, выкинул руку к входу:

— Милости просим... Места хватит. Хватит ли тепла?

Но они не спешили. Меньший с насмешливым любопытством посмотрел на меня и перевел взгляд на спутника. Тот улыбнулся добродушно и чуть отступил. Я вскочил в землянку. Потнов принял от меня щепки и полешки, на ощупь уложил их в печку. Долго шаркал спичкой и наконец поднес огонь к клочку газеты. Бумага вспыхнула, а щепки не успели загореться.

Командиры, в ожидании появления дыма из трубы, переговаривались.

Не дождавшись, вошли в землянку. Бросив сидоры на нары, присели. Тот, что поменьше ростом, сказал:

— Ну! Когда же вы затопите эту чертову печку?

Не оборачиваясь, я выпалил:

— Мы и сами преисполнены столь похвального стремления...

Командиры помолчали.

— Может, газеты нет?

— Мы газету пускаем прямо на дело, на курево.

И они подали целую газету. Вскоре наша печка пылала. И долгожданное благодатное тепло медленно начало наполнять наше жилье. Тут влетел и наш лейтенант, гревшийся у химиков.

6

Командиры поднялись до завтрака и ушли, оставив сидоры.

Около землянки комендантского взвода я видел колодец — неглубокую и неширокую ямку с водой цвета жидкого кофе.

Вслед за командирами я выскочил и принес воды. Мы нагрели ее, развели в кружке мыло и побрились. Закатав рукава, основательно умылись.

После завтрака лейтенант исчез. А мы, наложив полную печку полешек, закатились в угол — авось денек прокантуемся. Но лейтенант пропадал недолго. Стоя у входа, наверху, он выкрикнул наши фамилии. Сашка сунул в карман рейку, я накинул на шею ремешок бинокля. С карабинами в руках мы выбрались.

За лейтенантом стояли химики — старшина, помкомвзвода, Сергей Сергеич. Лейтенант снял с меня бинокль, взял у Сашки рейку. Это показалось нам недобрый знаком. А лейтенант был краток: мы пойдем в распоряжение второго комбата. Вот вместе с ними, химиками. И только.

Коренастый старшина, с широким лицом, на котором так и бегали глаза, немолодой, но бодрый, стоял впереди своих подопечных. Помкомвзвода, тонкий, высокий, с лицом унылым, стоял чуть позади, сбоку. А Сергей Сергеич со своей обычной улыбкой выглядывал из-за них. Не услышав пояснений от лейтенанта, зачем нам в распоряжение комбата, мы вопросительно глядели на химиков. И Сергей Сергеич пояснил, не без иронии, конечно: строить деревоземляной забор.

И мы облегченно вздохнули: строить так строить. Не все-то топтать, не грех и стрелкам помочь. Предводительствуемые старшиной, двинулись к штабу второго батальона. Перед нами туда же прошла часть роты связи, за нами — рота автоматчиков. Связистов забрал командир правофланговой роты, автоматчиков — левофланговой. А мы с химиками и только что подошедшими комендантцами остались работать в середине.

Пальба на передовой была жижее вчерашней. По лесу сновали солдаты — к забору с ношей, от забора налегке. Часто с треском падали деревья, стучали топоры, шумели пилы. Работа была немудреная. Солдаты с топорами и пилами валяли и разделявали деревья. Солдаты с лопатами вырубали землю и мох со стороны нейтральной и бросали их на забор, остальные носили плахи и крупные суки.

Старшина и помкомвзвода химиков примкнули к Балахову — поочередно работали пилой и топором, а Сергей Сергеич — к нам. Оберегая сержантские лычки, он отстегнул погоны, и они висели, будто перебитые крылышки. Мы каждый взвалили по плахе и понесли. Сашка, принесший длинную вер-

шину, сначала продел ее концами в колья, схваченные сверху проволокой, а затем положил с краю, чтобы она удерживала короткие плахи и землю. Швырнул и Сергей Сергеич свою ношу. И мы отправились за новой.

Познакомились с Сергеем Сергеичем мы в конце прошлого года, на старом участке. Он зашел к нам по делу. Лейтенант дал ему схему и разрешил оставить ее у себя. Но Сергей Сергеич сделал схему сам, а с нашей взял только интересующие его данные. И его схема была не хуже нашей. А на марше, когда шли в бой, я узнал, что Сергей Сергеич лет пять после техникума учительствовал. За два года до войны поступил заочно в институт, на истфак, хотя любил литературу.

Когда мы клали бревна на забор, поднявшийся чуть не в наш рост, подошли начальник штаба батальона и один из наших гостей, старший лейтенант. Отряхнувшись, я приветствовал их. Они тоже ответили, а начальник штаба сказал:

— Вот это дельней, чем слоняться с компасом. . . — Он нахмурился, хотя и не сурово. — Впредь не будете надоедать мне просьбой дать человека. — И глазами указал на спутника: — Вот к нему теперь.

Оказывается, он сдавал дела, обходил с новым начальником штаба батальонный участок. Они пошли вдоль забора.

Я не заметил, как друзья присели на перекур. Вернувшись от забора, я присоединился к ним. Мы только переглядывались, потягивая дым. И вдруг меня ударило по правому запястью. Пуля скользнула по поле полушубка и нырнула в снег. От ранки свесился жидкий шнур крови. Я заругался, схватил левой рукой выпавшую сигарку. Сашка поднялся, потребовал пакет.

— Да ну. . .

Но Сашка настаивал, и я уступил. Неумело наматывая бинт на запястье, Сашка успел ткнуть себя в грудь большим пальцем:

— Смелого пуля боится.

Тут я не отрицал, Сергей Сергеич, прислонившийся спиной к пню, выпятил грудь:

— Именно! — И блеснул в мою сторону глазами.

Крепко перевязав ранку, Сашка обтер руки о полу полушубка, сел рядом. Рука глухо ныла, и я положил локоть на бревно, держа кисть кверху. Руке стало легче. Но запястье непривычно белело, и я, смахнув выступившую из-под бинта кровь, приподнял рукав. Сергей Сергеич вздохнул:

— Чуть посильней — и отвоевался бы...

— Нет уж, лучше воевать!

Сергей Сергеич затаился несколько раз, покосился на Сашку, как бы спрашивая: что он думает по этому поводу? Но Сашка спокойно курил, и Сергей Сергеич снова вздохнул:

— Кто знает...

Мы помолчали. Я не мог представить себя без кисти, калек. В то время по крайней мере. А Сергей Сергеич подумал вслух:

— Да, остаться калеккой любому — не дай бог, а тебе — в особенности.

Не без досады я решил уточнить: почему? Но ответ был неожиданный:

— У тебя и сейчас вроде что-то ампутировано.

— У меня? А у тебя? У Сашки?

Сергей Сергеич посидел с опущенной головой и медленно поднял ее.

— У всех у нас, солдат передовой, заметно этакое — у одного побольше, у другого поменьше.

Сашка, ковырявший щепкой кору бревна, тихо кивнул:

— Поставь нас перед теми, кто войну знает по песенкам, мы резко выделемся.

Сергей Сергеич поддакнул:

— Да-да. У нас иные взгляды, иные ценности.

И опять мы работали, работали. Последние длинные бревешки с трудом запихивали за проволоку, стягивающую верхние концы кольев. Забор в основном был готов. Остальное доделают стрелки...

Возвращались мы в сумерках. Шли по-стариковски сутулясь, молча покуривая. Правая рука немного ныла, повязка сползла с запястья, но ранка не кровоточила. Впрочем, ныли и плечи и спина.

Сашка швырнул носком щепки, валявшиеся перед входом в землянку, — вчерашние затоптанные мелкие щепки. Из трубы не поднимался дым. Сергей Сергеич со своим начальством прошел к своей землянке, курившейся трубой. Прощались мы громко. Потнов, откинув палатку, выглянул из землянки, удивился: чего ж не заходим? Ужин стынет. На его лице мягко играла обычная добрая улыбка. Но Сашка простонал:

— А дрова-то принесены?

— А чем же рубить-то? — невинно удивился Потнов. — Топоры-то — на заборе.

Пересыпая речь руганью, я разъяснил, что в лесу есть сушки, которые можно пальцем, не только рукой, сшибить, которых за день можно от безделья на неделю заготовить. Устали мы люто, жрать хотели зверски, но отправились в лес.

7

Оборону вокруг КП полка возводили полдня. Это сооружение было не столь капитально, как забор вдоль передовой. Отводил нам участок помкомвзвода саперов. Обычно не весьма разговорчивый, он сегодня был особенно молчалив, его сероватые, с золотинкой глаза, казалось, сочились тоской.

В полдень мы с Сашкой бросили последние чурки на невысокий завал, поднятый за нашей землянкой. Побеседовав с химиками, тоже кончавшими свое задание, пошли к своей землянке. Навстречу из землянки выскочил наш лейтенант. Мы посторонились и сразу же впрыгнули в свое логово. Но не успел я сесть на нары — лейтенант, согнувшийся, шатающийся, появился рядом. С его лица струилась кровь. Не выговаривая «р», он что-то настойчиво твердил и протягивал нам индивидуальный пакет. Наверху слышались взволнованные голоса и слабый стон.

Потнов, заготавливавший скелеты схем, отложил бумаги, устался на лейтенанта. Тот стоял ближе к Сашке, но руку протягивал к Потнову. Потнов замер, точно не веря виденному. Да и поверить было трудно. Вроде человек на секунду выскочил только затем, чтобы получить горсть осколков в лицо. Но дивился Потнов недолго. Взяв пакет, он с треском разорвал обертку. Потянулся к лицу лейтенанта, оценивая ранение. Вот он наложил бинт на самую большую рану. И его руки замелькали вокруг головы лейтенанта. Сразу было видно: не зря кончал курсы. Наматывая бинт у глаз, участливо бросил:

— Глаза-то... ничего... оба?

— Да. — И лейтенант закатил длинную фразу, из которой мы поняли, что выбита пара зубов.

Голова у лейтенанта, сравнительно с ростом, была большая, раны мелкие, но их много. И Потнов, израсходовав лейтенантов пакет, пустил в дело свой. Вскоре половина головы

лейтенанта белела, будто снежная. Надвинув на голову лейтенанта шапку, Потнов крикнул, точно глухому:

— Проводить?

Лейтенант, вынимая из планшетки чертежные принадлежности, отказался от услуги. Он пойдет с химиками. Я выскочил из землянки. Старшина химиков сидел на конце бревна, выступающего из завала. Сергей Сергеич, стоя на коленях, перевязывал ему ступню. Помкомвзвода, так же как и Сергей Сергеич совершенно не царапнутый, стоял рядом. А перед входом темнела небольшая плоская воронка — словно коты расцарапали во все стороны землю. Поодаль — еще две.

Старшина шевелил побледневшими губами. И вдруг хлопнул Сергея Сергеича по плечу:

— Вот ведь сон-то! В руку! . . .

Потнов вышел вслед за лейтенантом. Он пытался поддержать лейтенанта под локоть, но тот отдернул руку. Выбрался и Сашка. Стоя у входа, Потнов косился то на воронки, то на землянку. А Сашка с интересом посмотрел на воронки и на меня: задержись, мол, на секунду — и что было бы? Опираясь на плечо Сергея Сергеича, старшина запрыгал к своей землянке. Лейтенант, помкомвзвода, а за ними и мы прошли туда же. Сергей Сергеич подал старшине сидор. Старшина начал было надевать сидор, но опустил, вытащил из него три сухаря да полвосьмушки махорки. Помкомвзвода велел Сергею Сергеичу проводить наблюдения как обычно и подставил плечо под руку старшины. Он решил довести старшину до БМП, а не то и до санчасти. И в последнем случае заночевать в тылу, куда с утра ушел и начхим. Старшина накинул руку на плечо помкомвзвода, и все двинулись мимо заснеженных землянок. Впереди — лейтенант, сзади — химики. Мы, спохватившись, прокричали пожелание скорее выздоравливать. Лейтенант полубернулся, помахал рукой. Встречные проводили раненых долгим взглядом. А Балахов, топтавшийся у своей землянки, даже прошел с ними до землянки полкового начальства. На месте, где останавливается кухня, раненые перегруппировались. Лейтенант подставил плечо под вторую руку старшины, и тот запрыгал бодрее, легче. Вот они скрылись за деревьями, вот показались и скрылись совсем. И Сашка вздохнул:

— Порой ссоримся, огрызаемся, а как ранило — и... и...

Сергей Сергеич подхватил:

— И слеза прошибает?

Но Сашка только махнул рукой. И мы втроем отправились

в свою землянку. Завалились на нары, в надежде отоспаться и за прошлое, и за будущее, в запас. Но только начали забываться — голос Сергея Сергеича:

— Топовцы, письма!

Сердце мое сжалось. Последний раз мы получили письма недели две назад, до наступления. Мы выпрыгнули. Почтальон, сутулый солдат, медленно шел к землянкам роты связи. А под сосной, неподалеку от наката нашей землянки, лежал мешок с письмами. Сергей Сергеич вытряхнул его содержимое на снег. Сколько тут было треугольников, секреток, конвертов! Некоторые адресованы были здоровым, а пришли калекам, некоторые — живым, а пришли мертвым, а иные — от мертвых живым и даже от мертвых — мертвым. Мы жадно стали рыться в бумажном ворохе. Подошли связисты, коменданты, автоматчики. И все сортировали, перебирали перебранное, преслили:

— Попадется мое — отложи.

Мы внимательно перебирали письма. Потнов протянул мне треугольник. От отца! Я быстро развернул его, еще быстрее пробежал глазами. От Толи нет вестей. И начал читать медленней с самого начала. Блокада прорвана, но обстрелы донимают их, как и прежде. Продовольственные нормы увеличены, но они, отец и мать, до того ослабели, наголодались, что увеличение кажется незаметным. А от Толи — ни строчки. Отец сделал запрос командиру части. «Пиши хоть ты-то чаще». Письмо было написано больше десяти дней назад. С Толей неладно. С Толей какая-то беда.

Я даже не помню, как простился с ним, когда уходил в армию. С отцом и матерью прощание помню, а с Толей не помню. Видно, он ушел, как обычно, в школу — и все. А что обижал его, младшего, помню. И горько жалею об этом.

Сашка получил письма от матери и от своей подруги. Обе они работали в одной из районных библиотек Москвы. Мать опытная библиотекарьша. Она с детства снабжала сына лучшими книгами. А подруга пришла в библиотеку в начале войны. Жила она в соседнем доме, при встречах здоровалась с Сашкой, разговаривала. Но даже в кино они вместе не бывали. А как только Сашка ушел на фронт, она начала ему писать. Писала интересные письма. Письмо матери было кратко, сдержанно. Кроме обычных трудностей, порожденных войной, она не видела ничего плохого. Подруга писала подробней, обстоятельней.



А Потнову пришло чуть ли не полдюжины писем — и все от жены. Мать его была неграмотна, и жена писала за обеих. Еще копясь в пачке писем, Потнов бодро мурлыкал: «Мы с тобой не первый год встречаем — много весен улыбалось нам...»

Перечитав письма, он сел у входа в землянку с карандашом и чистой секреткой. Его семья жила далеко от фронта, трудновато было с питанием. Но дочка, пятилетняя девчушка, росла, и от него, Михаила, домой приходили письма. Причин для острой тревоги ни у него, ни у семьи не было. И секретку он, чтобы вошло больше, усеивал мизерными буквами. Писал, а песня так и выпирала из него: «Если грустно, вместе мы скучаем, радость тоже делим пополам».

Каждый раз, чуть раздавалась знакомая мелодия, Сашка, склонившийся над письмом, хватался за щеку, горько хмурился, точно от зубной боли. А я, положив полевую сумку на колени, размашисто заполнял секретку. Молчание Толи очень тревожит, сам пока жив-здоров, после наступления опять за-

сели в обороне. Заклеил ее и отдал Потнову, чтоб он вместе со своим посланием передал ее почтальону. Сашка взялся за второе письмо — ответ подруге. Писать он будет ей больше, чем матери. Я это знал и ушел к Сергею Сергеичу.

Сергей Сергеич сидел у приоткрытого входа, но не с письмом, а с маленьким самодельным альбомом на коленке. Со своей обычной улыбкой он старательно выводил карандашом в альбоме. Альбома раньше я не видывал и попытался заглянуть в него. Но Сергей Сергеич прикрыл страницу и попросил меня погодить. Я настаивать не стал, подался в глубь землянки. Печка у них была сделана из металлической бочки. В ней догорали березовые чурки, и перед ее топкой я прочитал еще раз письма.

В землянку вошел Сашка. Сергей Сергеич протянул нам альбом:

— Сегодняшний сон нашего старшины.

Стукнувшись головами, мы склонились у входа над альбомом. На небольшой странице был изображен человек с карикатурно увеличенной головой, в которой узнавалась голова старшины. Человек с ужасом оглядывался: изогнувшись подковой, змея вцепилась в пятку. Сашка расхохотался: где Сергей Сергеич учился этому? Оказывается, дома. А я узнал, что о сне старшина рассказывал утром, еще не поднявшись, на нарах.

— И в ту же пятку ранило?

— Именно.

Сашка, не переставая посмеиваться, перекинул лист. Человек, согнувшись, зорко глядел вдаль. Его лицо с лохматыми бровями и бородой было зло, волосы вздымались, топорщились, как бурелом. Грозен был и огромный, с лаковым блеском топор в его руке. А под картинкой подпись: «Страшный мужик с топором, приснившийся старшине». Мы захохотали.

— Да ты никак только сны старшины иллюстрируешь?

Сергей Сергеич полистал альбом, — а вот и был. Множество людей с непохожими лицами сгрудились под небольшим шаром с веревкой. Ближние, откинувшись, тянули веревку, соседние тянули их, а задние — тех, кто впереди. И все с ужасом смотрели на шар. Даже не зная, что это значит, мы смеялись. Это, оказалось, была иллюстрация к устному рассказу метеоролога. Они собирались запустить зонд, а он чуть не вырвался раньше времени. Соль шутки в том, что не так велик

шар, как толпа, спасающая его. Мы нашли еще пару столь же забавных рисунков. И пожалели, что маловато их.

— А когда делать-то? За исключением сегодняшнего, все нарисовано в обороне, на старом участке.

Мы снова перелистали альбом, посмеялись и вернули его. Вытянувшись на нарах, помолчали. Я уже начал дремать, да Сашка самодовольно заговорил:

— Немного приобщились к культуре, хоть не светло, но тепло, и пули не визжат. . .

— Ишь ты! В этакой норе — и возликовал, — усмехнулся Сергей Сергеич. — А что бы ты сделал, если б очутился в мирных условиях?

Сашка махнул рукой: неча, мол, заниматься самообольщением. Но вскоре не вытерпел, заговорил:

— Прежде всего сгношил бы обед. На закуску — ложечку икорки, а под нее — по булке — лепесток маслица. А на первое — суп из курятины с рисом. Да не с конским, а настоящим. И клецками. А клецки — сочные, на масле и яйце. Такой суп, чтоб разило на всю квартиру! Нахлебался бы от пуза. А на второе фаршированную щуку или, еще чудесней, судака под белым соусом. А сверх всего черный кофе, и в него рюмку с наперсток «Армении» или «Двина». . .

— Недурственно! — определил Сергей Сергеич. — А ты? . .

— Я прежде всего отоспался бы. Спал бы, как пожарник, по двадцать пять часов в сутки.

А Сергей Сергеич сказал, что он сначала сходил бы в баню. Сдав шмотки в вошебойку, намылся бы до того, что заскрипел бы, как резиновый. Рванул бы «малыша» — и тоже на боковую.

Поуслаждавшись таким образом, мы с Сашкой, взяв у Сергея Сергеича топор, отправились за дровами. Когда мы скидывали полешки в землянку, КП ожил — прибыл ужин. Ушел за ужином Потнов. А мы начали укладывать дрова в углу. Запасец был добрый — суток на двое: кто знает, выпадет ли завтра минута для заготовки. Довольные, мы спокойно переговаривались. Вдруг наверху послышался топот, и Потнов, загремев котелками, скользнул по ступенькам.

— Ой! Ой что деется! — твердил он, поднимаясь, бросая котелки на нары. Румянец исчез с его щек, и без того белый нос был белей снега, глаза дикие, испуганные. Никогда я не видел Потнова в таком виде. Мы разом спросили: что же делается? Сбиваясь и больше обычного окая, он сказал, что во

время раздачи ужина немец ударил минами. Повара и кого-то из очереди ранило. Помкомвзвода саперов — насмерть. Мы угрюмо помолчали: засек, видно, и этот КП немец. Сашка спросил:

— А ужин-то пролил? Или и кухне каюк? . .

Нет, заторопился, зачистил Потнов, ужин не пролил, и кухня цела, просто он не получил: не до ужина.

Мы с Сашкой пошли за ужином.

У кухни, сбоку залитой кровью, стояли три связиста. Черпаком работал ездовой, молодой солдат со стеклянным глазом. Повар Коля, крепкий, обычно веселый парень, охая, полулежал под сосной. Его лицо было толсто обмотано бинтом. Коля вскинул на нас большие, внезапно запавшие глаза и хотел что-то сказать, — может, свое привычное: «Живем, топ-топ?» — но только глухо промычал. А помкомвзвода сидел под сосной напротив. Видимо, приведя своих на ужин, он присел, пока взвод ожидает очереди. Присел, да так и остался сидеть. Одна нога согнута в колене, на нее положена рука. Вторая нога вытянута, рука опущена. А голова мертво упала на грудь, чуть видны изжелта-белые щеки и конец носа. Ни раны, ни крови не видно.

После ужина мы накидали березовых полешек в печку, закурили и залегли. Но не успели докурить, пожаловал Силовский. Он осторожно спустился по ступенькам. Потнов потянулся к коптилке: Силовский зря не придет. Пока он усаживался, землянка тускло озарилась рыжеватым светом. Силовский положил на колени пузатую полевую сумку и, доставая карту и карандаш, поведал, что нам предстоит работенка. Они, саперы, строят огневые точки наподобие встроенных в забор. Это будет вторая линия обороны. И, положив карту на сумку, Силовский ориентировочно показал, где будут эти точки-блокгаузы.

— Так вот, на войне, как известно, всякое бывает, — сказал Силовский. — И на случай прорыва блокгаузы надо связать просеками.

Я от неожиданности присвистнул, Сашка сдвинул шапку набок, заскреб голову. С такой работой нам не приходилось сталкиваться. Поправив шапку, Сашка медленно проговорил:

— Придется. . . это самое. . . точки. . . блокгаузы связать меж собой, вычертить схему, и. . . и. . . — он опять полез было пятерней под шапку, — и найти прямые, кратчайшие азимуты.

Он посмотрел на меня, как бы ища поддержки, но вместо меня сказал Силовский:

— Придется.

Сашка спросил, когда нужно сделать. Силовский постучал углом карты по сумке.

— Пожалуй, к послезавтра.

Мы облегченно вздохнули и перенесли пометки Силовского на карту, оставленную лейтенантом. Поблагодарили Силовского за то, что он приберег для нас жилье. Пособолезновали по случаю гибели помкомвзвода.

— Да, — тяжело вздохнув, побарабанил он пальцами по полевой сумке, — чудесный парень был. Неболтлив, работающ, смел. Как, впрочем, и все мои орлы. — Это слово, «орлы», я слышал от него не впервые. Так он называл солдат своего взвода и до наступления, когда у него все, за исключением Мороза, были другие. — И вот что досадней всего: целыми днями — на передовой, почти целыми ночами — в нейтралке, а доконал вон где! . .

8

Во время завтрака мы обсуждали, как лучше повернуть задание Силовского. Решили начать по традиции с левого фланга.

Быстро поев, мы вышли. Утро было бодрое, с морозцем. Снежок, выпавший ночью, прикрыл землю точно ватманом. Сквозь ветки проглядывала свежая синева и легкие клочки облаков. Даже перепалка на передовой напоминала нечто давнее, мирное — не то гул молотилки, не то постукивание цепов на гумне, а точней и то и другое: автоматные и пулеметные очереди — молотилку, винтовочные выстрелы и минные разрывы — цепи.

Мы направились по дороге, проложенной по нашему азимуту. Только вышли на опушку — справа резко грянули выстрелы, словно горсть камешков брызнула на жестянку. Это саперы выстроившись у могилы своего помкомвзвода, дали залп. Могила мрачно чернела на пепельно-белом снегу среди вырубки неподалеку от КП. Дав залп, саперы опустили винтовки. Первый ком в могилу бросил Силовский.

Левифланговый блокгауз — квадратный сруб с накатом и тремя амбразурами — мы увидели издали. Подошли, глянули на север, где, по данным Силовского, должен быть другой блокгауз. Не сразу, но увидели его. Он смутно желтел на не-

большом бугре под кустом. Сашка пристально поглядел на него, прикинул в уме и отчеканил: азимут 360, а расстояние... он замылся, назвал три цифры и остановился на средней — 300 метров. Я отстегнул компас, наведя прицел на блокгауз.

— Молодчага, Сашок!

Сашка хотел было идти по направлению будущей просеки, но я остановил его. Сказал, что, не будь лейтенант ранен, он сегодня же отправил бы нас привязывать передовую с биноклем и рейкой. Привязывать, как он сказал бы, со всеми потрохами: станкачами, ручными пулеметами, КП рот и, конечно, с забором... Я высказал это предположение, и Сашка согласился.

И я еще добавил, что сегодня же вечером или завтра утром прикажет проделать то же ПНШ-1, наш бывший гость, и, как обычно, даст самый жесткий срок. Сашка опять согласился.

Кроме того, привязывая забор и прихватывая к нему из ближней точки блокгаузы, мы основательней, точнее сделаем схему. Сашка, поймав мою мысль, тут же кивнул.

— Махнем по всем батальонам, — сказал Сашка. — Один батальон сегодня пройдем окончательно...

Идя вдоль забора, мы заметили низкий колышек с гладко стесанным боком. На стесе четко было выведено: «4 Р». Сразу видно, что человек, писавший букву, знает плакатные шрифты. Это, как мы вскоре узнали, был саперный знак — репер. Пока мы обходили его, на белом снегу появились черные пятна, бахнули резкие хлопки. Сначала пятна и легкие удары по голенищу, по поле полушубка, а потом — разрыв. Мы подались к забору, под его защиту. Сашка поднял полу — она была иссечена мелкими, как соль, осколками.

— И у меня... теперь.

На полушубке я не мог отличить новых пробоев от старых, а на голенище появились рябинки, точно оспины.

На КП правофланговой роты первого батальона из землянки вышел Силовский, спросил о задании.

— Половину, — твердо проговорил я, — выполнили с предельной точностью, а со второй половиной, — менее уверенно добавил я, — сегодня не управиться.

Вопреки моему ожиданию, Силовский не впал в гнев. Я никогда, кстати, не видел его гневающим. Часть саперов была снята на расчистку новой дороги, и прорубать просеку между дзотами все равно пока было некому. И он нам разрешил привязку блокгаузов отложить до завтра. И тут же сказал:

— Раз вы привязываете передовую со всеми потрохами, то надо привязать и репера.

Ставились репера по эту сторону забора напротив минных полей. Привязав их, мы привязывали и минные поля. А это было важно, в особенности при сдаче участка. Я упомянул о единственном репере, замеченном нами. Силовский рассказал, где поставлены репера в первом и втором батальонах, и вызвался их показать. Пошел впереди, не пригибаясь даже тогда, когда пули пели над забором. Я крикнул ему:

— А почему это вы гуляете по передовой в одиночку?

— Не хватает людей, — ответил Силовский.

Сашка показал рукой в сторону леса. Там знакомый уже нам младший лейтенант нес длинное бревно. Шел он, как и мы ходили позавчера, тяжело, согнувшись. А я-то считал его белоручкой! Мы издали поприветствовали его. Он сбросил бревно на забор и четко козырнул. Сделал он это почти так же, как делал ПНШ-1, погибший при наступлении. Отвернувшись, опустил плечи, зашагал за новой ношей.

Сашка переминался у крайней точки забора. На посту стоял, изредка поглядывая в амбразуру, тот же пожилой пулеметчик с крупным шрамом у рта. Подойдя, я воскликнул:

— Жив? Смелого пуля боится?

Он сверкнул маленькими черными глазками:

— Бр-р-р-р! Я и шути не говорю этакое. . .

Отсюда начинался участок, уже пройденный нами с биноклем и рейкой.

Темнело, да и усталость валила с ног, и мы повернули на КП полка, домой.

Потнов доедал свой ужин, когда мы ввалились. В землянке было тепло, по-домашнему пахло гороховым супом и пригоревшей пшенкой. Из печки струился слабый рыжеватый свет на колени и котелок Потнова. Мы бросили на нары инструмент и оружие. Потнов отодвинулся от печки.

— Ешьте, робятки. Я опять урвал и Ванюшкину долю. — Так, Ванюшкой, он за глаза называл лейтенанта.

Бросаясь на нары, к печке, я подумал, что Потнов начинает исправляться. Нетерпеливо жуя сухой хлеб, Сашка бросил:

— Да, Михайла, ты — молодчага. Как и я.

Я выдернул из полевой сумки ложку, кусок хлеба, потянулся за котелком, стоявшим на печке. Заметил:

— Из троих уже двое молодчаги.

Сашка запустил ложку в котелок.

— Да, только двое. Ты не дозрел. Чтобы стать молодчагой, мало хорошо делать свое дело. Главное, надо, если верить Сергею Сергеичу, смотреть «в надежде славы и добра».

Я не мог не признать, что этого-то мне и не хватает.

— Но не отчаивайся: сознание своих недостатков — дорога к их исправлению. Ты не безнадежен.

Захмелевший от земляночного уюта, горячего супа, от верного, успешного дневного труда, Сашка балагурил бы долго. Да Потнов перебил его, сказал, что днем приходил Лунев, ПНШ-1. Потнов не потрудился узнать, зачем нужны мы Луневу. Впрочем, мы догадывались и сами.

А вскоре появился и сам Лунев. Подивившись тому, что мы сидим и даже едим без огня, он приткнулся на нарах напротив входа, около Сашки. И прежде всего спросил, привязали ли мы блокгаузы.

— Как ни старались, — смиренно отвечал Сашка, — два не успели.

Лунев крепко затянулся сигаркой, смутно осветив тонкое лицо.

— За целый день — и не успели?.. Да вы, верно, от дела в лесу прятались. . .

Мы не хотели выдавать свой секрет, и не менее смиренно, чем Сашка, я вздохнул:

— История, товарищ старший лейтенант, нас рассудит, как сказал один киношут. — И грустно поинтересовался: — А вы хотите предложить более интересное дело?

Он, должно быть, догадывался, что мы чего-то недоговариваем. Подавшись вперед, сильно затянулся, стараясь осветить наши лица. Сашкино лицо было каменно-серьезно. Лунев откинулся.

— Завтра нужна схема переднего края со всеми огневыми точками, КП, включая ротные.

Я толкнул Сашку, Сашка — меня. И мы — одновременно:

— Конечно, к вечеру?

Но старший лейтенант — неумолимо:

— К полудню.

Сашка взвыл:

— Побойтесь бога, товарищ старший лейтенант. . .

Я зачистил:

— Да за это время и один-то батальон. . .

Огонек сигарки взметнулся к накату, пресекая болтовню. Лунев помолчал, огонек скользнул вниз, вспыхнул несколько раз.

— Ладно, к ужину. — И после паузы: — Но полностью, весь передний край!

Сашка, сказав «есть, товарищ старший лейтенант», повторил приказание, хотя старшим у нас был Потнов. Лунев не торопясь докуривал сигарку, расспрашивая нас о переднем крае, о бойцах, огневых точках и прочих сооружениях. Он кинул окурки в печку и шагнул к выходу.

— Кстати, и я с вами пойду.

Сашка, набивший рот кашей, прошамкал:

— Не отсиживаемся ли мы в лесу? . .

— Ну не совсем. . . Надо с передним краем познакомиться.

Мы согласились с этим, но предупредили, что начнем с середины, с левого фланга второго батальона, и что пойдем медленно.

9

У Лунева пока своего связного не было, и утром он явился в сопровождении Володи, связного командира полка. Володя стоял у входа, расставив длинные ноги. В добротном новом полушубке (во время наступления у него был другой, заносенный), с автоматом на животе и с немецким штыком на ремне. Его зеленоватые глаза так и светились озорством и лукавством. В таком виде, только, разумеется, без оружия, он, поди, являлся на беседы и вечеринки. И девки липли к нему — они любят озорных да щеголеватых.

ПНШ тоже выглядел щеголегато. Был он в длинной шинели. Из-под ворота выглядывала тонкая полоска подворотничка. Погоны со звездочками были новы и натянuty не хуже, чем у Потнова.

На передовой было спокойно. Редкие хлопки мин, редкие короткие очереди. Пули не страшны были за стеной забора. Совсем как в настоящей, установившейся обороне. Мы начали с того места, на котором вчера кончили. Пулеметчик с клочковатой щетиной на восточном лице похаживал около амбразур. Вопросительно посмотрел на нас, но ничего не сказал. И Сашка затрусил вперед. Я ждал, когда он остановится и засигналит. Володя топтался перед пулеметчиком, помахивающим от холода руками. А Лунев начал знакомство с пере-

довой. Заглянул в амбразуру, где стоял ручной пулемет, некогда покоившийся на пне. Глядел он недолго. Быстро повернувшись, крикнул пулеметчику:

— Какого ж черта не стреляешь?

Пулеметчик шагнул к амбразуре, я тоже. За редкими соснами нейтралки мирно синел столбик дыма, а перед ним неторопливо двигалась темная фигура. ПНШ припал к пулемету. Треснула, раскатилась очередь. Фигура исчезла. Только дымок синел по-прежнему. Лунев отошел, а Володя сунулся к амбразуре, подивился.

Лунев строго посмотрел на пулеметчика:

— Немцы разгуливают, а ты ворон считаешь! — И, направляясь вдоль забора, приказал: — Воюй, а не прохладжайся.

Володя пошел за старшим лейтенантом. А боец осторожно склонился к амбразуре, буркнул:

— Твоя стрелял, убег, а оно — с-счас...

Хрясканье мин заглушило конец фразы. Две разорвались поодаль, а одна у самого забора. Удивительно, как она перевалила забор! Осколки чесанули по бревнам.

А Сашка требовал внимания. Когда я подошел к нему, ПНШ и Володи не было, ушли вперед.

К полудню мы добрались до правофланговой точки. Нашли блокгауз, который достраивали Мороз и его напарник. Еще издали Мороз крикнул:

— Что, опять поволокешь по целику? — Он лихо обрубал сучки с поваленного дерева.

— Нет, Морозыч, в другой раз... Жив-здоров, значит?

Он воткнул топор в бревно, тяжело распрямился.

— Покудова...

Его большое грубоватое лицо было угрюмо-спокойным. Синеватые глаза с покрасневшими от недосыпания веками смотрели устало и чуть насмешливо.

От блокгауза мы добрались до сарая на поляне и, промерив расстояние, вернулись. Хотели податься к среднему блокгаузу, но впереди, в ельнике, раздалась команда, пересыпанная дремучим матом по адресу немца. И грохнуло одновременно два удара. Над забором, напротив дороги, появился и растаял грязно-белый шар дыма. На дорогу выскочил старший сержант — артиллерист — и, тяжело вытаскивая ноги из снега, побежал к забору. Пошли и мы с Сашкой.

Из ближней огневой точки вылез боец, подошел к месту разрыва снаряда. Старший сержант, рябоватый парень

с живыми глазами, осмотрел место взрыва, сдвинул шапку на лоб, снова на затылок.

— А ничего, держит.

Оказалось, они на досуге испытывали прочность забора. Снаряд перебил бревешко, вдавил вглубь хворост в землю, но насквозь не пробился. Артиллерист подмигнул бойцу:

— Молодец пехота!

Сашка самодовольно раздвоил губы в улыбке:

— А и наши бревешки есть в заборе.

Вскоре мы вернулись домой. Светило солнце не совсем вешнее, но и не зимнее. С южной стороны у корней деревьев кое-где чуть темнела земля. По КП бродили солдаты. Каждый шел, как обычно, по делу, но напоминали они мужиков, слоняющихся по деревне.

Мне вспомнилось былое. Наша семья, убравшись с поля, в новом гумне обмолотила первую ригу ржи. И мы вечером пили чай с теплым хлебом, тонко пахнущим гумненным дымком. И все мы — отец с матерью, дед с бабушкой, Толя и я — были довольны, радостны. Нечто подобное чувствовал я и сейчас. Не хватало одного — весточки от Толе. Даже нет, не о Толе, а от Толи. Любую, любую, но от него! Отцовы письма вызвали великое уважение, но в эту минуту хотелось бы видеть Толино. Хотя бы пару строк или слов — все равно, но от него!

Наверху послышались шаги, и солнце в проходе исчезло.

— А я думал, письмо строчишь, — заговорил Сергей Сергеич, предлагая топор. Сашка поморщился: топор, конечно, нужен, но Потнов крепко увяз в схеме. За дровами, значит, опять нам идти. Опустив топор за спиной Потнова, Сергей Сергеич ушел, и солнце вновь появилось.

— Да! — зашумел бумагами Потнов. — Чуть не забыл. Тебе ведь письмо.

Я не знал, кому письмо, а внутри у меня вроде что-то дрогнуло. И в то же время мелькнуло: не одна беда приходит — и радость не одна, быть доброй весточке о Толе, а не то и от Толи. Помятый треугольник подбитой белой птицей упал в проход, на солнце. Я взметнулся. Треугольник лежал кверху адресом, и я узнал почерк отца, простой, ясный. Нет, не от Толи. Я нагнулся, схватил, быстро развернул треугольник. Склонился над ним, стараясь держать на солнце, хотя прочесть можно бы и в полутени. Мелькнуло знакомое: «Здрав-

«ствуй, сынок», «мы-то живем по-старому» — и незнакомое: «Чтоб тебя не тревожить, мы прошлый раз не писали — бывают же ошибки... Сделали запрос... И то же самое: Толя убит».

Я охнул, бросил письмо. Ткнулся головой в сидор, в палатку. Сашка тихо встал, вышел, в проходе звякнул топором. Я снова сел, нащупал письмо, потянулся к солнцу. Строчки расплывались, буквы смутно двигались. Но главное я видел ясно: «Толя убит».

Владимир Беспалько



ОКРАИНА

За окнами краны и крыши,
вдали серебрится ангар,
а если взглянуть повыше,
увидишь, как солнечный шар

сквозь мелкие капли тумана
желтеет в своем далеке, —
так в детстве склонялась мама
с горчичником в теплой руке.

И холодок меж лопаток,
и в памяти утро и снег,
и елки взволнованный запах,
и ходиков медленный бег. . .

РАННЯЯ ВЕСНА

Опять снимаю с сердца напряжение
деревьями, что стынут над рекой,
и различаю тайное движение
броженья соков, скрытых под корой.

А снег белеет лоскутами света,
подсвечивая почки на кустах,

чирикая, взлетает с черных веток
родная стая зимовавших птах.

И бьет в глаза пронзительная зелень
брусничных листьев, вымытых ручьем,
а солнце за оградой старых елей
плывет своим единственным путем.

Так тонко прорисованы деревья
на фоне неподвижных облаков,
что нереальной кажется деревня
и белый лед в пунктирах рыбаков.

9 МАЯ

Как представитель поколенья,
едва с кровати не упав,
бежал за утренней сиренью,
хватая брата за рукав.

Не зашнурованы ботинки,
в глазах дрожат осколки сна.
На крыльях треснутой пластинки
плывет над улицей весна.

А над домами флаги, флаги. . .
Их ветер в солнце замесил.
Голдат в рожок зеленой фляги
сигнал Победы прогорнил.

А мы сквозь надолбы развалин
бросались грудью на сирень
и грозди света раздавали,
и на руках качал нас день.

А кто-то мне надел пилотку,
и, небо чувствуя у рта,
во всю мальчишескую глотку
кричал я долгое «ура».

Белила мазанку старуха
известкой звездно-голубой,
и сердце радостно и глухо
ходило с кистью вразной.
И постепенно превращалась
халупа в довоенный дом —
воронка от него осталась,
но стоило ль жалеть о том,
когда в задумчивых иконах
светилась давняя печаль,
ей ангел в виде почтальона
за сыновей краснознаменных
исправно пенсию вручал.
И в одиночестве исконном
все думала, вникая в быт,
что сыновьям в земле спокойней
от шепота ее молитв.
Белила, грустно сокрушаясь,
что пол не выскребешь ножом —
он земляной. Ей все мечталось,
что внуки понагрянут в дом,
как в старый улей соберутся
и загудят, чуть захмелев,
что будет пить чаек из блюда,
порозовеет, помолодеет.
А за окном качалась груша,
ей было душно без воды,
но, словно крошечные души,
рождались новые плоды.

Николай Коняев



ПЛЫВИТЕ, КОРАБЛИКИ

Рассказ

Наташа дружит с Сергеем и Ирой Ивановыми. Им, каждому в отдельности, совсем немного лет, но, если их года сложить вместе, получится человек, которому можно идти в поселковый Совет и получать паспорт.

Может быть, поэтому они и стараются держаться вместе. Вместе они как бы совершеннолетние. Им легче переносить все свои горести, разбираться в большой и непонятной жизни.

Встают они рано. Еще сумерки густо висят за темным окном, еще шипят поленья в только что затопленной печи, а они уже выбегают на улицу, охваченные безумной радостью жизни. И окрепший за ночь снежок поскрипывает под их быстрыми ногами.

Очень рано. Бредут на пилораму рабочие. День только еще начинается. Большой и необыкновенный, как и вся будущая жизнь. Около покосившейся мыловской баньки, прислоненные к стене, стоят санки. Сережа тянет их за веревку, но ему тяжело, и Наташа с Ириной подталкивают санки сзади. Немало времени проходит, пока наконец добираются они до котлована, где раньше добывали глину. Совсем рассветает.

Края котлована со всех сторон одинаковые, и, как ни хитри, как ни ходи вокруг, спускаться отовсюду одинаково. А когда решаешься, захватывает дух от скорости. Снежная крупа набивается в рот, в нос, лезет за шиворот — летят санки с горы.

Утомившись, ребята начинают ходить по гостям. Вначале идут к Наташе. У Наташи дома только старенькая, сухонькая

бабушка, гремящая у печи ухватами. Интеллигентная, впрочем, бабушка. Она присаживается на краешек табуретки возле чугунов, обтирает руки уголком довоенного передника и бормочет под нос: «Фу ты черт! Все позабыла...» — и снова со вздохом берется за хват. Давным-давно закончила она гимназию, а латынь до сих пор не дает ей покоя.

Когда приходит Наташа со своими приятелями, бабушка бросает ухваты и начинает угощать Ивановых чаем с вареньями и пирожками. Раз даже черным кофе их напоила.

Наташу она ничем не угощает, и поэтому Наташе больше, чем дома, нравится гостить у Ивановых, где мать Сережи и Иры тоже, словно бы забыв про своих детей, угощает и развлекает только ее.

Она тоже очень интеллигентная женщина. Работает учительницей в поселковой школе, но сейчас все время сидит дома и говорит, что вот соберется, съездит в гости и купит друзьям еще одного мальчика для компании. Должно быть, от безработности и безделья она толстеет прямо на глазах.

— Тетя Манефа... — заботливо говорит Наташа, трогая интеллигентную женщину за рукав просторного халатика, — вы не кушайте больше.

— Это почему же, Наташенька?

— А чтобы не лопнуть... — отвечает Наташа, и доверчиво поблескивают ее большие глаза.

Потом всей компанией идут к другой Наташиной бабушке. Путь туда неблизкий. Надо пройти через пустырь, через развалины к новой улице каменных домов. Пустырь весь покрыт следами неведомых птиц и зверей. И дети долго рассматривают их — может, здесь ходили лиса или волк, а может, страшно подумать, та огромная злая собака, что мечется весь день на цепи во дворе напротив каменных домов.

Эта Наташина бабушка живет вместе с ее папой, а мама живет то с Наташей, у своей мамы, то у папы... когда как. Так вот эта бабушка совсем неинтеллигентная. Когда она угощает гостей чаем с булкой, то всегда Наташин кусок мажет маслом гуще, чем другие.

Впрочем, дети этого не замечают. Они вообще плохо едят у этой бабушки. В большой, главной комнате стоит густой запах парализованного деда, а в углу таинственно посверкивают иконы. Здесь все чужое, но немножко интересное.

Наташа вспоминает: однажды бабушка крепко прижала ее к себе и расплакалась:



— Бедная ты моя... некрещеное дитячко... Вот погоди, по-мрет дедушка, и поедем мы в церковь... Покрещу тебя — и спрашивать ни у кого не буду.

И сейчас Наташе хочется понять, о чем говорила бабушка.

— А что такое церковь? — спрашивает она, и бабушка испуганно крестится.

На улице, пока дети ходили по гостям, совсем по-весеннему расходится солнышко. Звонко каплет с крыш. В больничном скверике кричат шумливые грачи.

Радость переполняет детей. Они бегают по тающему снежку, горстями хватают его и бросают друг в друга.

Совершенно мокрые и уставшие, но счастливые, присаживаются они отдохнуть на оттаявших бревнах.

— Ах, какая я красавица! — говорит Ирина, пытаясь выразить свою радость, и нос ее, веснушчатый нос, слегка розовеет от гордости.

— А я красивее... — ревниво говорит Наташа.

— Нет, я!

Наташе не хочется ссориться, и она предлагает:

— Давай у Сережи спросим. — Сережу все зовут ее ухажем, и поэтому она не сомневается в ответе.

— Конечно, Ира! — не задумываясь, отвечает он.

— Ну ладно, Сереженька, — говорит Наташа, вставая, — ладно... ты думаешь, я забыла, что, когда скарлатиной болела, ты даже и навестить меня не пришел. Ну ладно... — И, всхлипывая, она убегает.

Сереже не хочется, чтобы Наташа уходила, но он не знает, как сказать, и поэтому сердито кричит вслед:

— Ну и уходи. Подумаешь... — И, тоже заплакав, бредет домой.

А следом за ним идет и Ира, идет и приговаривает:

— Ах, какая я красивая-раскрасивая.

«Маленькая совсем, — сочувственно думает Сергей, — не понимает еще жизни».

Так они и расходятся. Дома их кормят, но они едят неохотно, глаза у них слипаются, и они засыпают, едва добравшись до своих кроваток.

А просыпаются они от чувства удивительной одинокости, и ни о чем им не надо договариваться, ничего не надо придумывать — хочется только поскорее увидеть друг друга. И они торопливо одеваются и снова бегут на улицу.

А к этому времени просыпается их сосед, двоюродный брат Наташиной мамы — дядя Петя. Он учится в далеком городе, в институте, а сейчас взял академический отпуск и тунейдствует, как говорит тетя Манефа.

Он поит детей холодным чаем и принимается читать очередную лекцию по высшей математике. У дяди Пети есть такая теория, что интегральное и дифференциальное исчисление детьми усваивается гораздо легче, чем взрослыми, мышление которых заострено от алгебры и арифметики.

На стене в дяди Петиной комнате висит большая черная доска. Дети смотрят на красивые линии, возникающие под его мелком, и скорее не умом, а сердцем стараются постигнуть тайны исчислений. Непонятно, но интересно.

— Опять дурью маешься... — говорит дяди Петина сестра — отпускница, — входя в комнату.

Посадив Наташу на колени, она пьет вместе с ребятами холодный чай.

— Мама-то дома? — спрашивает она племянницу.

— Нет, — грустно отвечает та и краснеет. Ей очень стыдно перед друзьями за свою несчастливость.

Сережа с Ириной скучнеют.

Дядя Петя откладывает мелок и вытирает носовым платком руки.

— На сегодня хватит... — говорит он, и дети снова идут на улицу.

Уже близок вечер. Солнце медленно опускается за рощицу, хрупко чернеющую в весеннем воздухе. Снега осталось совсем мало.

У реки уже разведены костры, и над ними весело булькает смола... Запах смолы, запах тающего снега, ласковое солнышко — что еще нужно, чтобы забыть все свои горести?

И бегут дети на берег. И Серега, переполненный радостным знанием: «Я живу!», пытается излить свои чувства в напеве заученной песни: «Это раздавалось в Бункербазе. Колокольный звон... Колокольный звон...»

— Что, Серега, все поешь? — улыбаясь, спрашивает у него дедушка Миша и проводит мазилкой жирную полосу по днищу лодки.

— Пою! — гордо говорит Серега.

Приходит на берег дядя Петя и крутится вокруг дедушки Миши, но тот не подпускает его к лодке. Дядя Петя не отстает, и дедушка Миша аккуратно проводит уголком мазилки по его носу. Нос дяди Пети становится черным, капает с него смола. Дети смеются. Но дядя Петя не унывает.

— Давайте кораблики делать, — говорит он, вытирая нос.

Начинается большое дело. Дядя Петя вырезает из кусков сосновой коры, которой усеян весь оттаявший берег, ладные суденышки. Сделан один корабль, другой...

— А мне? — говорит Ирина, и дядя Петя вырезает еще один — маленький кораблик.

Вставлены рули. Подняты берестяные паруса. Аккуратно ставят дети свои кораблики на холодную свирскую воду. И они, подхваченные течением, перегоняя друг друга, плывут мимо Ивановской пристани, мимо пилорамы и вот уже исчезают — едва заметные точки среди просторной реки. . .

— Уплыли. . . — говорит Ира, и Серега берет ее за руку, чтобы она не заплакала.

«Маленькая, — думает он, — жалко ей корабликов. . .» И сердце его сжимается. . .

Наташа тоже загрустила. Уплывающие кораблики почему-то напомнили ей о матери. Грустно детям.

— Давай еще сделаем, — просит Серега.

— Завтра, — отвечает дядя Петя. Ему некогда. Пора отмывать нос и идти в клуб.

— Ну что, Серега? — спрашивает дедушка Миша. Он уже досмолил лодку, и сейчас она сочно чернеет в тихих сумерках.

— Что, уплыли корабли в Шанхай?

И утихают печали. . . «Так вот они куда уплыли. . .» — думают дети уже дома, уже сквозь сон.

А Наташа, возвратившись, еще спрашивает у бабушки с плохо затаенной надеждой:

— Мамушка не придет сегодня?

— Нет, — отвечает бабушка, — не придет, — и смахивает слезу на черноту раскинутых во весь стол карт.

Ночь. . . Тихо уснул северный поселок. Спят дети, и снится им какой-то далекий город, и снятся друг другу они в этом городе. . . Спят дети.

СТАРУХИ

Рассказ

Тетка Катя, у которой постоянно останавливался на ночь петрозаводский шофер Коля Рошин, надумала оженить его на своей племяннице Любке. Любка имела диплом воспитательницы и большую комнату с верандой в городе Ломоносове, но все еще ходила в девках, хотя внешне была довольно симпатичной. Ей просто не везло на парней. Гуляла она с одним ихтиологом, так он пьяницей оказался. Потом был у нее шофер, так тоже ничего не вышло, сотворил аварию и в тюрьму

сел. «А Любка девка здоровая, — думала тетка Катя, неспешно гоношась у печи, — ей замуж обязательно надо».

Да, с другой стороны, и Коля нехудой парень. По триста рублей в месяц наезживает, а главное — мать его тетке Кате очень хорошо знакома, как-никак в одной деревне выросли. Вместе на гулянки бегали, в одного парня влюбленные ходили. Парень утоп по пьянке, так и не довелось им разодраться. . . Подругами остались.

«Коля Рощин, — прикидывала тетка Катя, — да Любка. Чем не пара? Только вот как их познакомить? Коля — тихоня, сам ни за что предложение сделать не додумается, одна и надежда, что на Любкину мать. . . Главное-то — ее сговорить».

Думала так тетка Катя, думала. Потом обтерла о передник свои большие руки и пошла уговаривать Любкину мать.

Дома ее не оказалось: не вернулась еще из школы, но ее мать — двоюродная тетка тетки Кати — сидела на завалинке с толстомясым котом Барсиком.

— Никак Катюшка к нам пожаловала, — глядя кота, проговорила старуха, — и при переднике. . . Опять разговоры покая не дают.

Тетка Катя глянула на себя — и действительно: забыла снять передник.

— Слушай-ка, чего я надумала, — махнув рукой, быстро протараторила она, подсаживаясь на завалинку. — Давай-ка твою внучку на Коле Рощине оженим.

— Это кто такой будет-то? — спросила бабка, настоираживаясь.

— Который, который. . . — сердито проговорила тетка Катя, — в Остречинах от вас через три дома жил.

— Так он же старый! — разочарованно произнесла старуха. — Да и помер вроде.

— Да не он! Его дед это помер!

Она вздохнула и подумала, что недаром Дунька жаловалась — поглупела бабка. Совсем из ума выжила. Даже охота поговорить и то с нею пропадает.

Несколько минут сидели молча. Бабка поглаживала кота и тихонько не то пела, не то бормотала:

— Расскажу те сказку про звезду-алмазку. . .

Тетка Катя растерянно озидала пустынную улочку. Неяркое сентябрьское солнышко ласково пригревало пожелтевшую траву на обочинах. Вовсю стрекотал-заливался кузнечик. На телеграфном столбе сидел дятел и стучал клювом. Наконец



тетка Катя не выдержала — не зря же бежала от печи — и снова заговорила:

— Я тебе про другого Колю говорю. Про того, который в Петрозаводске служит. Вот бы их обженить.

— А пускай женятся, — вздохнула бабка, — двум любо, третьему дела нет, — и снова неторопливо забормотала: — Про белого быка — роги до берега.

— Ой, какая ты глупая, тетка! — огорченно сказала тетка Катя. — Их еще познакомить до этого надо.

Бабка, видимо, не расслышала последних слов, потому как по-прежнему безучастно поглаживала кота и нашептывала ему свои прибаутки.

А в школе тем временем, видно, закончился последний урок. По улочке, размахивая портфелями, промчалась стайка ребятшек.

— Ишь, как войско, бегут, — неодобрительно проговорила бабка и добавила завистливо: — Даст же бог другим старухам внуков. Одна я как проклятая.

«Совсем все перепутала старая!» — сочувственно подумала тетка Катя и сказала вслух:

— Да я-то разве не про внучку твою говорю?

— А-а, — махнула рукой бабка, — какая это внучка, если самой детей заводите в пору. — И добавила горестно: — Внуки вы внуки, внуки маленькие. . .

«Ну что с ней говорить. . . — сказала про себя тетка Катя, вставая. — Что стар, что мал. . . пускай с котом тешится».

И она в ожидании Евдокии прошлась по чистенькому, ухоженному двору, заглянула в крохотный садик за домом. Всплеснула руками, увидев усыпанную краснощеками яблоками яблоньку. Охнула: ровно ягод на бруснике.

Так залюбовалась, что и не заметила, как подошла сзади Евдокия в сопровождении двух глазастых девочек.

— Что, нравится?

— Ой ты, — задивилась тетка Катя, — уж как не нравится. Такую красу вырастила.

Евдокия сорвала девочкам по яблоку, забрала у них стопки тетрадей, и девочки убежали, что-то весело щебеча.

А тетка Катя взяла подругу и сродственницу под руку и горячо зашептала ей свою думку.

— Хорошо ведь надумала? — робко спросила, окончив.

— Да ведь не худо было бы, — вздохнула учительница. — Только вот не приедет она сей год. В Одессу к сестре отцовой укатила на весь отпуск.

— Да как же это так? — растерялась тетка Катя, словно обессиленная мгновенным крушением своей придумки. — Да как же так?

И все никак не могла успокоиться, и уж домой вернулась, а все думала: «Да как же так? Да разве можно так?»

А дома-то печь потухшая. Чернеют в ее глубине лишь с боков обгоревшие поленья. Бросилась тетка Катя шепать лучину, да вот ножик никак не найти. Затерялся куда-то. . . Ищет его тетка Катя, руками по столу шабрает, а что ищет — и сама-то забыла. Помнит только, что очень нужное что-то потерялось — может, самое главное.

Юрий Федоров



ВОЗВРАЩЕНИЕ

Отслужились в армии два года,
Отзвучало четкое «кругом!».
Проходная старого завода
Распахнулась вновь,
Как отчий дом.

Вдоль ограды заводской,
Как прежде, —
Я в потоке кировцев иду,
И, как прежде,
Ласково-небрежно
Мне друзья кивают на ходу.

Среди них седые ветераны
И совсем зеленые юнцы,
Но в такой момент
Мы все на равных:
Деды, внуки,
Сыновья, отцы.

Вот и цех!
Участок стал чуть ниже —
Или я излишне стал высок?
Затаив дыханье,
В дальней нише
Узнаю свой фрезерный станок

Подойду и рукоятки трону,
И они,
Холодные с утра,
Лягут мне весомо на ладони,
Как армейский автомат вчера...

* * *

Засыпают в городе дома,
Гаснут на проспектах фонари,
Волны уложила спать Нева
И сама затихла до зари.
Ночь плывет над сонною рекой
И мосты разводит, как посты.
Лишь на поле Марсовом огонь
Освещает пламенем цветы.

Город спит, от суеты устав.
Но в тиши ночного часа «пик»
На заводах городских застав
Третья смена, как всегда, не спит.
Позабыв про отдых
И покой,
К нам она приходит
Средь ночей
Гулом тепловозов
И станков,
Заревом мартеновских печей.

И ночами будут,
Как всегда,
На заводах молоты стучать,
Будут мчать по рельсам поезда,
Будут телефоны отвечать.
И пока усталый город спит,
Сон его торжественно храня,
Третья смена
Прочно сотворит
Нам начало
Следующего дня.

* * *

Люди смотрят в окно,
На экран телевизора,
Люди смотрят в глаза
Мимолетно
И пристально.

Люди смотрят на жизнь,
Близоруко прищурившись,
Иногда веселясь,
Иногда и нахмурившись.

Ну, а жизнь на людей
Тоже смотрит,
Не прячется.
Иногда словно мать,
Иногда словно мачеха.

И одни от нее
Никогда
Не отступятся,
А другие
Забудут
О ней —
И оступятся.

Константин Баранов



СУПЕШНИК

Рассказ

— Как я хочу рубать! — сказал высохший как щепка Соломахин.

— Молчал бы уж! И без тебя тошно, — буркнул Суворов, слюнявя языком козью ножку.

Он был мрачен. Смотрел в бревенчатую стену неподвижными серыми глазами.

Землянка, казалось, содрогалась от храпа. Кто-то шевелился в дальнем углу, перематывая портянки. Кто-то громко чихнул. Кто-то, устраиваясь поудобней, положил кирзовый — в глине — сапог на голову взводного.

После трудного и длительного похода бойцы спали вповалку. Трофим Суворов, по прозвищу «командующий», подозвал пальцем бойца — того, который страдал от голода, который хотел «рубать».

— Чего тебе, Трофимыч? — спросил тот.

— Принеси-ка ты, Соломахин, водички. Супешник хочу сварганить.

Боец пожал плечами. Принес в круглом котелке воду. Поставил ее на печурку и сел в сторонке. А Трофим Суворов молча снял с плеча заранее приготовленный ремень и начал резать его на мелкие части.

— Эх и что-то у тебя получится! — вздохнул Соломахин.

— Увидишь сам...

В крохотное оконце, казалось, кто-то стегал мокрой тряпкой, — оно беспрерывно тряслось, вызванивало.

Тряслась и вся землянка, будто поблизости падали с неба громадные камни, хотя передовая была далеко.

— Ну как, готов? — спросил Соломахин.

— Да как сказать? Кипит давненько, — ответил «командующий», пробуя мутноватую жижу из котелка, морщась и обжигая губы.

Взвод поднялся в четыре часа ночи.

— Чем-то вкусным пахнет, хлопцы! — воскликнул кто-то в темном углу.

— Супной дух! — оповестил важно Соломахин. — Становись в затылок!

Металлическим звяканьем котелков и кружек наполнилась землянка. Трофим Суворов начал разливать драгоценную жидкость. Бойцам был выдан блокадный паек. Кусочек хлеба величиной с язык, который у всех был, можно сказать, одинаков. И эти три ложки воды, с отдаленным запахом настоящего мяса, были как нельзя кстати.

Себе повар налил остатки в кружку. Порция получилась побольше, чем у остальных. Трофим, стыдясь товарищей, сказал смущенно:

— Чуток перелил я себе, робя!..

— Ничего, — улыбнулся Соломахин. — Это ты заработал, Троша!

— И за находчивость лишок положен, — заметил взводный басовито.

Огонек на донышке консервной банки приплясывал от шумного дыхания бойцов. На их серых лицах блуждала забытая улыбка. А кто-то даже хохотнул:

— Надо же додуматься! Ремень сварить!.. Вот черт!.. Ну и «командующий»!.. Прямо, скажем, молодец!

Другой подхватил:

— Заморили червяка, и ладно. Теперь вроде бы и двигаться можно, а то хоть ложись и помирай.

Тот, кто это сказал, пошел к выходу как-то неуклюже, боком. Его пропустили, сторонясь и давая дорогу...

Трофима похлопали по остро выпиравшим лопаткам.

БЛОКАДНОЙ ЗИМОЙ

Рассказ

В том году зима легла суровая. По твердому насту струилась мелкая снежная пыль. Набивала пуховые сугробы. Гудели на резком ветру телеграфные столбы. Замела и зализала все пути непогода. И только жиденский синий дымок выдавал солдат, несущих днем и ночью боевую вахту связистов.

Сержант Каратышкин, детина с тоскующим лицом, с которого не сходило выражение отчаяния и постоянной заботы, вдруг бросил свое сухое, жердястое тело на скрипучее ложе.

— Сегодня ужина не будет, — объявил он.

— Это почему так? — спросил Щукачев.

— Кто-то за всех управился. Пропал хлеб...

— Да ну-у? — удивился Щукачев. Когда-то он был крепок и коренаст, пень пнем. За год блокады его свело и поджало. Крылатые плечи сползли, обвисли. — Этого еще не хватало! — возмутился он.

В свете квадратного окошечка сидел маленький Ананьев. Он старательно пришивал к своей гимнастерке свежий воротничок. Кашлянул:

— Вот дела... Кто ж это?..

— Не знаю, на кого и подумать, — отозвался Каратышкин.

— Может, завалился куда хлеб? — Ананьев полез под нары, потом заглянул под пирамиду. Выпрямился, отряхнулся. — Ну и наглость!

В ответ было угрюмое молчание. Телефонист накручивал трубку аппарата, вызывая «Волгу». Линия штаба армии упрямо молчала.

Каратышкин поднялся со скрипучего топчана, спросил:

— Чья очередь идти на аварию?.. Щукачев, Мусиенко, шагом марш, быстро-быстро!

Названные бойцы нехотя вышли на мороз.

В открытую дверь белым пуделем бросился в ноги пар и тут же сразу исчез, растаял на полу.

Щукачев и Мусиенко встали на лыжи и отправились искать повреждение.

— Эх, брат, поиграть бы сейчас! — воскликнул Мусиенко.

— На чем?

— На пианино — не на сковороде же!

— Ах, я и забыл, что ты музыкант! Хорошая профессия.
— Да-а, это тебе не лапти плести.
— Лапти?.. Это посложнее, чем твоя музыка.
— Ну ты даешь, Шукачев! А ты хоть раз видел, как играет настоящий музыкант? Ты слышал, например, о Моцарте?..
— Не отставай! Тоже мне Моцарт... До темноты надо успеть.

— А про Бетховена ты что-нибудь знаешь?

Шукачев не слушал Мусиенко. Он упорно шел навстречу резкому ветру и думал о своем доме. Обвисшие провода над головой, все в мохнатой шубе, напоминали ему обыкновенные вожжи. Он видел перед собой дощатый стол, засаленный донельзя, на нем — чашу пахучих щей, из которой все едят наперегонки. Хлеба навалом. У печки мать орудует длинным ухватом, передвигая черные чугуны в глубине красной пасти. Пот льет с ее лица, и кофточка, давно потерявшая свой первоначальный цвет, пристала как банный лист к ее полному смуглому телу.

— Сень! Шукачев! — кричит отставший Мусиенко. — Отдохнуть бы!..

Шукачев сердится:

— Давай, давай, двигай ногами! Дотемна надо успеть!

Ветер трепал полы шинели, прохватывал насквозь. Идти было все труднее. Мусиенко падал и все-таки не хотел отставать от товарища. Временами они останавливались, чтобы прозвонить цепочку. Шукачев лез на столб, а Мусиенко, надрываясь, кричал в микротелефонную трубку:

— «Волга», «Волга»! Я «Ракета»! Ты меня слышишь?..

В ответ — глухое молчание.

Ветер притих, притаился. Вокруг, распустив мохнатые подола по снегу, расселись молоденькие елочки и будто прилушивались к разговору бойцов...

Вскоре начало темнеть. Из-за громадной тучи вышла любопытная луна. Она уставилась на связистов и всю дорогу сопровождала их.

— Светло-то как, Сень!

— Это очень хорошо. Это нам на руку.

Шукачев бодрился, в голосе его чувствовались беспокойство и тревога за прерванную связь.

Вдали, над Ленинградом, бабочкой серебрился пойманный «мессер». Лезвия прожекторов держали стервятника у всех на виду — как на ладони.

— Врешь, гад, не уйдешь! — сказал спокойно Щукачев.

Разрывы зенитных снарядов ложились рядом с вражеским самолетом, вспыхивали одуванчиками.

— Ну и дают наши! — ликовал Мусиенко. — Гляди, гляди — сбили фашиста!

Щукачев, как бы вдруг спохватившись, закинул ящик за спину и побежал так, что Мусиенко едва успевал за ним.

Теперь бойцы шли под уклон, в глубокую распадину. Затем по бревнам перебрались через темневшую в полыньях речушку. С трудом поднялись на возвышенность.

— Уф, весь я мокрехонек, — признался Мусиенко. — Вспотел, спасу нет. Дальше не пойду. Ты как хочешь, а я...

— Да что я-то? — нахмурился Щукачев.

— Ты деревенский, закаленный. А меня ноги не держат.

Мусиенко осел, как продырявленный мешок. Щукачев, ни слова не говоря, пошел один. Тогда Мусиенко нехотя поднялся. Подумал и, зло сплюнув, лениво поплелся за товарищем.

— Вот она, зарозочка! Наконец-то! — вдруг сказал Щукачев. — Лезь на столб, да побыстрей!

Звеня железными когтями, Мусиенко долго лез по столбу, еще дольше, как показалось Щукачеву, присоединял провода. Потом он ударил по цепочке кулаком. Вниз сорвалась сосновая ветка. Мусиенко выдернул из кармана шинели носовой платок, чтобы вытереть со лба пот, и с ужасом заметил, как выпавший из его кармана огрызок хлеба стукнулся о раскрытую крышку телефонного аппарата и упал прямо к ногам Щукачева.

— Хлебушко! — воскликнул Щукачев. — Откуда он?

— Ешь! — буркнул Мусиенко.

В микрофоне послышался шорох — признак того, что линия в исправности.

— «Ракета», «Ракета», — донесся голос Каратышкина.

— «Ракета» слушает, — ответил Щукачев.

— Что было на линии?.. Где вы пропали? — с беспокойством спрашивал сержант.

— Ветка упала на провода и замкнула цепочку.

— Ясно. Двигайте обратно!

— Есть двигать обратно!

Мусиенко во время этого разговора терпеливо висел на траверзе, не смея спуститься вниз раньше времени.

— Слезай! — наконец приказал Щукачев. — Все в норме.

Подгоняя лыжные ремни к валенкам, он сейчас думал о том маленьком огрызке, который лежал в его правом кармане. «Проглоти — и все тут!» — подсказывал желудок, а сознание твердило другое, разум говорил: «Нельзя! Обидишь товарища».

Мусиенко, спустившись со столба, пробормотал:

— Что будет-то?.. Ведь все равно ребята узнают...

— А что такое?

— Подлец я, Сеня. Хлеб, который я съел, это же ужин всех, всего расчета. Представляешь?..

— Как же это ты?

— Я думал... То есть я хотел хоть раз, да досыта накормить свой желудок...

— А я думал, ты от своего пайка оторвал и дал мне... Ну, музыкант, не ожидал я от тебя такого!

Щукачев протянул огрызок хлеба. Мусиенко взял. Но он не положил хлеб в карман, а сунул в рот и, не прожевав, проглотил.

— Придем на расчет — доложишь обо всем сам! — посоветовал Щукачев. — Иначе пятно ляжет на каждого из ребят. Бойцы перестанут верить друг другу. Уловил? А недоверие — это хуже смерти. Чуешь?

Мусиенко низко опустил голову и весь обратный путь уже не поднимал ее...

Наконец показались три сосны. Такие близкие и родные. С реденькими кронами, общипанные, изгрызенные осколками снарядов. Около этих-то сосен жил и нес боевую вахту расчет сержанта Каратышкина.

Два связиста молча, стараясь не греметь когтями и цепями карабинов, вошли в землянку. Щукачев доложил сержанту о проделанной работе. Затем оба, все так же молча, легли на скрипучие нары, каждый на свое место.

В землянке все спали. Дежурный телефонист клевал носом. Наверху поскрипывал под сапогами часового сухой снег. Мороз, как говорится, поджимал гайки. А Мусиенко не спал. До полуночи ворочался. Несколько раз вставал пить и, наконец не выдержав, разбудил сержанта и признался во всем.

— Ладно... разберемся завтра... — прохрипел спросонок Каратышкин и повернулся на другой бок.

На рассвете подъехала трехтонка. Это привезли продукты. Бойцы забегали как ошпаренные. Без команды перенесли в землянку ящики.

— Выходи строиться! — крикнул сержант. — Красноармеец Мусиенко!

— Я!

— Выйдите из строя.

Мусиенко шагнул вперед.

— Кру-гом!.. А теперь расскажите, что у вас произошло.

— Я же вам все выложил, товарищ сержант... .

— Это мне. А надо, чтоб и товарищи знали.

Мусиенко, глядя на носки своих сапог, рассказал. А как только он кончил, сержант сказал:

— Двадцать суток вам полагается, Мусиенко. Ну да ладно уж, как-нибудь разберемся сами. Взводному не буду докладывать. Но учтите, Мусиенко, это ЧП. Вам придется долго войти в доверие товарищей. Все же, несмотря на ваше чистосердечное признание, лишаю вас ужинов на неделю. А сейчас пра-ззойдись!

Солдатам стало как-то не по себе. Вернее, стыдно. Как будто все они были в том виноваты, что недосмотрели за Мусиенко. А он все эти дни чувствовал себя чужим среди своих. И не знал лишь одного: не знал, как отходчив солдат, если перед ним будешь стоять с чистым сердцем и ясными глазами.

В первый же ужин кто-то, оторвав от себя половину пайка, отдал его Мусиенко. Обернувшись, тот увидел доброе, улыбающееся лицо Щукачева. Мусиенко отвернулся. Покатые, как у бутылки, плечи его задергались. Никто не подошел к нему в эту минуту. Да и не к чему было. Звякали алюминиевые ложки в помятых котелках. Маленький светло-оранжевый язычок в консервной банке по-прежнему приплясывал, то вытягиваясь, то сгибаясь. Казалось, вот-вот умрет... . Но нет! Язычок оживал и еще ярче, теплее озарял землянку.

Николай Шумилин



ПЕТРИЦЕВО

Петрицево
Колодцами мне снится:
Вода в них
Нестерпимо холодна
От той зимы.
Попробуйте напиться
Суровой скорби,
Поднятой со дна.

Иду войной.
Иду
Печальным следом...
И встречный ветер,
Сорванный с лугов,
Пропитан влагой
Или талым снегом
От
Тех
Последних
Зоинных шагов.

Валентин Соболев



УЧИТЕЛЬ МОРЕХОДНЫХ НАУК

Рассказ

Федя Шорин сунул ноги в ботинки и выскочил из спального зала, кубарем слетел с лестницы, побежал по коридору мореходного училища. «Надо успеть, надо успеть», — торопливо мыслил курсант на бегу. Еще поворот. Еще несколько прыжков — и он не опоздает на лекцию.

Широко шагая, покачиваясь, словно двигаясь по палубе корабля, к аудитории стремительно приближался преподаватель морской практики Алексей Львович Веретенников. Он уверенно толкнул дверь, стал на пороге, осматривая из-под насупленных бровей притихших курсантов — будущих судоводителей морских торговых кораблей.

Федя, едва сдерживая громкое дыхание, стоял, притаясь за широкой спиной Веретенникова.

— А-алексей Львович, разрешите войти? — прошелестел курсант.

— Что? — преподаватель, круто развернувшись, поглядел в упор. — Трап убран! Швартовы отданы! Корабль ушел в море!

Веретенников закрыл дверь, и Федя остался один в пустом коридоре. В училище начались занятия. В аудитории, в которую не успел попасть Шорин, громко рявкнул неплохо отрепетированный хор:

— Здрав желам товщ преподаватель!

«Улетучиться отсюда надо», — подумал Шорин. Он знал — здесь оставаться опасно. Начальник судоводительского отдела-

ния, а еще хуже сам начальник училища могут обнаружить увеливающего от занятий сачка. И тогда ему вне очереди мыть этот длинный коридор до самого отбоя.

Шорин юркнул за угол и оказался в библиотеке. За столом сидела Наталья Михайловна. Она, услышав шаги, легким прикосновением поправила черный бантик на белой блузке и короткую стрижку.

Федя любил читать, уважал эту строгую, небольшого роста женщину и часто забегал сюда.

— Наталья Михайловна, здрасте!

— А ты почему не на уроке?

— Так получилось...

Библиотекарша не вела с ним больших разговоров, ее серые глаза, увеличенные стеклами пенсне, согревали лаской. Она понимала курсантов с полуслова. Наталья Михайловна для Шорина частенько припрятывала редкие книги, разрешала в глубине зала рыться на полках. Когда Федя попал в больницу, к нему в гости приходили лишь дружок Борька да Наталья Михайловна. Она приносила ему брызгавшие красным соком крупные вишни. Они были куда вкуснее, чем в далеком отцовском саду.

Шорин помялся и спрятался за полками, взял книгу, но не читалось. Вчера вечером Федя самовольно сбежал в театр. Там давали Островского «Без вины виноватые». Отличный спектакль. Незнамов-то, Незнамов! «Я пью за матерей, бросающих детей своих!» Это тревожило душу. Шорин, переживая, забыл про галерку, духоту, приклеенную к спине мокрую тельняшку.

Возвращение Феде было ужасным. Проскочить он не успел.

— На камбуз. Картошку чистить! — наказал его дежуривший этой ночью начальник судоводительского факультета.

От плохого угля чадили плиты, после свежего воздуха угар камбуза кружил голову. Шорину вручили нож, поставили бачок литров на десять.

— Норма три бачка, — бросил дежурный, — потом спать. На занятия без опозданий!

Федя до рассвета упорно наполнял бачки чищенной картошкой. Только прилег вздремнуть — горнист сыграл подъем...

Раздался пронзительный звонок. Шорин снова устремился к своему классу. Высокие и маленькие, белобрысые и черные, юркие и медлительные юноши высыпали из аудиторий.

Мелькали голубые воротнички с тремя белыми полосками, широкие ремни с медными бляхами, отчищенные накануне до блеска. Смех, задорный разговор, гул и топанье нарушили тишину. Лишь вахтенный, несущий дежурную службу у парадного входа, стоял молча.

Перерыв закончился. Алексей Львович вошел в класс.

— Встать, смирно! — скомандовал коренастый Борька.

— Вольно! — устало сказал преподаватель. Увидев Шорина, как будто обращаясь к самому себе, пробормотал: — Ну-с, ну-с... Опоздание к отходу судна в рейс не прощается на флоте никому. Ни-ко-му!

Веретенников стал прилаживать на свой нос старенькие, с тесемками вместо металлических дужек очки. Они несколько раз падали и опять водворялись на место. Мясистый нос учителя явно не годился для этой цели.

Курсанты не улыбались. Они знали, что еще до революции, когда Алексей Львович плывал штурманом на паруснике «Великая княжна Мария Николаевна», с ним случилось несчастье. В шторм порвало снасти, удерживающие на месте нижнюю рею кормовой мачты. Это горизонтально расположенное бревно, оказавшись низко спущенным, стало гулять свободно над палубой, сметая все, что попадалось на пути. Веретенников вместе с матросами ринулся ловить загулявшее дерево и, споткнувшись от качки, принял сильный удар толстеного бревна прямо в лицо. Его нос хрустнул и облился обильной кровью...

Наконец очки преподавателя заняли нужное положение.

— Капитаны! — торжественно произнес учитель. — Заштормить окна! Проверить готовность стенда к работе!

Курсанты быстро организовали небольшое затемнение. Дежурный Борька подключил стенд к электросети, пальцами пробежал по кнопкам. На матовом экране промелькнули белые, красные, зеленые огоньки.

— Стенд для изучения правил предупреждения столкновения судов в море готов! — доложил Борис.

— Добро, — бодро отозвался Алексей Львович и сел за пульт управления.

— Ночь. Ветра нет. Судно в открытом море. Капитан Шорин, на мостик! — Веретенников толстым пальцем ткнул в Федю. — Пожалуйста, пожалуйста отвечать!

«Так и знал, так и знал», — заперевживал Шорин и понуро поплелся к возвышению, откуда хорошо просматривался экран.

— Послушайте, Шорин, голову выше, расправить плечи! Сейчас вы капитан, поведете свой корабль в Английском канале. Сотни судов пойдут вам навстречу. Главное — не столкнуться. Каждый раз принимать единственно верное решение.

Шорин несколько подтянулся. На всякий случай пригладил коротенькую прическу. Как-то учитель, глядя на растрепанный чуб Бориса, стоявшего у доски, сказал:

— Гражданин, у вас не голова, извините, а гнездо вороны. Когда у вас будет человеческая голова, тогда приходите отвечать. А сейчас садитесь!

Федя ждал, когда Алексей Львович станет показывать на экране огни встречных судов. И вот загорелись три вертикальных белых огня, а по бокам зеленый и красный.

— Что увидел капитан? — любопытствовал Веретенников.

— Навстречу идет пароход, ведущий за собой другие суда. Длина буксира более ста восьмидесяти трех метров!

— Молодцом! Ваши действия?

— Право руля!

Огни светились, они неумолимо надвигались на курсанта. Шорин лихорадочно соображал.

— Право на борт! — заорал Федя.

Учитель молчал. Огни грозно предвещали опасность.

— Стоп машина... Полный назад... — боязливо шепнул где-то сзади дружок Боря.

Алексей Львович резко вскочил и повернулся на носках к классу.

— Сколько вам лет, Иванов?

— Девятнадцать, товарищ преподаватель...

— А я думал, эдак семь-восемь. Ну-с, ну-с, садитесь, гражданин Шорин. Не ожидал, не ожидал. Между прочим, ночью в открытом море никто не подскажет. Никто! Вам и вашему другу по единице.

Учитель прицелился и вывел в журнале две жирные палки. Блеснули и погасли чернила от пробившегося сквозь штору солнечного лучика. Прожужжала муха, ударившись в оконное стекло, где-то далеко аукнул гудок буксира.

Веретенников никогда не ставил двоек. Они для него просто не существовали. Знания курсантов определял или единицей, или четверкой. Пятерок не признавал. Нет, не потому, что считал лишь себя одного, преподавателя, знающим на пятерку. А потому, что был уверен — морскую практику на пятерку

может знать лишь курсант, проплававший матросом на флоте ну хотя бы год. Сейчас же перед ним сидели юноши, плохо знавшие корабли, море, штормы. Еще неизвестно, кто из этих мальчишек, по-настоящему изведав изнурительные качки, туманы, тяжелый моряцкий труд, останется верен морю.

Троек не ставил, считая эту отметку неопределенной. Он чувствовал, что его питомцы могут учиться хорошо. «Способные ребята, а так баловство одно, — бурчал он, — если может на тройку, то и на четыре вытянет».

— Ну-с, ну-с! Капитан Орлов, на мостик! Условия такие же, если не считать ветерка эдак балла на четыре. Огни по обстоятельствам.

— Нам можно сесть? — умоляюще спросил Борька Иванов.

— Хочу отметить, что штурманскую вахту несут стоя четыре астрономических часа. И ни минуты меньше. Стойте, стойте, гражданин.

Слово «гражданин» не сулило ничего хорошего. При нормальных обстоятельствах Алексей Львович всех называл товарищами, а когда осуждал кого-нибудь за неблагоприятный поступок, мгновенно переходил на «гражданин». Говорил он это слово подчеркнуто официально.

Васька Орлов коротенькими ножками быстро проскочил расстояние от парты до стенда, выпятил грудь и насторожился.

Показались огни: красный и зеленый.

— Как мне кажется, это, так сказать, если я не ошибаюсь, идет...

— Ваше судно тонет, гражданин Орлов. Пока вы тут рассуждали, парусник своим крепким бушпритом пропорол вам борт. Ваши действия?

— Мы, так сказать, — заюлил Васька по кличке Граф.

— Капитан Шорин, что предпринимаете вы?

— Объявить водяную тревогу, обследовать пробоину, завести пластырь.

— Вы делаете успехи, товарищ Шорин!

Алексей Львович помолчал, подумал и вдруг спросил:

— А здесь комсорг есть?

— Есть!

— А староста группы?

— Есть!

— Командиры взвода, отделений, профорг?

— Есть! Есть! Есть!

— Один, два, — Веретенников, пересчитывая, подходил к стоявшим у столов и толкал каждого железным пальцем в грудь — три, четыре, пять, шесть!

Преподаватель остановился, обвел руками всех выстроившихся в проходах:

— Товарищи! Смотрите, сколько руководителей! А в журнале частокол. Советую комсоргу провести открытое комсомольское собрание с повесткой: «Как быстрее научиться самостоятельно принимать решения». Очень хочется и мне быть участником обсуждения. Пригласите?

— Пригласим, обязательно пригласим, Алексей Львович! — загалдели все разом.

Веретенников вытащил карманные часы величиной с блюдце и с громким ходом современного будильника. Убедившись, что до звонка осталось минут пятнадцать, Алексей Львович взял мел и ровной полосой разделил доску на две части. Вверху написал: «Якорь Холла». По левую сторону меловой черты вывел: «Достоинства», по правую — «Недостатки». Повернувшись к классу, сказал:

— Диалектика!

Помолчав немного, улыбнулся:

— Знаете, что это такое — диа-лек-ти-ка?

— Знаю, — осмелел Шорин.

— Ну-с, ну-с?

— Это когда рассматривают предмет всесторонне, в движении, в его противоречиях.

— Якорь Холла здесь при чем? — хитро покосился на Федю преподаватель.

— Вы расскажете нам о его достоинствах и недостатках. Иначе говоря, мы получим противоречивость предмета, а значит, зная о нем не только хорошее, но и плохое, сумеем на практике с большей пользой для дела применить этот якорь.

— Философ, — одобрительно проурчал преподаватель.

Нет ничего прекраснее на свете, чем звонок, зовущий на перерыв. Веретенников покидает аудиторию, за ним спешат все, даже отличники.

— Ты опять пропускаешь урок?

Наталья Михайловна строго взглянула на Федю, вошедшего в библиотеку.

— Алексей Львович заболел. Два часа свободы...

— Ты рад?

— Хм...

— Проведал бы старика.

Шорин покачал головой. Ему вспомнился рассказ Васьки Орлова про Веретенникова. Врал, наверное. Но картина у него получилась яркая.

...Маленький внук преподавателя тянет руки к горящей свечке, бабка удерживает ребенка:

— Горячо, Левушка, больно...

— Не мешай, мать! — басит Алексей Львович и приближает мальчонку к свече.

Ребенок хватает трепыхающийся огонек и с криком отдергивает обожженную ладошку.

— Вот и хорошо, — удовлетворенно заключает дед. — Человек познал огонь! Парень никогда больше не притронется к пламени!

Шорин подымает глаза:

— Нет охоты к нему в гости ходить...

— Не цените вы Алексея Львовича. Стар-то он стар, но душой юн. Молодых любит. Живет теперь один. Жену похоронил, а сын на другом конце города квартиру получил. Пойдем к нему вместе? Договорились?

За стеклом на подоконнике лежал снег. Он спрессовался слоями.

— Раз, два, три, четыре, — машинально посчитал разноцветные полоски Алексей Львович и подумал: «Пожалуй, верно — четыре раза шел снег, потом таяло».

Рассвет тускло серебрил стекла и слегка золотил медные пуговицы на кителе Веретенникова. Старик круто повернулся и, задев плечом полки с книгами, валко пошел на кухню.

После чашки кофе и бутерброда с маслом он уселся в приземистое кожаное кресло и стал листать английский журнал, изредка отрываясь и всматриваясь куда-то в пространство.

Не любил Веретенников болеть и сидеть без дела. «Как там мои мальчишки поживают? — мысленно спросил себя. — Вот собрание провели на славу, разобрались без меня. Сам, без подсказки. Как это Шорин сказал? Чтобы принимать решения, надо твердо знать свое дело. Правильно парнишка определился.

Иванов тоже неплох. С каким азартом выпалил: «Правила для предупреждения столкновения судов в море для штурмана — это все равно, что для каждого грамотного человека таблица умножения. Мы, ребята, плохо знаем пункты этого закона, а отсюда все наши беды».

Когда же он, Веретенников, впервые принял серьезное решение? Может быть, когда приказал раскачивать силами команды небольшой пароходик «Ока», сидевший на мели? Выстроил весь экипаж по правому борту. Объяснил задачу, и начали моряки все вдруг бегать с борта на борт. С гиком, со смехом, удивляясь и, наверное, считая капитана идиотом. Ан нет, раскачали пароходик и благополучно оставили позади злосчастную песчаную отмель.

А может быть, тогда, в другой раз. Приказал спустить все судовые шлюки на воду и заставил гребцов буксировать учебный парусник, застрявший в узком проходе в безветрие. «Знаю, злились курсанты, ругали капитана Веретенникова. Мол, придумал шлюпками вытаскивать в море корабль. Но ведь тогда радио не было, буксира не вызовешь. До порта далеко. Паруса не тянут без ветра. Что ж, вышла баркентина на свободу. Ветерок еле-еле дышал, но все же наполнил паруса, и тронулись тихонько в путь. Не придумаю такого — стояли бы недели две без воды и продуктов...»

Мелочи, какие мелочи засели в голову! Главное решение Веретенников принял в гражданскую войну. Пока в городе были белые, отсиживался дома. Когда узнал, что его приятеля капитана под конвоем увели на судно, уходившее на Запад с отступающими белыми частями, ночью покинул свой дом, скрылся в деревне. С приходом красных вновь возвратился. Он и сейчас помнит требовательный стук в его квартиру. Два военных моряка вошли и стали у порога.

— Капитан Веретенников?

— Так точно!

— Предлагаем служить в Красной военной флотилии!

— В каком качестве?

— Флагманским штурманом! Согласны?

— Подумать разрешается?

— Разрешается до утра!

Алексей Львович в то время далековат был от политики. Однако и тогда знал твердо — у человека Родина единственная. Об этом не забывал Веретенников никогда. Где бы он ни

плавал — в Тихом или Атлантическом, где бы он ни стоял — в Нью-Йорке или Хакодате — везде ждал встречи с Россией.

На рассвете Веретенников пришел в штаб флотилии.

— Я готов честно служить советской власти!

Этому заявлению он не изменил ни разу. Принимая бой с кораблями противника, высаживая десанты, уводя суда из-под обстрела, он исполнял свое штурманское дело добротнo, по высшей мере своей моряцкой совести. Что ж, ругался, бывало, грубил, обкладывал бранью лодырей, пустозвонов. Все это было, и от этого никуда не уйти. Стал преподавателем, а грубость пристала накрепко, как ржавчина въелась в чистую сталь палубы. До сих пор отдирает ее с болью, стараясь уничтожить навечно.

Алексей Львович потянулся к столу, взял пузырек, рюмку. Дрожащей рукой отсчитал несколько капель. Выпил. Крякнул. Нащупал на столе белый квадратик, распечатал его, высыпал порошок на язык.

В дверь постучали.

— В-войдите, — поперхнулся Веретенников.

На пороге стояли Наталья Михайловна и Шорин. Федя увидел осунувшееся лицо учителя, вылинявшие от болезни глаза, посиневшие толстые губы.

Веретенников встал, как-то неловко потоптался на месте.

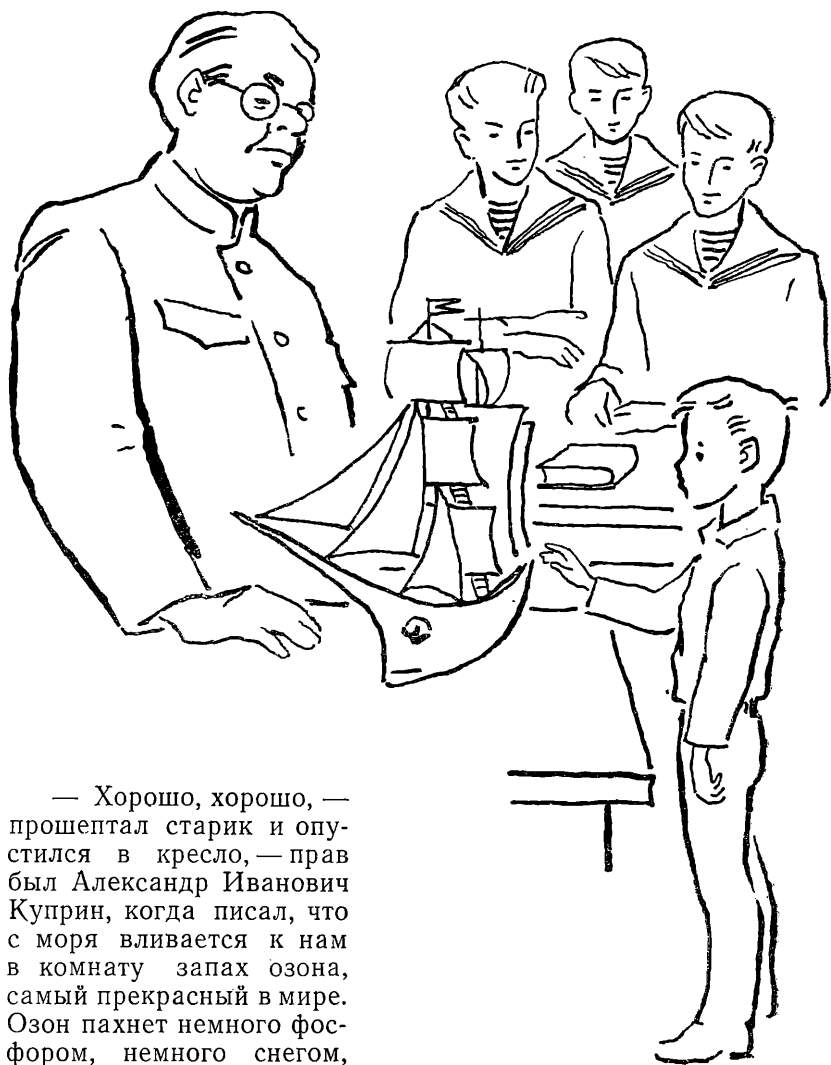
— Захворал я. Двигатель зачихал. Мотор скис. Ну-с, вы садитесь, прошу вас.

Шорин присел и оглянулся. Вдоль стен от пола до потолка стояли полки, до отказа набитые книгами. «В книжном шкафу живет», — подумал Федя. Возле двери висели доски с морскими узлами. Вот миниатюрный двойной беседочный узел из пенькового кончика. На нем спускают матроса на покраску борта корабля. Рядом несколько оригинальных огонов — искусно сделанных на тросе петель. А дальше стопорные, талрепные и простые кнопки из промасленных растительных кончиков-веревok.

Так вот откуда этот смоляной дух. В углу стояла модель барка. Феде почудилось, что его прямые паруса — фок и грот — сейчас наполнятся ветром и корабль выплывет в окно, туда, где заплескались звуки голубого весеннего утра.

— Откройте, Шорин, окно! — приказал учитель.

Федя поспешно подошел к окну, звякнул шпингалетами, и в комнату ворвался острый ветер.



— Хорошо, хорошо, — прошептал старик и опустился в кресло, — прав был Александр Иванович Куприн, когда писал, что с моря вливается к нам в комнату запах озона, самый прекрасный в мире. Озон пахнет немного фосфором, немного снегом, немного резедою. Хорошо!

— Не лучше ли вам помолчать? — сказала Наталья Михайловна.

— Все отлично, доро-

гая, — зарокотал старик, — морской ветер, напоенный озоном, бодрит! Низовка с моря подула, весной пахнет. Весна — жизни начало. Разве я не прав? Ветры, ветры. . . Бриз, мистраль, сирокко. Подсказывайте, молодой человек, подсказывайте, вы не на уроке. Какие ветры бывают еще?

— Муссон, пассат, зефир. . .

— Вон их сколько! Сердитых и добрых, ласковых и задиристых! Трамонтан, фен, храматан! Еще?

— М-м, мистраль, левант. . .

— Бора и падун, керчак и памперо! Друзья и враги! Пираты и работяги! Они наполняют паруса. Паруса двигают корабли, спешащие в родную гавань. Изучайте парусное дело, молодой человек! Пригодится! Любите свежий ветер, юноша!

— Разрешите спросить, товарищ преподаватель? Насчет ветра и парусов нет ясности. Атомный век и паруса, — где логика?

— Нет логики! Есть романтика! Море начинается с ветра, шторма, качки и парусов. Человек, пусть даже только для спортивных целей, — пусть! — никогда не откажется от даровой силы ветра. Люди никогда не разорвут паруса. Ибо от них берет начало романтика! А если ее нет, — учитель вздохнул, — жить скучно, трудно, незачем. . .

Веретенникову явно стало лучше, щеки порозовели, в заголубевших глазах метались резвые бесенята.

Наталья Михайловна улыбалась, глядя на оторопелого Федю. Странное дело, мысли старика Шорину понравились.

В аудиторию шагнул Веретенников. Вслед за ним валко протопал мальчонка лет семи. Алексей Львович остановился, отрывисто бросил:

— Будьте знакомы, внук мой!

Мальчик бережно поставил на стол модель парусника.

— Левушка, — проурчал преподаватель, — расскажи этим дядям про фок-мачту.

— Фор-стеняга, фор-брам-стеняга, фор-бом-брам-стеняга, — звонко чеканил Левушка.

— А это что за снасть?

— Фор-бом-брам-штаг!

— Молодец! А теперь, Лева, поговорим по-английски.

Курсанты сидели не шевелясь. Они вслушивались в тороп-

ливую английскую речь. Рокотал голос деда, ему вторил нежный голосок внука.

— Надо же, такой маленький, а шпарит по-английски, как на своем... — протянул кто-то сзади.

— Ну-с, Лева, подать трап, выходи на берег! — приказал Алексей Львович и тепло посмотрел вслед уходящему внуку.

Надо было видеть глаза учителя! Там пылали одновременно нежность и гордость, любовь и надежда.

Андрей Романов



ВЫПУСКНАЯ БАЛЛАДА

В разгар соловьиного пенья
прощальной июньской порой
я в школу последней ступени
приеду на встречу с тобой,

чтоб снова, руками слепыми
коснувшись начала пути,
твое невозвратное имя
на мраморных плитах найти.

И вновь выпускные оркестры
слезу вышибают из глаз,
и школьницы, словно невесты,
волнуясь, выходят на вальс.

Тебя среди них разглядеть мне
реальной возможности нет:
в твоей половине столетья
клубится фугасный рассвет.

Над Невским сгущаются тучи,
прохлада вползает в окно,
но близость грозы неминучей
меня не пугает давно. . .

Домам на сутулые плечи
срываются капли, звеня,
и резко спускается вечер
по склону июньского дня.

И снова забытое чувство
нахлынуло жгучей волной.
В квартиру, где гулко и пусто,
зайти ты стеснялась со мной.

Но были признанья и встречи,
загадочный бал выпускной
и ливень, застигший под вечер
и нас обвенчавший с тобой.

С тех пор, когда дождь, ерепенья,
затопают сотнею ног, —
я слышу шаги по ступеням
и твой запоздалый звонок.

Ревущего неба квадратик
повиснет в провале двора,
промокшее школьное платье
ты сбросишь с себя до утра.

Луна в отсыревшей косынке
над нами взойдет в вышине. . .
И школьница, глядя со снимка,
опять улыбается мне.

И если б ты все же вернулась,
то, видимо, было б нельзя
найти пролетевшую юность
хотя бы на время. . . дождя.

Анна Смирнова



ДИКАРКА

Рассказ

Деревня небольшая. Один конец ей обрезала речка Каменка. Другой — тянет к себе речка Пасьма. Тянет Пасьма, собой хвастает, что у нее и воды студеной и прозрачной много, и берега отлоги, и ширь полей, огороженная стеной векового леса, велика. Идите, люди, стройтесь вдоль дороги справа и слева, места и простора всем хватит.

И туда, на край деревни, выделил Семен Орлов своего старшего, женатого сына. Построил для молодых новехонький дом. Переселял, радовался, приговаривал: «Вот вам, ребята, новое орлиное гнездо. Живите на здоровье! Давайте мне теперь поскорее и побольше внуков».

И внуки не заставили себя долго ждать. Через год в новом гнезде кричал первый орленок, а через быстрых, незаметных десять лет их было уже семь. Семь сыновей, один другого лучше. Прибавление семейства отец принимал доброжелательно и спокойно, ему было все равно, кто родился, дочка ли, сын ли. Родился — значит, живи! Мать после третьего сына хотела только дочку. Невесело шутила над собой: «Не мастерица я по дочкам». Сильно завидовала бабам, что рожали девчонок. Предлагала меняться на любого своего красавца. Бабы смеялись, утешали: «Не расстраивайся, Дикарка, будут у тебя и дочери. Наведут твои орлы в дом наилучших девчат, только успевай отворять ворота».

Дикаркой стали называть ее не сразу. Сразу-то, как высватал Вениамин свою Римму в ближней деревне и привез

к себе, называли как полагается — Риммой. Ну а как пошли у Риммы детки — стала она все чаще оставаться с ними одна (Вениамин-то знал печное ремесло, уходил на заработки), командовала всей оравой, покрикивала на ребят. Иной раз такой шум-гам разведут, что и на другом конце деревни слышно. Стали люди говорить: «Опять Римма кричит на своих сопляков как дикая, хоть уши затыкай. Хорошо, дом на краю».

Только не ругала Римма своих деток, а привыкла разговаривать с ними громко. И то сказать, попробуй-ка с ними договориться. Семь их, мал мала меньше. К примеру, собирает на стол. Не побежишь за каждым на улицу. Расставляет чашки-плошки, кричит: «Валька, Венька, Шурка, Генка, обедать!» Скоро ли переберешь по именам. Вся деревня слышит, а детки, как черти тугоухие, где-то скачут, не слышат, да и только.

Подрастали сыновья. Здоровые, крупные, все, как один, большоголовые и черноволосые. В отца, посмотреть любо-дорого, как говорится, из десятка никого не выкинешь. Все чаще убегали из дому в деревню, завели там себе приятелей, пропадали с ними целыми днями. Все чаще приходилось звать то одного, то другого, а вечерами и всех подряд. Выходила Дикарка на высокое крыльцо, складывала у рта руки и громко, протяжно им кричала. Вечерняя заря подхватывала и несла по деревне материнский зов, напоминая о позднем часе.

По вечерам от реки на деревню медленно полз белый туман. Не осиливая подъема в гору, он ложился внизу. Из своего окна Римма видела этот тусклый, широко раскинутый саван, чувствовала его влажную пугающую прохладу и чего-то боялась. Этот непонятный страх был скрытой слабостью Риммы, о котором никто не знал. Других своих слабостей она не скрывала, скорее даже немного хвасталась ими перед всей деревней.

Идет, бывало, большой дорогой приветливая, улыбчивая. Чистенькие ребятишки бегут рядом, самый маленький держится за подол. Дикарка выступает как пава, откуда только стать бралась. Длинный цветной сарафан, кофта по фигуре, с рюшами на груди. Русые волосы, открывая загорелое лицо, собраны сзади в тугую длинную косу и уложены на голове, чтобы не мешали и за целый день не растрепались. Хороша была Дикарка и сама знала о своей красоте. Знала, что любят ее, и нарочно шла со своими чадами не спеша, легко ступая по земле крепкими босыми ногами. Мужики, увидев Дикарку, улыбались, покачивали головами, меж собой высказывались:

«От язвы ее, ишь как идет, как выкаблучивает, чистюля! Любой бабе даст сто очков — и еще останется!»

Опрятность Дикарки не была такой, которая заедает человека, становится ему даже помехой. У нее опрятность была в той хорошей мере, какая радует глаз, вызывая похвалу. И ребят своих приучила к чистоте. Как только успевала повсюду! Видно, такова сила больших желаний — если захочешь, непременно все успеешь и со всем справишься.

Жить бы и жить Дикарке. Женить сыновей, дожидаться внуков, если бы не война. Вошло это проклятие в каждый дом, поубивало людей, погубило многих. Раздавило оно и Дикарку. За четыре года отдала войне всех своих сыновей, всех своих ненаглядных орлят. Каждого сама провожала, укладывала в мешок вещички, пекла на дорогу по домашнему пирогу. Шла рядом, не видя света, не чувствуя земли. Семь раз провожала. Семь раз отрывали Дикарку от сыновнего рукава. Падала на дорогу, протягивала руки вслед уходящему сыну. Обессилев, не плакала, а только тяжко стонала.

Как потом ждала их! Проглядела всю дорогу. Надеждой своей цеплялась за каждую точку вдаль. На ночь не убирала со стола еду, думала: вдруг придет который-нибудь, постучит, где уж там бежать сразу за едой. День и ночь горела на божнице лампадка. Раньше про бога не думала. А тут и началось. На чужой стороне умер Вениамин, муж. За икону положила три похоронные: на Валентина, на Леонтия, на Александра. Но не верила, не верила в смерть сыновей.

Бессонными ночами губы шептали в темноту: «Божья мать, заступница! Прекрати войну! Сохрани и помилуй моих сыновей! Верни их домой». И кончилась война. Не вернулись домой сыновья Дикарки. Двое пропали без вести, на пятерых получила похоронные. «Вон он, белый саван войны», — думала Римма.

В тоске скоро иссохло сердце Риммы, некогда такое живое. Стала она плоха. Позвала баб и распорядилась: «Похороните меня в поле, у большой дороги. Найдутся сыны, без вести пропавшие, встречу их первая. Положите вместо креста на могилу большой камень, может, раздавит он в груди тоску мою невыносимую. Напишите на камне одно слово — «Дикарка», чтобы ни с кем не спутали меня ребята. Да и одна я теперь на свете, вроде как и по-настоящему дикая». Желание ее было исполнено.

БАИХА

От крыльца Баихи легкая тропинка сразу нырнула в огород, вырвалась в поле и побежала по краю глубокого оврага к речке. Дно оврага, заросшее высокой, густой, темно-зеленой травой, нигде не примятой, хранит прохладу. По крутым сторонам оврага растут уже немолодые деревья, сплошь подбитые кустарником. Тропинка прижимается близко к лесу, давая простор широко раскинувшемуся, цветущему душистым клевером, почти неоглядному полю.

Долгий июльский день разомлел от тепла. Над полем ясное небо и сияние солнца, и кажется, что такого буйного цветения, такой тишины нигде в другом месте не знает земля. По тропинке, неся на плечах коромысло с пустыми ведрами, шла Баиха. На загумнах она увидела пару голубей, искавшую корм и изредка перекликающуюся. Птицы жили где-то недалеко отсюда. Баиха видела их здесь часто и всегда удивлялась их привязанности к месту. В войну и сразу после войны голубей в деревне было много. Потом — как-то незаметно — они стали исчезать, и вот теперь на старом месте осталась только эта пара. «Что их держит? — думала Баиха и сама себе отвечала: — Наверно, память».

Силу памяти Баиха знала хорошо. Скоро тридцать лет, как кончилась война... Без вести пропавший... Пропавший...

Чтобы не думать, Баиха запела давнюю — теперь и не по возрасту — песню:

Не надо мне, не надо было
Любви навстречу столько лет спешить.
Я б никого не полюбила,
Но как на свете без любви прожить...

Песня звучала негромко, задушевно и особенно тоскливо, когда кругом ни души. Баиха подумала, что, если спросить о ней в деревне кого угодно, все скажут: «Баиха веселая, голосистая, все поет. Сколько песен знает, столько их спела. Да и живет одна, не скучает».

И поет Баиха, вроде с песней и жить ей легче.

От своих затаенных, одиноких дум Баиха, словно в нетерпении, сильно повела плечами, и от этого движения ведра на коромысле вздрогнули и закачались. Впереди под горой беспокойно журчала река, ракиты низко склонились над ней, слушающая немолчный говор.

Настанет день — утихнут злые страсти,
Пустых обид растает снежный ком,
И в самом сердце ощущение счастья
Вдруг торкнется щемящим кулачком! . .

И лишь весной, и лишь в начале мая,
Когда по небу хлынет птичья рать,
Ты охнешь, руку к сердцу прижимая:
«О боже мой, как хочется летать! . .»

Леонид Замятнин



ТАКОЙ БЕЛЫЙ СНЕГ

Рассказ

В этом году Генка решил остаться на зиму в ущелье. Что будет делать — он еще не очень представлял, но знал, что как-нибудь работу найдет.

Волей случая столкнулся он с горами. В пароходстве, где он работал, горела путевка в альпинистский лагерь. И сунули ее почему-то Генке. Когда-то смотрел он французский фильм «Их было пятеро». Там героиня по имени Валери мечтала попасть в горы. Барон, любивший ее, говорил о горах: «Там такой белый снег, какого нигде больше не увидишь».

Но Валери в фильме застрелили, и последние ее слова Генка запомнил: «Этот белый снег не для меня».

Горы его ошеломили. Все это было настолько здорово и настолько сложно, что он даже не пытался разобраться в своих чувствах. С тех пор семь лет подряд с весны и до самой зимы проводил Генка в горах. Стал настоящим альпинистом, работал вначале с гляциологами и геологами в Осетии, а потом — в Кабардино-Балкарии инструктором по горному туризму.

Но зимой перевалы становились непроходимыми, плановые туристские маршруты закрывались, на всех горных турбазах требовались только инструктора по горным лыжам, и Генка уезжал в город. Страшно тосковал по горам, с нетерпением ожидая весну.

Но наконец случилось то, что должно было случиться. Он остался в Вексанском ущелье на зиму.

Поразмыслив, Генка решил устроиться кочегаром на одну из турбаз. В гостинице «Азау» уже больше года кочегарил его

приятель Володька. У него в номере последние дни Генка и жил нелегально. В «Азау» кочегары не требовались. С питанием дело было плохо; хотя повар-кабардинец и кормил его гарниром без мяса, но уже начинал ворчать. Деньги кончились, и сегодня Генка отправился пешком вниз по ущелью, чтобы поискать работу или в тургостинице «Иткол», или на турбазе в Терсколе.

Решительно распахнув стеклянные двери «Иткола», он оказался в шикарном вестибюле и едва не столкнулся лбом с каким-то парнем, сбежавшим вниз по лестнице с электрической лампочкой в руке. Физиономия у парня была очень деловая. «Электрик», — решил Генка.

— Слышь, парень, вам кочегар не нужен?

Парень уставился на Генку и внимательно оглядел его с ног до головы. Видимо, осмотр удовлетворил его.

— Пойдем со мной, — и он молча потащил Генку вверх по лестнице, устланной красной ковровой дорожкой.

Генка виновато озирался на ошметки снега, остающиеся за ним на дорожке, и вообще чувствовал себя здесь не очень уютно, но вида не подавал.

Электрик привел его на четвертый этаж, подошел к двери с табличкой «Старший инструктор» и, вытащив из кармана ключ, сунул его в замочную скважину.

Вошли в кабинет. Электрик положил лампочку на стол и снова уставился на Генку, наморщив лоб.

— Ты знаешь, кочегары нам не нужны. Своих алкоголиков хватает. А вот инструктор-горнолыжник нужен позарез.

— Ну, тогда я пойду, — и Генка повернул ручку двери. — А разве ты не электрик?

— Да нет, я — старший инструктор. Просто лампочка перегорела.

— Не катаюсь я на горных лыжах, — вздохнул Генка.

— Слушай, а может, попробуешь? Парень ты вроде спортивный. Ну, с Чегета спустишься хоть как-нибудь?

— Не знаю, — честно признался Генка, — не пробовал.

Старший инструктор чертыхнулся.

— Приходил тут один, и удостоверение у него есть. Но брать не хочу. Уж больно он какой-то склочный.

— Я не склочный, да вот не катаюсь.

— Знаешь что, — сказал старший, — ты подумай ночку и к утру приходи. Позавтракаешь, и сразу группу тебе дам. Давай. Жду.

— Хорошо, — ответил Генка, — только, если завтра утром не приду, ищи себе другого инструктора.

— Да где ж его сейчас найдешь. Не сезон еще — начало декабря. Ну, до завтра.

И Генка зашагал по занесенному снегом шоссе в сторону «Азау».

Было над чем задуматься. Проработать в «Итколе» зиму заманчиво. Тут тебе и кормежка, и Чегет рядом, и лыжи с ботинками дадут бесплатно. Своих лыж у Генки, конечно, не было. Но с другой стороны — надо было не только быстро научиться кататься, но и сразу же начать учить кататься других.

«Самое страшное — уронить себя в чужих глазах. Это невозможная вещь. Откажусь. Пойду кочегаром в Терскол или техником на базу МГУ в «Азау». А вдруг получится? Как здорово летать на горных лыжах по склонам Чегета. Рискну, попробую».

Так и прошел Генка весь путь до «Азау», разговаривая сам с собой.

Володька собирался в кочегарку — предстояла ночная смена. Он уже уходил, когда Генка увидел в углу за шкафом сломанные лыжи.

«Суперметалл», — прочел он.

— Слушай, Володька, покажи, как лыжи к ботинкам крепятся.

— А зачем тебе?

— Да так, интересно просто.

Володька достал из шкафа горнолыжный ботинок, положил одну из лыж на пол и, вставив рант ботинка в маркер, принялся прикручивать ботинок ремнем.

— Вот так, — сказал он. — Ну, я пойду, а то уже пора Пашку менять, — хлопнул дверью.

Генка долго сидел в кресле, глядя на привязанный ботинок, затем порывисто встал, отвязал его и прикрутил еще раз сам. Получилось. Открыл дверь в коридор. Тишина. Туристы уже спали.

«Самое время, — решил он. — Сейчас никто не увидит. Возьму лыжи. Залезу на учебный склон и скачусь с него. Если хоть раз сумею повернуть и не свалюсь, то утром пойду в «Иткол».

Ботинки оказались сорок четвертого размера — на целых три номера больше, чем требовалось Генке. Лыжи тоже большие — двадцать два. Но выбора не было. Взяв под мышку

лыжи с палками, через черный ход он выскользнул из гостиницы.

Ночь стояла морозная. Огромные звезды, по-птичьи сбившись в стаю, сидели на ветках сосен и будто даже тихонько звенели. Горы, со всех сторон обступившие поляну, гасили все звуки.

«Небо чистое, — хорошая примета», — подумал Генка.

Учебный склон находился сразу за гостиницей «Азау» со стороны Эльбруса. Он был хорошо укатан, жесткий снег поскрипывал под ногами. Постукивая рантами ботинок, чтобы не поскользнуться, Генка забрался наверх и начал прикручивать лыжи. Потом постучал плоскостью лыжи по склону. Она мягко спружинила. Надел рукавицы, закрепил палки, поставил вместе лыжи и, слегка согнув ноги в коленях, наклонился вперед.

Толчок палками — и лыжи понесли. Посреди склона Генка сделал движение коленями влево, и неожиданно лыжи повернули. Сами повернули! Внизу он спокойно остановился, развернувшись левым боком к склону.

Он хотел было подняться наверх еще раз, но левый ботинок вдруг выскочил из крепления. Оказалось, что вылетел шарик из маркера. Найти его в темноте не удалось, пришлось снимать лыжи и возвращаться в гостиницу.

Но главное было решено. И он уснул спокойно.

Утром поднялся в половине седьмого, открыл кран, напился прямо от струи, умылся и торопливо принялся укладывать в рюкзак свои нехитрые пожитки: пуховый спальный мешок, два свитера, ковбойку, носки, каску и защитные очки. Под клапан рюкзака сунул ледоруб. Вот и все. Ни пальто, ни зимней шапки у него вообще не было. Поверх свитера тонкая нейлоновая куртка — анарака, брюки-эластик и шерстяная спортивная шапочка — вот и весь наряд. В таком виде Генка ходил в любые морозы и никогда не простужался.

Володька еще не вернулся со смены. Генка написал ему записку, перекинул рюкзак через плечо и выскочил на улицу. Он сразу же с головой окунулся в солнечное морозное утро и, ощутив пьянящий прилив бодрости, жмурясь от солнца, рысцой припустил вниз по шоссе.

Старший инструктор уже ждал его в вестибюле «Иткола».

— Пришел, ну вот и молодец. Бросай рюкзак. Сейчас на кормлю.



Генка оставил рюкзак прямо в вестибюле у колонны и пошел за старшим. Не ел он со вчерашнего обеда. Столовая оказалась настоящим рестораном. Официантка выставила на столик яичко, стакан сметаны, котлету и кофе. Увидев, как быстро все исчезло, она улыбнулась и принесла еще стакан сметаны. Не успел Генка расправиться с завтраком, как старший потащил его вверх, в свой кабинет.

— Некогда. Группа ждет. Вот наш учебный склон, — и показал в окно. — Не волнуйся. Группа новичковая. Никто на горных лыжах не стоял. Рюкзак оставляй у меня. Не забудь очки от солнца. Ботинки и лыжи возьмишь мои. Нога у нас одинаковая. Завтра получишь на складе свои. Сейчас некогда. Пошли.

Туристы с лыжами уже толпились в вестибюле.

— Построение на улице, — объявил старший инструктор, и все ринулись к двери, устроив пробку.

— Равняйся! Смирно! По порядку номеров рассчитайся! Их оказалось ровно тридцать.

— Это ваш инструктор, — громко объявил старший, подталкивая Генку вперед. — Звать его Геннадий... — И шепотом: — Как тебя по отчеству-то?

— Александрович!

— Вот ваша группа, все инженеры — москвичи. К обеду не опаздывай. В час дня все должны быть в гостинице.

— Направо, — скомандовал Генка, — за мной в колонну по одному шагом марш!

Он вывел группу на шоссе и размашисто зашагал впереди колонны. Публика была не очень спортивной и не очень организованной. Оглянувшись, он увидел, что для некоторых темп движения оказался слишком быстрым. Колонна растянулась. Кое-где шли уже по двое и по трое. Миниатюрная черненькая девушка согнулась под тяжестью слаломных лыж в три погибели. Лыжи качались у нее на плече и перегибали ее то вперед, то назад. Шоссе было покрыто льдом. Навстречу то и дело шли автобусы, и идти так дальше было небезопасно. Генка остановил колонну и навел порядок. Лыжи у девушки молча отобрал и понес две пары. По шоссе предстояло пройти метров восемьсот, и потом — поворот налево. Инструктор уверенно вышагивал впереди колонны с лыжами на плече. Экипирован он был что надо и выглядел лихо, никто из туристов не догадывался, что творится с ним.

«Вляпался. Уже поздно. Не сбежишь. Что ждет меня на склоне? А вдруг какой-нибудь вундеркинд из этих тридцати катается лучше меня?»

Невеселые мысли лихорадочно проносились в его голове. Но вышагивал он все так же четко.

Вот уже и сворачивать пора. От судьбы не уйдешь. Снегу было по колено, и Генка начал топтать след для группы. Слева был огороженный участок, на котором балкарцы держали скот. К загородке сразу же рванулась и залилась лаем огромная лохматая собака, но Генка не удостоил ее вниманием. «Без тебя тошно». Вот и склон. Инструктор остановился и воткнул лыжи в сугроб. Подтянулись туристы.

— Одеваем лыжи, — скомандовал Генка. — Смотрите, как это делается, — и он продемонстрировал.

И конечно, ни у кого не получилось.

— Смотрите еще раз.

Кончилось тем, что Генка начал сам закреплять туристам лыжи. Две трети группы составляли женщины.

«Мужчинам крепить не буду, пусть сами учатся», — решил он.

Закрепление лыж заняло почти целый час. Для него это была только отсрочка. Наиболее нетерпеливые мужчины уже рвались в бой, но Генка заставил их для начала утаптывать склон, подниматься друг за другом лесенкой.

Склон был вообще-то не очень крутой, но внизу, там, где он выполаживался, зияла широкая яма, в которую балкарцы сваливали навоз. Судя по запаху, навоз был свежий. Весь фокус состоял в том, чтобы, не доезжая ямы, свернуть влево. На первый взгляд казалось, что места для поворота вполне достаточно. Однако первый же вундеркинд едва не влетел в яму, успев в последний момент свалиться на бок и тем самым затормозить падение.

Женщины поняли, что падать надо гораздо раньше, и, не успев набрать скорость, с ходу начали садиться на «пятую точку». Поднялся писк и визг. Склон сразу стал тесен.

Генка наблюдал за этим массовым кувырканием со стороны, подсознательно отмечая, что пока еще никто не устоял на ногах до конца. Он чувствовал, что настала его очередь подниматься на склон. Чувствовал он и то, что нельзя ему свалиться — или хотя бы с первого раза.

Инструктор начал медленно подниматься наверх. Туристы почтительно уступали дорогу. За спиной Генка услышал подобострастный женский шепоток:

— Сейчас нам Геннадий Александрович покажет класс. «Сейчас покажу», — мрачно думал Генка.

В детстве он, как и все, катался с гор на беговых лыжах и трусом не был. Но здесь было другое, здесь самое главное не только устоять на ногах, но и повернуть вниз, под горой. Вот и конец подъема. Генка поставил лыжи параллельно, согнул ноги в коленях. Весь склон напряженно наблюдал.

Ничего не оставалось, как решительно оттолкнуться палками. Яма с навозом стремительно приближалась. Пора. Генка начал давить коленями влево, но лыжи не слушались и упрямо несли его навстречу неизбежному. Поняв, что через мгновение будет поздно, Генка начал в отчаянии переступать, ставя лыжи под углом к склону. И у самого края ямы, едва не наехав одной лыжей на другую, свернул-таки влево, заехав

по шиколотку в глубокий снег. От резкого торможения он чуть не свалился, но все же на ногах устоял. Развернувшись, Генка увидел восхищение в глазах всей группы и как ни в чем не бывало начал снова подниматься.

«Почему лыжи не поворачивают, ведь вчера ночью, когда никто не видел, я сумел повернуть? Наверное, снегу на склоне много. Ничего, надо только раньше начать поворот».

А туристы вновь радостно кувыркались, поднимая снежную пыль, — опьяневшие от солнца и гор горожане.

«Только бы никто не поломался», — с тревогой подумал Генка.

У многих уже вышли из строя крепления, и ему снова пришлось возиться с ними.

Второй раз он спустился более уверенно. К нему даже начало возвращаться присутствие духа.

«Надо же, все падают, а я нет», — с удивлением подумал Генка.

— Геннадий Александрович, а почему мы все падаем, а вы нет? Объясните, что мы делаем не так?

Этого вопроса он ждал со страхом.

— У вас, девушки, стойка неправильная. Поднимайтесь сюда. Вот как надо, — Генка согнул корпус вперед.

— А... — сказали девушки.

Мужчины с вопросами не обращались, продолжая скоростные спуски с падением.

«Хоть бы никто не приставал сегодня с техникой поворота. До завтра обязательно прочту и отработаю в гостинице», — решил он.

А туристы были счастливы. Кругом ослепительно белые горы, солнце, и небо такое невероятно синее, какого никогда не бывает в Москве. Генка взглянул на часы. Приближалось время обеда.

— Товарищи, заканчиваем. Связывайте лыжи.

«На первый раз пронесло, — подумал он на обратном пути, но тревожное чувство не покидало. — Завтра опять то же самое».

После обеда Генка повел свою группу на прогулку в Терскол, хотя имел право отдыхать. «Надо людям удовольствие доставить», — решил он.

Туристы опять сбились в кучу и запрудили все шоссе, но Генке уже почему-то не хотелось ругаться с ними. Он исподволь присматривался к группе. Москвичи оставались москви-

чами даже в горах. Они разбились на кучки, и сразу же начались совсем городские разговоры, обрывки которых долетали до Генки.

Одна женщина жаловалась на неполадки с транспортом в Москве, другая — на плохую работу домашнего телефона. Пожилая дама возмущалась поведением своего начальника.

Мужчины были озабочены другим — где бы выпить пива. Самые молоденькие девушки почтительной стайкой окружили Генку. Им не терпелось выяснить, что он за человек, почему живет в горах, почему работает инструктором, и бог его знает сколько других «почему».

Самая бойкая из них уже начала активную атаку. Генка старался отмалчиваться в пределах вежливости. Бесцеремонность расспросов корбила его. Ему совсем не хотелось рассказывать о себе людям, которых он сегодня впервые видел в глаза. Потихоньку он уже начинал злиться: «Ну как можно так настойчиво стучаться в чужую душу? Как у себя в Москве».

Дошли до Терскола. Мужчины сразу же нырнули в шашлычную, женщины остались с Генкой на улице. В шашлычную его звали, но денег у Генки не было ни копейки, а пить за чужой счет он не хотел.

Генка стал рассказывать туристкам о Терсколе, о вершинах, которые были видны. Стояла удивительная тишина. Такая тишина может быть только в горах и только зимой. Весь поселок состоял из нескольких двухэтажных домов. На крышах — снежные шапки. Снег на проводах, на столбах. И ни звука. Горнолыжный сезон еще не начался, и поэтому Терскол был пуст. Вдобавок еще пошел крупный, пушистый снег. Слышен был полет снежинок — так было тихо.

Москвичек эта тишина оглушила. Им вдруг стало не по себе. Что-то сверхъестественное, мистика какая-то. Еще вчера Москва, суматошная посадка в самолет, автобус от Минеральных Вод, багажные волнения — и вдруг эти белые горы, этот крохотный, забытый богом, заваленный снегом поселок, эта тишина, отсутствие людей.

— Слушайте, Геночка, и как вы можете здесь жить! Ведь это ужасно! Это дико! С ума сойти можно! Ни театра, ни музея... — вырвалось вдруг у Анастасии Ивановны, дамы лет пятидесяти.

И тут Генка взорвался, обидевшись не за себя, а за эти белые горы:

— Скажите, а сколько раз вы были в театре в этом году? Только честно!

Анастасия Ивановна замялась. Выяснилось, что в театре она была один раз и один раз в Третьяковке, — некогда было: служба, транспорт, магазины. . .

— А меня транспорт не подводит, — с жаром выпалил Генка и постучал себя по ногам. — Телефон не ломается, начальство нервы не треплет. А потом послушайте, посмотрите. . . красота-то какая. Здесь и люди другие — спокойные, гордые.

И женщины вдруг притихли.

Вечером Генка взял у старшего инструктора книгу по горным лыжам. Называлась она «Лыжи Франции».

Когда электрик «Иткола» среди ночи отпер дверь в свой номер, то глазам его предстало странное зрелище. На коврике у второй, свободной кровати, согнув ноги в коленях, стоял незнакомый загорелый парень в одних трусах и по собственной команде «раз, раз» приподнимался и поворачивался вместе с ковриком то влево, то вправо. Он был так увлечен этим занятием, что совсем не отреагировал на приход хозяина.

«Шизофреник какой-то», — с опаской подумал электрик. И сурово спросил:

— Ты что здесь делаешь?

— Живу. Я — Генка, новый инструктор.

— А я Толик — электрик. . . Отрабатываешь повороты, — сообразил он, заглянув в раскрытую книгу на кровати.

— Угу.

— Ну-ну, отрабатывай, а я спать лягу. Ты мне не мешаешь.

На следующий день Генка чувствовал себя на склоне чуточку уверенней. Он построил группу, и все вместе, повторяя его движения, начали изучать поворот влево.

Женщины отнеслись к этим упражнениям с чисто женской добросовестностью. Мужчины тут же полезли на склон, решив незамедлительно выполнить поворот на скорости. Но эффект был прежний — начались кувырки.

Следующей ночью Генка опять отрабатывал технику поворота по книжке.

На третий день он уже поворачивал влево по науке. И неожиданно, глядя на него, повернула та самая хрупкая черненькая девушка, которая с трудом таскала на себе лыжи. Звали ее Нелли.

Оказалось, что она в прошлом акробатка. Для Генки ее успех был огромной радостью. Чувство неполноценности совершенно покинуло его, и на четвертый день он вел группу на склон, испытывая даже какое-то странное нетерпение.

В этот день Генка превзошел самого себя. Позанимавшись полчаса со всей группой отработкой поворотов на месте, он поднялся на склон и, сделав две дуги, развернулся на сто восемьдесят градусов перед самой ямой. Получилось все очень элегантно. Склон даже ахнул от восхищения.

— Геннадий Александрович, а вы давно катаетесь? — спросила Нелли тоненьким голоском.

— Четвертый день, — буркнул Генка.

— Шутите вы. Наверное, с детства катаетесь. У вас так красиво получается. Вы мастер спорта. Нам так никогда не научиться! — восхищенно зашумели девушки.

Генка не стал их разубеждать.

К концу двухнедельной смены поразила всех солидная Анастасия Ивановна, повернув влево. Это был Генкин триумф.

На прощальном банкете Анастасия Ивановна была единогласно выбрана тамадой. Подняв свой фужер, она предложила:

— Давайте выпьем за нашего дорогого Геннадия Александровича, научившего нас делать поворот с иностранным названием, которое я забыла, но которое чем-то связано с ямой под нашим учебным склоном. . .

— Годиль, — подсказал кто-то.

— Да, да, годиль, годиль, — обрадовалась Анастасия Ивановна. — Качать инструктора!

И Генка оказался в воздухе. Он летал и летал, и голова его испытывала состояние невесомости от шампанского и от какой-то непонятной радости. Эти люди были для него сейчас самыми близкими, самыми родными.

«Странный народ эти москвичи. . . И что я для них сделал, что они меня так? . . .»

Александр Беляков



* * *

Так неужели я совсем чужой
Моим полям, лесам, березам этим?
И вот иду я на поклон к рассвету
Веселою весеннею межой.

Распаханной земли священный дух,
В тебе мое крестьянское начало.
Недаром колыбель мою качали
И сеятель, и пахарь, и пастух.

Как в поле колосок от колоска,
От пахаря всегда рождался пахарь.
Но я ушел, и раненою птахой
Навек осталась на сердце тоска.

Я не постиг крестьянского труда.
Мне стал родным завода гул железный.
Но тянется по сердцу так болезненно
Не вспаханная мною борозда.

* * *

Я приеду и сразу оденусь в гражданское,
Далеко под кровать уберу сапоги.
Снова встречусь с друзьями. Как долго мы ждали
Этой встречи, что грезилась нам впереди.

А наутро проснусь с легкой радостью в сердце.
Мать стоит возле койки, слезы не тая.
Двадцать лет не могла на меня насмотреться
Свет мой, ангел мой ласковый, мама моя.

Николай Шумаков



НА БЕРЕГУ

Рассказ

1

К селу Громов подъехал вечером. Солнце давно уже опустилось за сопки, но небо было светлым, и заря горела долго. Белые ночи не совсем еще померкли. На высоком берегу длинный ряд домов смотрел темными окнами. (летом электродвижок не запускали).

Перед рекой лошадь остановилась, и Громов не стал ее понукать, задумавшись. Где-то кричали мальчишки. Громов вслушивался в эти милые звуки, звонко прорезающие холодный воздух, заинтересованно следил за цепочкой гусей, спускающихся к реке. Не хотелось двигаться.

Наконец тронул лошадь. Зорька вздохнула и, с шорохом вдавливая гальку, неохотно вошла в темный несущийся поток. Если бы Громов не знал, что река мелкая, мог бы подумать, что дна нет. Вода чмокала, глухо всплескивала, будто из черной глубины кто-то рвался на волю, к свету. Не сосчитать, сколько было подобных пустяковых переправ у Громова, и все же он не смотрел на воду, чтобы не закружилась голова.

Лошадь дернулась, с усилием выбралась на косу. «Да, легким меня не назовешь», — усмехнулся Громов. Наверх пошел пешком: подъем слишком крут. И к дому заведующего отделением шагал, ведя лошадь на поводу, будто ехать было неловко. Станным показалось, что улица пуста. Даже у клуба ни человека, ни звука, ни движения. Лишь по-прежнему

где-то за домами перекликались мальчишки, и их голоса печально отзывались в нем.

Вообще лирические переживания мало свойственны Громову, он был человеком дела, на жизнь смотрел прямо и трезво, без туманной дымки. Но весь день ехал лесом по едва приметной тропе, забыл о делах, о председательских заботах. Сейчас же снова смотрел на дома хозяйским взглядом. Привычно отмечал, какой сруб при перевозке развалится, какой выдержит. На многих стенах бревна еще не потемнели от времени. «Неплохой председатель был Сидоров», — подумал, окончательно настраиваясь на деловой лад.

Отворил калитку из кривых ошкуренных жердей. В окнах дома не было огня. «Что это они все без света сидят?» — удивился Громов. Вошел в темные сени, постучал ладонью.

— Войдите, — раздался женский голос.

Запнувшись о порог, пригнув голову, Громов вошел на кухню.

У печки стояла жена Охотникова и с удивлением смотрела на вошедшего. Разглядев, как будто обрадовалась:

— А, это вы, Дмитрий Яковлевич! Здравствуйте. Кто бы это, думаю... Иван, хватит тебе лежать, встречай гостя!

Вышел Охотников, на ходу затягивая ремень. Рубаха расстегнута, вид заспанный. Рядом с моложавой женой выглядел неважно. «Постарел Иван Иванович, — отметил Громов. — Тяжело пришлось в последнее время». Раньше Охотников был заместителем председателя Рыбкооспа, пользовался всеобщим уважением. Потом на два года попал в тюрьму. То ли сам соблазнился, то ли запутали. По этому поводу в Тигиле много судачили. Громов в сплетни не вникал, на суде не был и до сих пор не знал, виновен ли Охотников или стал жертвой доверчивости. Во всяком случае выпустили его досрочно. В Рыбкоопе он уже работать не мог, определили заведующим хозяйством «Новый путь» в Кахтане.

— А мы вас завтра ждали... — сказал Охотников. — И Анатолий Георгиевич приехал?

— Нет, ногу сломал, в больнице лежит, — сказал Громов, присаживаясь на стул.

— Как же он так? Вот несчастье!

А лицо его оставалось равнодушным и растерянным. Он каждую минуту как бы ожидал подвоха.

— Сможем, Иван Иванович, завтра утром провести собрание?

— Конечно. Я сейчас извещу сенокосчиков, доярок, механизаторов.

Он поднялся с чрезмерной готовностью.

— Да, — вспомнил Громов. — Пригласи, пожалуйста, Сальникова. Надо с ним поговорить.

Охотников ушел.

— Как вы здесь живете? — спросил Громов, чтобы не молчать.

— Живем хорошо, Дмитрий Яковлевич. — Валя вздохнула, да и по интонации чувствовалось, что это не так.

«Баба молодая, — подумал Громов. — Скучно ей здесь». На Вале была дорогая шерстяная кофта, а юбка помята, на ногах стоптанные тапочки. Не для кого здесь наряжаться, следить за собой. «Ничего, — мысленно сказал Громов. — Скоро переберетесь снова в Тигиль». Он почувствовал удовлетворение, что в какой-то степени это зависит от его деятельности.

В течение года Громов добивался, чтобы колхозу разрешили перейти на устав рыболовецкой артели. Выгоды для хозяйства предвиделись большие: крупные ссуды на приобретение флота, сотни тысяч дохода от добычи и обработки рыбы. Полная касса — это жилые дома, клубы, детские сады. Можно сказать, что Громов с председательской должностью справился, хотя не только к ней не стремился, но поначалу категорически отказался.

Приехал в Тигиль после окончания Омского сельскохозяйственного института, и через каких-нибудь полгода его назначили главным ветеринарным врачом района. Громов собирался поступить в аспирантуру, но как-то сами собой эти мысли заглохли. Женился на учительнице, спокойной, домовитой женщине. Своим положением был доволен, работа нравилась, захватывала. Как раз для лечения оленей стали применять новые средства. Нужно было не только научить пастухов делать уколы, проводить опрыскивания, но главное — убедить в необходимости этих мер. Старики бригады не брали с собой лекарств, аппаратуру прятали. Громов напрасно тратил слова и нервы. Однако со временем добился успеха. Пастухи стали с ним считаться, прислушиваться к советам. Особенно после одного случая.

Громов был в бригаде уважаемого всеми Яйлелькива, который во всем придерживался старины, даже двух жен умудрился завести. Одна находилась с ним в тундре, другая в селе. Спрашивает Громов, как дела, нет ли больных оленей, помо-

гает ли сульфадимезин. Яйлелькив хитро улыбался, отвечал через молодого пастуха: все, мол, в порядке. Прикинулся, будто по-русски не понимает. А через день заболели копыткой два любимых ездовых оленя. Без лечения наверняка погибнут. Говорит бригадиру: давай препарат. У того, конечно, нет, как Громов и догадывался. Достал из сумки ампулы, сделал что положено. Олени выздоровели. Яйлелькив упрасивает: дай лекарства. Отказал: у других такое же могло случиться. Спали в одной палатке. Ночью Яйлелькив забрал сумку и ушел. С тех пор продукты на летовку не возьмет, а медикаменты захватит. С него и другие пастухи взяли пример.

Много разных воспоминаний связано с тундрой. Иной раз вспомнишь — и потянет назад, хоть уходи из председателей. Но старое время не воротишь. И он другой, и жизнь изменилась. Да и втянулся в новые обязанности. Все-таки уговорили стать председателем объединенного колхоза. И Громов в общем-то не пожалел о своем согласии. А выговоров и неурядиц хватало. Но главное — колхоз шел в гору. Теперь же пойдет еще круче.

Валя хлопотала на кухне. Громов после настойчивых уговоров перебрался в комнату, глядел в окно на пустую тундру за домом, размышлял о строительстве коровника, о нехватке рабочей силы.

Хлопнула дверь на кухне, тяжело прошагал Охотников.

— Как, Иван Иванович, оповестил?

— Все в курсе. Ну, перекусим немного, Дмитрий Яковлевич, да и на покой. Утром рано вставать.

На столе на тарелочках икра, нарезанный балык, консервированные помидоры и величайшая редкость — вареная картошка.

— Ого! — удивился Громов. — Откуда?

— Немного сумели с зимы сохранить, — сказала Валя.

«И морозы бывают за пятьдесят, и зима длинная. А в нашем районе картошка родит не хуже, чем на материке. Поставь как следует дело — не только себя, других полностью обеспечим, не надо везти за тысячи километров. — Не сразу дошло, что именно он должен бы настаивать на такой перспективе, но тут же трезво рассудил: — Сейчас главное — рыба. Со временем доберемся и до картошки».

— Будем здоровы, — сказал Громов, поднимая рюмку.

Закусили.

— Так это правда, Дмитрий Яковлевич, что Кахтану бу-

дут переводить в Тигиль и Седанку? — спросил Охотников, не поднимая головы, и Громов уловил в его голосе не то недо-вольство, не то сожаление.

Объяснил, что колхоз переходит на рыболовецкий устав, поэтому второстепенные отрасли будут переданы другим хозяйствам или ликвидируются. Кахтана теряет всякое значение, а жители постепенно будут переселены в Тигиль и Седанку.

Но, похоже, широкие перспективы оставили Охотникова равнодушным. «Конечно, ему что? Он для колхоза чужой человек».

— Что-то Сальникова нет. Придет ли?

— Придет, Дмитрий Яковлевич. Он, если что сказал, делает.

— Кстати, как он?

— Ничего, ершистый. Все корм требует для своих песцов.

— Хороший человек. Если бы все так относились к делу...

Громов коротко расспросил Охотникова о положении дел в отделении, хотя и до этого имел достаточное представление. Валя, оживившаяся вначале, сникла от скучных разговоров.

В дверь постучали. Вошел Сальников.

— Проходи, Семен Кузьмич, садись, — пригласил Охотников.

Оба встали ему навстречу, Громов протянул руку, всматриваясь. Очень сдал Семен Кузьмич за те четыре месяца, что Громов его не видел. После болезни комплекцией напоминает мальчишку. Глаза запали. Жидкая бороденка придает лицу страдальческое выражение. «Давно пора ему расстаться с этой зверофермой, — сочувственно подумал Громов. — Там и молодому не под силу».

— Может, выпьешь, Семен Кузьмич? — наигранно бодро спросил Громов. — Немного и врачи разрешают, а?

Семен Кузьмич встрепенулся:

— Немного да в хорошей компании грех не выпить.

— Я тебя вот по какому делу просил прийти, — сказал Громов. — Как ты уже, наверное, слышал, нам разрешили перейти на устав рыболовецкой артели, — он повторил все, что говорил Охотникову. — Правление рекомендует ликвидировать звероферму. Как ты на это смотришь?

Сальников с места вскочил:

— Нельзя, нельзя ликвидировать! Это... это преступление!

— Успокойся, Семен Кузьмич, давай разберемся...

— Чего тут разбираться, и так ясно: кого-то петух в одно место клюнул! То каждому колхозу звероферму навязали, теперь все под корень!

— Дело в том, Семен Кузьмич, — терпеливо втолковывал Громов, — что нам нельзя распылять силы. Чтобы ферму обеспечить кормом, надо держать минимум два снайрера для добычи морского зверя. Представляешь, сколько рыбы недодадим государству! И, наконец, помимо всего прочего рыба — высокие заработки.

— Заработки у пришлых людей, — живо возразил Сальников. — Будете рыбаков нанимать в Петропавловске, они-то и в колхозе ни разу не побывают. Смех: за сто верст от моря колхоз, а рыболовецкий. Рыбу, конечно, не надо кормить. Черпай да черпай, пока всю не выловишь. А песцы жрать просят, ухода требуют. Зато их на золото продают. А колхозу одна прибыль. По три, по четыре тысячи получали...

— Семен Кузьмич, ведь в прошлом году ферма дала убыток. Приплода, считай, никакого. Песцы вырождаются, шкурки теряют сортность.

— Все это так, Дмитрий Яковлевич... Что ж скрывать... А причина где? Внимания не обращали. Сколько раз предупреждал — отмахивались. Это еще можно поправить... Не поздно. А насчет приплода сам знаешь — всю зиму провалялся в больнице, поставили недобросовестного человека, по три дня зверей не кормил. Здоровье подвело...

«Славу ему, что ли, терять не хочется, — неожиданно подумал Громов. — Передовик, с Доски почета не сходит, в газетах пишут. Справедливо, конечно, заслужил. Со случайными помощниками многого добился».

Сказал мягко:

— И тебе, Семен Кузьмич, пора отдохнуть. Подберем тебе спокойную должность, предоставим жилье, хочешь — в Тигиле, хочешь — в Седанке...

— Да разве во мне дело! — горестно воскликнул Сальников. — Мне и помирать скоро. Ферму сохраните, пусть другой человек занимается, я в помощники пойду...

— К сожалению, это невозможно, — устало сказал Громов. — Дело совсем не в результатах прошлой зимы. Экономисты подсчитали: в наших условиях нерентабельная, бесперспективная отрасль.

Семен Кузьмич вдруг воодушевился:

— Оставьте мне хотя бы штук пятьдесят, и через два года я докажу, что дело выгодное.

Громов сухо, чтобы прервать дальнейшее обсуждение, сказал:

— Мы не для экспериментов ферму держим.

Сальников поднялся.

— Умные люди, все умеют! Сегодня влево, завтра вправо, и все, по-ихнему, правильно. Я на собрании буду против выступать. Колхозники меня поддержат, они никуда не хотят переезжать!

— Конечно, если собрание будет против. . . — неопределенно сказал Громов, провожая до двери Семена Кузьмича.

Сальников ушел.

— Прямо фанатик зверофермы, — нарушил короткое неловкое молчание Охотников. — Больше всех меня тербит. То корм нужен, то мясорубка, то еще что-нибудь. . . Чуть живой, но энергии хватает. Привык, тяжело ему за новое дело приниматься. . .

— Конечно, ему жалко звероферму. Своими руками создавал. Но ничего не поделаешь, жизнь идет вперед. . . — Громов помолчал. — Спасибо за угощение, отвел душу.

Громову постелили в горнице. За дверью, в спальне, Охотников тихо переговаривался с женой. Громов привык засыпать сразу. Теперь же не спалось. То ли оттого, что на новом месте, то ли разговор с Семеном Кузьмичом взволновал. «Хороший мужик, — растроганно подумал Громов. — Напрасно он думает, будто мы с кондачка решили. Как же ему объяснить, чтобы не держал обиды? — Засыпая, Громов подумал: — Все будет хорошо, все будут довольны».

2

Семен Кузьмич проснулся рано: замучил кашель. Закурил — полегчало. Поднес спичку к фитилю, поставил стекло. Сыро в комнате, и дух нежилой. Вчера печь не топил, допоздна занимался подсчетами, обдумывал речь на сегодняшнем собрании.

В окна, как сквозь бычий пузырь, сочился скудный свет. Семен Кузьмич оделся, ударил несколько раз по соску умывальника, плеснул в лицо немного воды. Заржавел умываль-

ник, не сразу поддается. Оглядел комнату, остановился взглядом на фикусе в жестяном ящике из-под масла и особенно остро почувствовал, что нет жены и никогда не будет... Не с кем словом перемолвиться, никто его не поймет, как понимала она. «Эх-хе-хе, — вздохнул Сальников. — И Толька, паршивец, не пишет». Сын служил в армии и не баловал отца письмами.

Докурив вторую сигарету, Семен Кузьмич собрал узелок с продуктами, чтобы после собрания не заходить домой. Посмотрел на ходики — без двадцати шесть. Часы — тоже память о жене. Любила она простенькие ходики с цепочкой и гирькой.

На улице было светло. Вот-вот поднимется солнце. Семен Кузьмич прошел по траве, сапоги заблестели жирной чернотой. К ясной погоде роса выпала. Сальников на вольном воздухе взбодрился. «Не зря Громов сказал: «Если собрание будет против...» Мир — большая сила, против него не попрешь».

У клуба собрались несколько человек. Семен Кузьмич поздоровался со всеми, подошел к Чикишеву, бригадиру косарей, прикурил у него. Поговорили о погоде, о заготовке сена. Семен Кузьмич гнул свое:

— Благодать, а не место. Где еще такое найдешь? Трава выше пояса, лес хороший рядом. Переселят в Седанку — там что? Пустынь, мокрая тундра. Вот я и говорю, не надо звероферму ликвидировать. Расширять надо.

— Оно так... — неопределенно согласился Чикишев, расчесывая пятерней жесткие волосы. Ему, кроме как до сена, ни до чего вроде дела нет. С утра до вечера на покосе, пиджак выгорел, будто мукой посыпан. — Долго не идут. Отзасеять скорей, да и косить.

«Все равно ему», — с горечью подумал Семен Кузьмич.

Завклубом Володька Шерстобитов снял с двери замок. Некоторые сунулись внутрь, большинство осталось на улице. Не хочется от солнышка забираться в нежилую сырость и полумрак.

Появились Громов с Охотниковым. Громов обошел всех, за руку поздоровался.

— А что, Равенков не прибыл? — поинтересовался Кузьмич у Чикишева.

— Парторг, говорят, ногу сломал.

— Тут сломаешь, — сказал Громов.

Народу было человек тридцать. Бросали окурки в траву, без особого желания заходили в клуб. Казалось, нет лучшего удовольствия, чем курить на улице, век бы этим занимались.

В нетопленном клубе как в погребе. Со свету в глазах все сливается, только через несколько минут перед Семеном Кузьмичом прояснилась привычная обстановка: сколоченные рядами стулья, круглые портреты по бокам сцены, над ней ситцевый лозунг, который всякий раз Кузьмич читал не вникая. На сцене расторопный Володька уже успел все оборудовать для собрания: стол накрыт красным сукном, расставлены одиночные стулья, внушительно высится трибуна, крашенная под орех. На ней холодно отсвечивал графин с водой, водруженный для солидности. Стакана не было.

Поднялись на сцену Громов, Охотников и председательша сельсовета Болонкина. Президиум не стали выбирать, поскольку собрание носило сугубо деловой характер.

— Открываем собрание! — торжественно сказал Охотников. — Слово предоставляется председателю колхоза «Новый путь» товарищу Громову!

— Может быть, товарищи колхозники, вначале выслушаем отчет завотделением, потом уж я проинформирую? Согласны?

Собрание нечленораздельно загудело.

Охотников поскучнел, взял папку, подошел к трибуне. Затяжным дождем шелестели стертые слова, цифры. Зал терпеливо слушал: так положено, никуда не денешься. На лице Охотникова застыло страдальческое выражение. Наконец минут через двадцать с облегчением закруглился, вытер платком лоб, собрал бумажки, сел за стол.

Не распрямляясь во весь рост, чтобы чересчур не возвышаться над всеми, Громов рассказал, что колхоз переходит на устав рыболовецкой артели, подчеркнул преимущества, с этим связанные. Мельком упомянул, что отделение со временем будет сокращаться, затем предложил обсудить доклад Охотникова.

«Надо выступать!» — решительно подумал Сальников, комкая листок с расчетами. Пока собирался с духом, заговорила Болонкина, затем путаную речь держал тракторист Савичев. «Не то они говорят, не то! — досадовал Семен Кузьмич. — При чем здесь запчасти и колодец? Как же село, как же песцы?»

— Кто еще хочет сказать? — спросил Громов, оглядывая зал.

— Я! — сказал Кузьмич и встал.

— Может, Семен Кузьмич, на сцену пойдешь?

— Можно и на сцену, — пробормотал Семен Кузьмич, неловко пробираясь между стульями.

Стал рядом с трибуной, начал в запальчивости:

— Нельзя звероферму сокращать! Это бесхозяйственность! И село не надо ликвидировать. — «Не то говорю, не то! Надо спокойнее». Метнулся к расчетам. По его словам получалось, что, стоит как следует наладить дело, из-за рубежа будет непрерывно притекать золото. Потом начал жаловаться: — Когда был самостоятельный колхоз, дела в порядке держались. А сейчас пасынки! Сколько раз Громов у нас бывал? Сегодня второй раз за полтора года!

Громов согласно и сокрушенно кивал головой.

— С Охотникова, может, и спрашивать много нельзя. Корм надо зверям подвезти — трактор на ремонте. Вот и крутись тут.

Семен Кузьмич говорил, говорил, вдруг услышал, как в зале скрипят стульями, почувствовал и внушил себе, что слова его не встречают поддержки. Оборвал себя и, уже спустившись по лестничке из трех ступеней, сказал нелепые слова:

— Всем нам один конец будет, а песцам, значит, уже пришел!

Он плохо слушал объяснения Громова. Раз колхозники не поддержали — нечего настаивать.

Выбрали представителей на общеколхозное собрание, которое примет решение о переходе на рыболовецкий устав. Громов предложил в их число включить и Семена Кузьмича.

Собрание закончилось. Все разбрелись кто куда. Семен Кузьмич замешкался на высоком берегу. Он привык жить один и не тяготился собой. Но сейчас было тоскливо. Он с завистью следил, как на узких батах переправлялись на другую сторону сенокосчики. Ему захотелось быть вместе с людьми, косить траву, обедать кружком вокруг расстеленных газет, а потом вместе возвращаться домой. Дел на ферме непроворот, а то увязался бы на сенокос.

Цепочка людей скрылась за прибрежными кустами. Семен Кузьмич отправился на ферму, расположенную километрах в двух от села.

После собрания позавтракали у Охотникова. Громов предложил пройтись по хозяйственным объектам, а затем намеревался сразу направиться в Тигиль, чтоб засветло успеть.

Охотников отговаривал:

— Дмитрий Яковлевич, я бы не советовал ехать одному. Медведи шалят. Позавчера корову задрали. Подождите до утра. Утром пойдет трактор на Яры.

Громов возразил:

— Я сюда ехал и следа медвежьего не видел.

— Мало ли что...

Громов вспомнил густые заросли кедрача у тропы, и ему стало несколько не по себе. От медведя, если уж нападет внезапно, не спасешься. Не один пастух пострадал от них. Но задерживаться на целый день не имело смысла. В Тигиле множество дел, во всем надо разобраться, во все вникнуть. Заботы, даже мелкие, не тяготили Громова. Благодаря им он чувствовал себя нужным человеком, хозяином жизни, всегда был в бодро-напряженном состоянии. Теперь же, в связи с реорганизацией, дел прибавилось, но зато пользы и от него, Громова, и от колхоза будет больше.

Обошли хозяйство, и во всем Громов с сожалением видел следы запущенности: на конюшне давно не убирался навоз, на животноводческой ферме выбиты стекла. На бревнах стоял разутый трактор, обнаженный двигатель забрызган грязью. И всюду безлюдно. Лишь у чудом попавшей сюда грузовой машины лениво возились два парня. Громов, конечно, сделал замечания Охотникову, но больше для порядка: все равно села скоро не будет.

— Что ж, Иван Иванович, заглянем на звероферму, и мне пора.

Пока шли по улице, Громов поглядывал на добротные дома. Конечно, жаль их разбирать. Велики материальные затраты, но восполнятся со временем. Так уж испокон веку повелись на Камчатке кочующие села. Взять ту же Кахтану. Древнее село. Первые русские землепроходцы срубили на берегу острожек. Он давно сгнил, и заплывших вмятин на земле не осталось. В разные времена приходили сюда люди, лепили домишки из худого местного леса. Уходили — строения разрушались. Новые люди ставили дома на новом месте... Еще лет

пятнадцать назад торчали здесь два-три домика да десяток меховых яранг.

Далеко до фермы. Пока добрались, взопрели под жарким солнцем. Территория обнесена сеточным забором, но не полностью, большие участки открыты. Должно быть, в свое время не хватило материалов. Издалека клетки, поднятые над землей, — как избушки на курьих ножках. Громов с любопытством их оглядывал: не часто приходилось ему здесь бывать. Пока шли меж рядами, зверьки кидались на сетки, цеплялись когтями, злобно смотрели глазами-бусинками.

— Врага, что ли, чувствуют? — пошутил Громов.

Сальникова нашли возле костра. Корм готовил песцам.

— Ну, показывай свое хозяйство! — бодро сказал Громов.

— Что уж тут смотреть, — хмуро ответил Сальников. — Пойдемте.

И хоть толку не предвиделось, постепенно завелся, указывал на беспорядки, завел в недостроенный дом, показал бездействующую мясорубку. Стал возмущаться: скоро день кончится, а корм на завтра не привезли. Утром трактор угонят на Яры, когда вернется — неизвестно. Что ж, зверям раньше срока подыхать?

Громов соглашался, обещал позаботиться — и сам чувствовал неестественность своего положения. Возможно, не стоило на ферму заходить, беречь Сальникова? Э, ни к чему пустое деликатничанье, когда речь идет о хозяйстве.

— Какие меры можно принять, чтобы сдать шкурки хорошими сортами?

— Какие меры? Кормить хорошо надо. Помощников мне дайте. Звери — не люди, за ними уход нужен.

— Сделаем, Семен Кузьмич. Я сам прослежу.

Уходя, сказал как можно мягче:

— Поверь, Семен Кузьмич, все подсчитано, взвешено. Ведь не с кондачка решили. И еще раз повторяю: мы тебе подберем хорошее дело.

Семен Кузьмич пробормотал:

— Ладно, чему быть — не миновать.

Уходя с фермы, Громов ни с того ни с сего подумал, что вот, дескать, все человек может приспособить себе на пользу. Диких зверьков научился на мех употреблять. Да на какой мех!

Шли к селу, оба высокие, внушительные. Охотников порядком устал, мечтал лишь об одном: отдохнуть в прохладе.

А Громову еще предстояла длинная дорога, и Охотников ему сочувствовал. «Хотя, что ж, человек не зря мается. Будет колхоз выполнять план по рыбе — председателю почет и уважение. В больших президиумах посидит...»

— Иван Иванович, нет ли в магазине хороших конфет? Неудобно к детишкам возвращаться с пустыми руками.

— Придем — у Вали спросим. Может быть, найдутся.

4

После того как Громов с Охотниковым ушли, Семен Кузьмич накидал под котел сучьев потолок. Сперва надо зверей накормить, сам после поест. Практикантку училища Валию Косыгину отправил отдыхать.

Трудно поднимать тяжелое, спина и руки ноют после вчерашнего. Вроде невелик мешок, килограммов тридцать, в прежние годы бросал бы играючи. Сейчас и на плечо не взвалить. По земле доволоч к котлу, ополовинил горстями, потом из мешка высыпал мелкую сухую рыбку — уек. Пока можно чуть передохнуть.

Сполоснул руки в бочке, попутно заметил, что воды надо накачать. Цепляется дело за дело, не соскучишься. Сколько ни делай — не кончится. Оно и лучше: некогда пустым стариковским мыслям предаваться. Обо всем серьезном уже передумано, так, всякая бестолочь лезет в голову.

«Ничего, обходительный мужик Громов, — вспомнил недавнее посещение. — И чего я в ферму вцепился? В мире вон какие дела творятся, а тут звери какие-то! И Громова надо понять: не по своей воле действует. Это раньше была такая мода на Камчатке — каждому хозяйству звероферму. Теперь, видишь, по рыбе надо план гнать. По мне, гони, да и о другом думай. Рыба, она тоже не для цифры плавает, а в корм человеку идет. Что полезно человеку — тем и занимайся».

Увлекся Кузьмич, снова на песцов повернул. Мысленно внушал кому-то, должно быть большому начальнику: «Ты знающего человека пришли, пусть посмотрит, прикинет. Побеседуем. Я ему свое, он мне свое. Может, не понимаю чего. Да ведь не слабоумный, кое-что соображаю... Сюда бы ученого человека да условия... А я бы к нему в помощники. Наделали бы делов!»

К старым мечтаньям потянуло: ферма огромная, а за ка-

ждого песка буржуи золотом платят, чтоб, значит, баб своих ублажать нежным мехом. В область кинуться, к первому секретарю постучаться? Похлопает по плечу: хорошую мысль, дескать, мужичок бросил. И тут же отдаст распоряжение. И радость победителя Кузьмич почувствовал... Не для себя старается, для дела.

Зашипела на огне бурлившая через край вода.

— Эх, старый дурень, как девка, заиграл!..

Вслух сказал и плюнул. Быстренько соснул в сторону угли. Пока не в кабинете — на ферме, не речи дельные надо вести — дерьмо убирать из клеток. Рыбка сама дозреет, сыровата будет — зверьки не обидятся.

Кликнул Валю, отдохавшую в недостроенном доме. Начали было возводить хоромы, а объединились в «Новый путь» — заглохло строительство. Дранка ребрами торчит, окна заколочены фанерой, досок на полу не хватает.

— Пойдем, Валюша, марафет в клетках наводить.

Валя согласно кивнула. Послушная девица, работающая. Оно хорошо, да в жизни не даст себе ходу — обижать будут. Вот Толька, сын, — тот зубастый, огрызнется прежде, чем заденут. И в кого такой? Кузьмич довольно усмехнулся: в него! По молодости тоже ершистый был, не очень покорялся. Да и сейчас голыми руками не возьмешь.

Песцы — то ли по шагам узнали, то ли увидели Кузьми-ча — заметались по клеткам.

— Ну, зверье, зверье, — выговаривал Кузьмич, выгребая из-под клеток. — Нету с вами покоя.

Остановился у клетки с больным песцом, ласково побеседовал с ним. Не раз мелькала мысль: посмотрит кто со стороны — подумает: рехнулся старик. Да кому смотреть? Посторонние люди сюда не забредают, Валя чистит другой ряд...

В декабре всех порешат — и с хорошим мехом, и с облезлым. Жаль стало, хоть плачь. Привык, ровно к приятелям. Выпустить на волю, гуляйте? Погибнут — ведь неприспособленные, а Кузьмичу за такой поступок век в тюрьме коротать.

Странное дело: каждую зиму Сальников собственноручно забивал песцов, сдирал и выделявал шкурки, и считал это естественным, самой природой определенным делом. Для того и существуют звери, чтобы люди мех носили, деньги получали. Что ж их сейчас так жалко стало?

Вонючее занятие — клетки содержать в чистоте. А куда денешься? Надо. Шесть лет убирает, привык, да не совсем.

Иной раз хоть нос затыкай. Но не чистоплюй Семен Кузьмич, ко всякому привык. К тому же не силком его к зверям поставили, сам напросился.

Когда повсеместно начали обзаводиться зверофермами, Семен Кузьмич числился завхозом. Должность не сказать чтоб очень обременительная, но хлопоты найдутся, если их искать. Не такой человек Кузьмич, чтоб задаром хлеб есть. По сути, встречал во все хозяйство. На правлении судили-рядили, кому поручить такое необычное дело. В пользу от песцов никто не верил, рассуждали: от директивы никуда не денешься, надо года два подержать, а там сами собой передохнут или другое распоряжение выйдет. Хотели Василия Королева облечь. Заправлял он колхозными коровами и до того их вышколил, что зимой бродили по селу, разрывали снег, обгладывали бревна. Показался ненадежным: слишком быстро уморит, получится неприятность.

И что тогда толкнуло Кузьмича? Вызвался спасти положение. Жена и председатель колхоза Сидоров отговаривали, но Кузьмич убедил: «Самостоятельная работа. Как постараться — таков и результат». А песца-то и в глаза не выдывал. Ясно одно: ценный зверь, раз такая надобность вдруг возникла. Горноста, соболя промыслял, знал их повадки. Песец той же породы, авось справится.

Из Якутии вез ценный груз в деревянных клетках. Всю дорогу волновался, домой прибыл, как после лихорадки. В первый год натерпелся лиха. Дело непривычное, посоветоваться не с кем, книг и тех не достать. Тощую брошюру до дыр изучил.

Зима, как нарочно, стояла лютая, избы трещали, и пар от дыхания шелестел. Семен Кузьмич поставил палатку рядом с клетками, дневал и ночевал там. Песцы жутко выли по ночам. Разбери — мороз им не по нраву, перед смертью ли тоскуют. Как-то ночью проснулся от холода и непривычной тишины. Екнуло сердце: неладное что-то! Выбрался из кукуля. Вокруг луны два морозных круга, в стороне разноцветные звезды колюче перемигиваются. Под ногами снег визжит — до самого неба, кажется, достаёт. Песцы потихоньку поскуливали. Померзнут зверята! Хорошо, рядом стог сена торчал. Бросился таскать — клетки укутывать. Жарко стало, кухлянку сбросил.

Оглянулся случайно — черная фигура движется со сторо-

ны села. Кого несет? Оказалось, жена. В тулупе, на голове не меньше трех платков.

— Проведать пришла. Не замерз еще?

Голос непривычный, как через силу говорит.

Кузьмич ответил, что, мол, песцы могут замерзнуть, и понял, отчего у жены голос такой: на морозе губы высохли, не слушаются.

До утра вдвоем утепляли клетки. Может, и лишнее: песцы к холодам привычны, но лучше подальше от беды. С того времени жена ему помогала. Отработает свое в детсаде — и на ферму. Почти год вдвоем мыкались. Потом легче пошло, двух помощников выделили. А как увидели, что прибыль может быть, прикупили сотню песцов, кормом бесперебойно обеспечивали. Про Кузьмича в газетах — передовик, на районную Доску почета прибили, до сих пор не сняли.

Семен Кузьмич вспомнил, как перевозили «новую отрасль экономики», и удивился простым своим разумом: «И звери те же, и речка, и климат вроде не стал тропическим, — с чего же такие перемены? В верха надо карабкаться, — решил. — И повыше области есть организации... Что ж мне, старому, терять, авось достучусь! — В раж вошел, во весь рост выпрямился, бородашку вздернул. — Село такое рушить! Забыли, как с керосинками работали строители, чтобы дом к Октябрю сдать!»

5

Утром Семен Кузьмич поднялся бодренький, быстро оделся, вышел на улицу. Было свежо, и Семен Кузьмич совсем развеселился. Почудилось, будто птицы щебечут. А какие здесь могут быть птицы кроме ворон? Рассказывают, воробей прибыл на судне в Петропавловск, повертелся и с тем же кораблем сбежал на материк. И все-таки в воздухе стояло подобие щебетания.

День снова выдался сухим. За полтора месяца и реденького дождика не выпало. Где-то в горах растаял весь снег, пересохли ручейки, питающие Кахтану. Возле села по узкому руслу вода всюю хлещет, здесь же, возле фермы, обнажилась широкая галечная коса.

Покончив с необходимыми делами, Семен Кузьмич спустился к реке накачать воды в бочки. Подтащил помпу, сел на промасленный чурбачок, закурил. Река неслышно текла

мимо. Изредка скользил желтоватый лист. Пожухли листья от сухости. Семену Кузьмичу почудилось, будто уловил осенних запахов. Но какая может быть осень: белые ночи не совсем кончились, и жарынь стоит... Да и гниющей рыбой пахнет, ничем иным. Непонятная это рыба — лосось. Плавает в морях. Пришла пора метать икру — возвращается в родную реку, откуда ушла мальком мыкаться по свету. Как дорогу находит — никто не знает. После нереста, дав жизнь потомству, сотни рыб, обдираясь о камни, выбрасываются на берег. Выходит, дальше им жить незачем. «А мы, видишь, за жизнь цепляемся, — спокойно рассудил Кузьмич. — И толку мало, зря землю топчем, а помирать не хочется. Так уж тебя скрутит — не дыхнуть, отпустило чуть — взглянешь на солнце или там на дерево — и оно хорошо, удовольствие старому хрычу». И оборвал себя: хватит рассусоливать, работать пора.

Дернул стартер, мотор чихнул густым дымом и смолк. Минут двадцать возился, пока движок заработал. Дробные чужеродные звуки понесли над рекой. Из прохуdivшихся шлангов тугими лучами ударила вода. Сальников бросился к бочкам.

Пахло вечерней прохладой, когда Сальников отпустил домой Валу. Сам остался: обещали корм подвезти. Сморенный усталостью, задремал, навалившись на стол. Что-то тяжкое привиделось, аж муторно стало. Хорошо, тарактение трактора разбудило. Не мясо ли везут? К дому, бойко лязгая провисшими гусеницами, бежал трактор. За ним подпрыгивала тележка. «Вон как шпарит, что на легковой машине! — с удовольствием отметил Семен Кузьмич. — Кто ж это такой бравый выискался?» Разглядел в кабине Ваську Лихолетова. Сбавив обороты, парень крикнул:

— Принимай, Кузьмич, закуску! Черпак за тобой!

Картинно облокотившись о капот, достал короткую сигаретку, не спеша вставил в мундштук, прикурнул от самодельной зажигалки.

Семен Кузьмич сбрасывал на землю припахивающие нерпичьи тушки.

— И охота тебе, Кузьмич, с таким дерьмом возиться? — спросил Васька, брезгливо показывая сапогом на нерп. — Меня озолоти — не заставишь.

— Твое, Васька, дело молодое. Тебе на танцы ходить, с девками обниматься. До моих лет доживешь — не побрезгуешь.

— Не рассуждай, Кузьмич, — играя в начальника, строго указал Васька. — Давай работай!

— Работаю, милоч, работаю так, что чертям тошно, а мне и подавно!

Разгрузив тележку, заключил:

— На сегодня хватит. Всего не переделаешь.

Васька дернул в сторону железную дверцу:

— Садись, Кузьмич, в кабину. Как на такси домчу.

— Я уж на вольном воздухе лучше.

Хоть Васька и пропитался маслом, а, пожалуй, будет морщиться от нерпичьего духа. Семен Кузьмич пристроился на борту. Васька дал дизелю полные обороты, тележка загромыхала по рытвинам.

Семен Кузьмич только сейчас почувствовал, как устал. Ныли мышцы, тело обдавало холодом. «Ничего, ничего, — твердил Кузьмич. — Я своего добьюсь, покажу этим хозяйчикам!» Старался не думать, что вечер придется коротать одному в пустом доме. И кино нет, а то поговорил бы перед началом с мужиками — и веселей бы стало. По гостям не шатался, не любил собой обременять людей.

Васька с шиком подогнал трактор к самой калитке, помахал на прощание кепкой.

Семен Кузьмич подошел к крыльцу. Колышка, которым он обычно подпирал дверь, не было. «Должно быть, бродячие собаки отпихнули, кому же еще? — думал волнуясь, а сердце встрепенулось: — Никак, гости пожаловали? Кому же кроме Тольки? — Из сеней услышал голоса. — Должно быть, Болонкина командировочных привела. Дом большой, места хватит, живите», — боясь разочароваться, внушал себе Кузьмич.

За столом сидел парень в солдатской гимнастерке. На другого человека Сальников не обратил внимания. А сына узнал — и вроде не узнал: таким здоровым и взрослым выглядел. Кузьмич чуть не до слез обрадовался и потому сказал грубовато:

— С батькой еще не поздоровался, а уже водку пьешь.

Толька привстал, протянул руку:

— Здорово! Понимаешь, целый день ехали. Река мелкая, на себе моторку тащили.

Тут Семен Кузьмич разглядел и другого парня. Форма милицейская, а личность вроде знакомая, но не припомнить, где видел. Парень представился Юркой Сновидовым.

— Не Петра ли Сновидова сын?

Парень кивнул черной головой:

— Ага.

— То-то, смотрю, облик знакомый... Что же вы, ребята, всухомятку закусываете? Сей момент что-нибудь сварганю! Захлопотал по хозяйству.

«Ишь ты парень вымахал! — с гордостью думал про Тольку. — А еще расти и расти. Обрадовал старика, обрадовал, ничего не скажешь!»

Печь затопил, окна распахнул. Жилым духом повеяло.

Чтобы не уделять внимания исключительно сыну, спросил у Сновидова:

— Как батька-то?

— Ничего.

— А сам по какой надобности к нам?

— Лямзина забирать, — безразлично сказал Юрий. Но беспокоился очень. В милиции недавно. А в Тигиле какие преступники — драчунов у дома культуры разгонишь, пьяного, который в канаву упал, домой отведешь. Если безобразничает — в КПЗ запрешь. Здесь же настоящий хулиган, и прошлое темное. С ним чуть не целый день наедине плыть. Того и гляди прибьет где или в лес смоеется. Сновидов как бы для бодрости до кобуры дотронулся.

— А что он натворил?

Юрий рассказал, что знал.

— Да, такого, значит, не справишь... — с сожалением сказал Сальников и, чтобы не портить настроения ребятам, перевел разговор на другое, спросил у сына: — Как там у тебя дела? Не шибко притесняют?

— Ничего, терпимо. Сначала трудно было, потом привык. Отпуск вот дали.

— Это за какие же подвиги?

— Отличник боевой и политической.

— Ну-ну. А вот в Кахтане, должно быть, последний раз. И не удержался, объяснил положение.

— Ты, батя, в Тигиль перебирайся. Все-таки районный центр, народу много. А в Кахтане скучно.

«Видишь, как молодежь относится, — подумал Кузьмич. — Может, действительно оно к лучшему? Что ж я тогда петушь?»

Семен Кузьмич глядел на Юрия и Анатолия, радовался их здоровью, молодости, будущему. Разве можно нынешнюю мо-

лодежь сравнить хотя бы с ним! Что он в их годы видел, знал? Кино-то раз в году смотрел, о технике ни малейшего понятия не имел. Дома и те в Кахтане появились лет пятнадцать назад, а трактор и того позже. Но на свою жизнь сетовать нечего. Жил, как хотел и умел, работал до упора, куда ни поставят. Почти тридцать лет на Камчатке. Приехал в тридцать третьем на сезон денег подзаработать, приглянулась здешняя жизнь, решил подольше задержаться. Предложили пушником в Кахтану — согласился, хотя меха раньше в глаза не видывал, кроме сусликов разве. Привык, разбираться начал, — ни начальство, ни охотники не обижались... Старался все делать по справедливости.

— Ну, — сказал Анатолий, разливая по стаканам остатки водки, — благополучно тебе уголовника довести!

— Никуда не денется! — решительно ответил Сновидов.

Анатолий потянулся, длинно зевнул.

— Ладно, спать будем, что ль?

Кузьмич постелил им в горнице, сам устроился на кухне, поставив у самой двери раскладушку. Ребята, как легли, зашвыстели носами. Семену Кузьмичу не спалось, смолил папиросу за папиросой. Жену вспомнил — тоска такая, хоть плачь. Себя упрекал: зачем позволял ей на ферме уродоваться? Кто знает — может, там она и простыла? Была ли она довольна жизнью в глуши? Должно быть, так, ведь ни разу не предложила переехать. Во всем его слушалась... Тольке бы такую жену. Нет, его, шалопута, надо в руках держать. Семен Кузьмич исподволь перешел к мыслям о сыне, представил Толькину жену, детишек. Будет к ним в гости ходить, внуков нянчить. Засыпая, вспомнил о ферме, и ее судьба не так уже его задевала, как днем. «Буду вроде защитника на суде, — решил. — У него в любом случае подсудимый не виноват, чтобы меньше судебных ошибок было». А потом ни о чем не думал, будто в воздух поднялся, и понесло его, закружило.

Хлопнула наружная дверь, в сенях зашаркали. «Кого это по ночам носит? — очнувшись, подумал Семен Кузьмич. — По неделям никто не заходит, а тут сразу столько гостей».

Отворилась дверь на кухню. В ночном полумраке Семен Кузьмич увидел высокую фигуру.

— Свети, падла!

Кузьмич с внезапным испугом узнал голос Лямзина.

Вернувшись в Тигиль, Громов увяз в хозяйственных делах. Нужно было ускорить строительство коровника, обеспечить на зиму животных кормом, выбить вертолет для заброски оленеводам продуктов. Да и вообще за день накапливались десятки мелких дел. Казалось, без него, Громова, остановится строительство домов, коровы сдохнут с голоду, пастухи останутся без продуктов. Головой Громов прекрасно понимал, что колхозная жизнь продолжалась бы и без него, но невольно чувствовал себя главным человеком, воле которого послушны сотни людей.

После обеда он сидел в своем кабинете. Выдалось несколько свободных минут: никто не звонил, никто не заходил. Мелькнуло было воспоминание о Кахтане, но его тут же вытеснили деловые мысли: «Где же найти строителей? — подумал Громов. — Строительные материалы есть, деньги есть тоже. На СМУ надежда плохая... Придется вызывать шабашников. В худшем случае получу еще один выговор».

Позвонил прорабу:

— Андрей Петрович, зайти ко мне на минутку.

Вошел Грушевой, парень лет двадцати шести. Особой расторопностью он не отличался, был исполнительным работником — и то ладно.

— Вот что, Петрович. Лежит у меня письмо. Бригада строителей предлагает свои услуги. Находится в Петропавловске. С объектом справились досрочно, хотят еще поработать. Прибыли из Армении. Как на это смотришь?

— Хорошо бы вызвать, — сказал Грушевой. — Да неприятности снова могут быть. А работают они на совесть.

В прошлом году бродячая бригада подрядилась строить два дома. И закончила раза в два быстрее, чем сделали бы рабочие СМУ, и качество не сравнить. А Громов получил выговор за нарушение финансовой дисциплины, хотя все понимали: другого выхода нет. Но он не расстраивался из-за формальных наказаний.

— Надо вызывать. Ты, Петрович, сегодня же отошли ответ. Напиши, что к осени коровник должен быть закончен. Сообщить, какая будет оплата, короче, подробно информировать.

Резкой трелью ударил звонок телефона.

— Дмитрий Яковлевич? Беспокоит следователь Рачинский. Вы сможете сегодня зайти ко мне?

— Смогу, конечно, если нужно. Да вот через час вызывают в райисполком, по дороге загляну к тебе.

С Володией они хорошо знакомы. С чего вдруг такая официальность? «Следователь Рачинский»...

Через полчаса Громов отправился. Колхозный поселок стоял отдельно от райцентра. Громов шел по улице, с удовольствием смотрел на строящиеся дома. За время его председательства возникла целая улица. «Подождите! — весело пообещал кому-то. — Вот построим двухэтажный дом с центральным отоплением, с ванными! Первые ванны будут в районе!» Громов был в отличном настроении. Дело идет как должно — и при самом активном его участии. То ли еще будет, когда колхоз начнет ловить и обрабатывать рыбу! Года через два, глядишь, орден навесят. Тут же устыдился недостойной мыслишки.

«Зачем же я понадобился Рачинскому?» — вспомнил про следователя, поворачивая к дому с осевшими стенами, где располагалось отделение милиции.

Подождав в коридоре, пока глаза привыкнут к полумраку, отворил дверь.

Следователь Рачинский, высокий худощавый парень, поднялся ему навстречу:

— Хорошо, что пришли, Дмитрий Яковлевич! — Протянул листки, официально добавил: — Пишите, пожалуйста, только то, что видели сами, не поддавайтесь эмоциям.

— О чем писать?

Рачинский удивился:

— Как о чем? Показания на Лямзина, конечно!

— Вон в чем дело! А я думаю — что такое случилось?

Машинально прочел, что за ложные показания грозит статья такая-то. Непривычно оробел не перед Рачинским, не перед бумажкой, а перед тем, что скрывалось за ними. Писал Громов тщательно, чтобы второй раз не возвращаться к неприятной обузе. Поставил подпись на каждой странице.

— А знаете, Дмитрий Яковлевич, ведь Лямзин зарубил Сальникова!

— Как так? Что такое? — Громов подумал, что ослышался.

— Приехал милиционер забрать Лямзина, остановился у Сальникова. Ну, Лямзин узнал, конечно. Взломал в сарае дверь. Пришел ночью и по ошибке ударил топором Сальникова.

— Он... жив? — не надеясь, спросил Громов.

— Жив. Парализованы ноги. Сегодня должны привезти.

«Какая нелепость, какая нелепость...» — повторял про себя Громов, а перед глазами стоял Сальников, шуплый, печальный, с жиденькой бородкой. «Мало ему горя было, теперь вот это!» Почему-то Семен Кузьмич представлялся человеком, которого всю жизнь преследовали несчастья. Забыл, что Кузьмич всегда отличался неукротимостью и даже дерзостью.

В приемной председателя райисполкома и в коридоре толпились приглашенные на заседание. Только и было разговора что о Сальникове и Лямзине. Передавали друг другу подробности, ужасались.

Громов подошел к главврачу Спасскому.

— Леонид Григорьевич, что с Сальниковым? Опасно или нет?

Спасский посмотрел сквозь очки на Громова. На его преждевременно располневшем лице не выразилось ни сожаления, ни беспокойства. Такая уж у него профессия: если из-за каждого больного расстраиваться, сил не будет лечить.

— Пока ничего не могу сказать. Очевидно, задет спинной мозг. Мы заказали санрейс. Наверно, сегодня или завтра утром отправим в областную больницу.

Настроение у Громова было подавленное, как будто потерял близкого человека. Он все думал о Сальникове и чувствовал себя виноватым. В чем заключалась его вина — не мог разумно объяснить. Оставил Лямзина в селе? Да у него и прав не было забрать его с собой. Добился ликвидации зверофермы? Но это дело хозяйственное, непосредственного отношения к человеку не имеющее. Отчего же тогда беспокойство?

Громов привык к ясности, неопределенность его тяготила. «Надо будет выхлопотать ему максимальную пенсию, — пришло в голову. — Только бы остался жить!» От сознания, что хоть чем-нибудь может помочь Сальникову, стало легче.

Председатель райисполкома Максимов пригласил заходить. Расселись на стульях вдоль стен.

— Да, — сказал Максимов, — ужасный случай.

На минуту установилась напряженная тишина. Все как будто почувствовали присутствие темной силы, которая незаметна, пока не проявит себя каким-нибудь страшным образом.

— Ну что ж, — сказал Максимов, — начнем заседание. Первый вопрос: подготовка к смотру культпросветучреждений.

Жизнь снова вошла в привычное русло.

По реке, оставляя расходящиеся к берегам следы, звонко тарыхтели две дюралевые моторки. В передней лежал Кузьмич, накрытый ярким одеялом. У руля, поджав ноги, сидел Анатолий. Он то и дело с испугом взглядывал на отца. Казалось, громкий звук мотора причиняет отцу боль. Анатолий крепче сжимал рукоятку руля, будто это могло утишить стук мотора. Иногда робко окликал:

— Батя, как ты?

— Ничего, Толька, живой.

На мелком перекате моторка заскребла днищем гальку. Анатолий, подняв верха болотных сапог, осторожно, чтобы не качнуть лодку, ступил в воду. Нужно протащить лодку метра четыре. Анатолий изо всех сил налегал на корпус, галька визжала и стонала, лодка медленно ползла.

Другая моторка остановилась метрах в двух-трех в стороне.

Юрий Сновидов, не спуская глаз с Лямзина, поднял мотор и начал толкать лодку, которая и с места не сдвинулась. Лямзин с усмешкой смотрел на милиционера. Медленно перекинул ногу через борт.

— Сидеть! — прикрикнул Юрий.

— В Тигиле будешь приказывать! — огрызнулся Лямзин и, взбаламучивая воду, направился к лодке Кузьмича. Юрий пошел следом, держа руку на расстегнутой кобуре.

— Жив, кузнечик? — тихо спросил Лямзин. — Эх, ошибся Леха Лямзин! Безвинного человека порешил. Да я им теперь!..

— Лешка, зверь ты, а не человек! — Кузьмич напряг голос. — Мало тебе одного. Одумайся, пока не поздно! Одумайся, Лешка!

Лямзин уперся в корму, лодка уверенно двинулась вперед и через несколько минут была на глубокой воде.

— Леха будет смирный, — забормотал Лямзин. — Пальцем никого не трону... до Тигиля. Потом будем посмотреть. Не бойсь, начальник, — обратился к Сновидову. — Лехино слово — железо. Застегни пушку.

Без тяжелого груза и сновидовская лодка сдвинулась с места.

Затарыхтели моторы. Лодки, вспарывая воду, понеслись вперед.

Семен Кузьмич впадал в забытье, просыпался, видел перед собой блеклое небо и Анатолия, сидящего у руля. «Пропал отпуск у парня! — думал Кузьмич. — Сколько у него теперь хлопот!»

— Ты не беспокойся, Толька, — сказал, делая попытку подняться. — Все обойдется. Я живучий, даст бог, скоро на ноги встану.

Анатолий молча кивал головой, сдерживая слезы. Будь его воля, на месте расстрелял бы этого выродка Лямзина! Его и сейчас трясло при воспоминании о том, как он вырвал топор из рук Лямзина. С подоспевшим Юрием схватили Лямзина за руки. Лямзин дернулся, чтобы отбросить их от себя, взревел и обмяк, поняв, что ошибся. Его втолкнули в чулан, заперли на деревянную вертушку. Юрий вспомнил о пистолете. Подавляя дрожь в голосе, сказал:

— Если что — буду стрелять! У меня есть право!

Анатолий бросился к отцу, зажег керосиновую лампу. Отец был без сознания. Перепуганный Анатолий побежал на улицу скорее звать людей, чтобы помогли отцу. Разбудил медсестру, вызвали Охотникова. Через час отца перебинтовали, сделали уколы.

На рассвете отправились в Тигиль.

День был теплый и ясный. Слева по берегу тянулись высокие увалы, поросшие березами, темнеющие пятнами кедрача, справа то и дело показывались скалы. В спокойной воде отражались редкие облака. На минуту-другую Анатолию думалось, что едет он на рыбалку: так хорошо и мирно вокруг. Вспоминал случившееся, и казалось, всякая радость навсегда отравлена. «Я их всех бы! — гневно думал и пускал мотор на предельные обороты. — Скорее в Тигиль, в больницу!»

Семен Кузьмич почувствовал, что замерзает. Он лежал, занесенный снегом, который забивался под одежду, лицо — как деревянное, ноги отнялись. Издевательски закаркала ворона: «Кр-рю, кр-рю». «Теперь мне конец! — подумал Семен Кузьмич и очнулся. По-прежнему каркала ворона. — Где это я? Небо, парень вроде на Тольку похож... А это и есть Толька... А, вон оно что... — припомнил, что с ним случилось. — Я уж было подумал: на тот свет по небу лечу... — Чего-то не хватало. Не сразу понял: мотора не слышно. — Не-

ужто приехали? — Чуть приподнял голову — Только возился на корме. — Заглох? Ну и пусть, все равно». Знобило. Хотел окликнуть сына — передумал: все равно одежкой не согрешься, холод изнутри идет, зря парня побеспокоишь.

«Это я не сейчас замерзаю. Я давно замерзал в тундре, давно. Колхоза тогда не было. Постой, кому я рассказываю? Я тебе, Аня, рассказываю. Тогда я тебе ничего не говорил, чтобы не расстраивать попусту. Потом забыл. Мы с каюром, как же его звали? Илья. Мы с Ильей искали стойбище Нутанвата. Попали в пургу, без этого нельзя, дело обычное. Только у нас всего четыре юколы осталось и на людей, и на собак. Коряки знаешь ведь как ночевали? Рассчитывали через три дня найти, проплутали неделю. Пурга и навалилась. Легли в снег с собаками, сколько дней лежали — не понять. Сны дивные, сладкие снятся. А то ровно душит кто-то лохматый, дышать нечем. Тогда дырочек в снегу напротыкаешь — легче. Лежали как медведи — вспоминать смешно. И тепло, и мягко, одна беда — жрать нечего. Очнулся я так — и точно знаю: скоро замерзну. Не поверишь: легко и радостно стало. Все моему телу тепло, возле печки с мороза так не бывает. Думаю, сейчас усну и не проснусь — и ничего мне не надо будет. Это я так думаю, а что-то меня толкает, толкает внутри: нельзя, нельзя! Сам не знаю почему, встал на четвереньки, сбросил снег. Господи ты мой! Солнце кругом, снег как сахар-рафинад. Растолкал Илью — поехали. Собаки еле тащатся, скулят. Все равно замерзли бы, да пастухи мимо ехали по своей надобности, нашли нас. Не страшно было тогда замерзать. А я молодой был, ты молодая, красивая... Теперь я старый, тебя нет, — умру, как усну. Только жалко. Да ничего, погорюет немного, успокоится, ему жить и жить».

Чихнул и затарахтел мотор. Кузьмич силился вспомнить, где он слышал это. И вспомнил: вчера движок заводил, была такая же тишина, которая потом рассыпалась дробными звуками. Вчера, а будто давным-давно, в другой жизни. Сейчас ближе то, что было двадцать и тридцать лет назад.

Дюралька плавно набрала скорость, покачиваясь, убаюкивая Кузьмича.

Сколько километров намотал он по тундре? Начальником был, инструктором райисполкома... Только расскажи — никто не поверит. Хорош начальник: бороденка козья, весь песцами пропах. А в ту пору каждый мало-мальски грамотный человек был на счету. С бумагами меньше всего имел

дело, ездил по тундре с переводчиком, уговаривал кочевых коряков объединяться в колхоз. Невзгод натерпелся, зато чувствовал причастность к историческому делу. И все-таки тяготился необходимостью приказывать. Когда появилось много грамотных людей, попросил работу попроще, чтобы зря не занимать чужое место. Его упрашивали, но не очень, и направили в Кахтану руководить заготовительным пунктом.

«...Я свое оттопал по земле, мне больше ничего не надо. Толька везет меня сейчас на моторной лодке, ты таких и не видывала. Недавно появились, года три всего. Солнышко светит, березы вон какие на берегу, ровно материковые. Хорошо как... Пусть ног у меня не будет, выползу на крылечко, на мир полюбуюсь, воздухом подышу, и ладно. Я смирно жил, никого крепко не обидел — ни зверя, ни человека. Ты прости, если когда не так с тобой обошелся. Это, если что, сдуру, не со зла. Скоро свидимся с тобой, посмотришь, какой я сивый и страшный стал, а ты теперь намного младше меня. Да что я, дурень, говорю — где мы свидимся? А может, мы не навсегда расстались? Я вот сейчас тебя вижу, какая ты красивая стала. Это мне блазнит уже. Что душегуб сделал — зарубил меня. Он не меня обидел, себя наказал! Я и без ног человеком буду, умру — человеком буду. Себя он наказал — потерял облик человеческий. Ох, худо будет зверю двуногому среди людей жить. Проснется когда-нибудь совесть, изгрызет всего. Почему, Аня, люди не хотят мирно жить, зачем так зла много? Никто не знает... Как его под корень извести? Чтобы вовсе не было зла. А лучше все-таки, Аня, что пострадал я, а не Юрка Сновидов. Он молодой, как ему без ног! А тяжело, тяжело, Аня, вот глаза, что горячим пеплом, жжет... Лишь бы Толька не заметил: рано ему с таких лет в расстройство входить. Ничего, я все стерплю, мне не страшно...»

Моторки бежали, разламывая винтами воду, обрушивая на берега мотоциклетный грохот. Длинные усы волн расходились от лодок, гасли у берегов.

После заседания Громов шел по улице вдоль реки. Солнце спускалось за сопки, полукругом охватывающие село. В долине воздух густел, темнел, зато луг за рекой и дальние сопки освещались пронзительно ярко. Громов бездумно смо-

трел на воду, на луг, на длинный бат, в котором двое мальчишек, отталкиваясь шестью, плыли против течения. Ничего необыкновенного не было в этой привычной, много раз виденной картине. Но вдруг словно дыхание пересеклось. Громов всем существом своим понял, что живет он, а мог бы ничего этого не видеть и не чувствовать. Как вот, наверное, Сальникову уже не будет радости от жизни. При мысли о нем Громову стало стыдно своего здоровья, своей силы, своего благополучия. «Да что ж делать? — подумал растерянно. — Жить-то надо!»

На школьном дворе играли в волейбол. Слышались подбадривающие крики болельщиков, заливался милицейской трелью свисток. Играли по всем правилам, с судьей. И снова, как в Кахтане, его почему-то взволновали звонкие голоса. «Старею», — подумал Громов и усмехнулся: было ему всего тридцать пять лет.

По ложбинке возле бани от реки поднимались люди. Двое шагали как-то странно: один впереди, другой сзади. «Носилки несут, — догадался Громов. — Люди по сторонам... Что там такое? — Подойдя ближе, рассмотрел, что на носилках лежит человек. — Да ведь это Кузьмич! На лодке привезли!»

Прибавил шагу. Бежать с его комплекцией было бы нелепо.

Носилки поставили на землю. Семен Кузьмич лежал неподвижно. Громов остановился в двух шагах от него, не решаясь ближе подойти. «Он... — Громов не осмеливался додумать, — умер. — Со страхом посмотрел на тело, укрытое пестрым верблюжьим одеялом. — Да нет, жив! Рукой шевельнул».

Громов шагнул вперед. «Чего я, как маленький, боюсь!» Опустился перед Кузьмичом на корточки, тихо, словно от громкого голоса Кузьмичу будет плохо, спросил:

— Ну как, Семен Кузьмич? Это я, Громов.

Бессмысленный вопрос... Но что еще спросишь?

Сальников чуть повернул голову вправо.

— А, Дмитрий Яковлевич... Встречать пришел? Отвоялся я...

— Больно? — морщась от сочувствия, спросил Громов, отводя взгляд от одеяла.

— Нет, теперь не больно, — тихо ответил Кузьмич. — Ровно замороженный.

Неожиданно для самого себя Громов выпалил:

— Ты прости меня, Кузьмич... Это я во всем виноват!

— Что ты, что ты! — испугался Сальников. — Бог с тобой! При чем здесь ты! Я уж думал: оно лучше, что так получилось... Я свое отходил. А Юрку Сновидова бы покалечил — парень молодой...

Среди собравшихся поднялся ропот:

— Нельзя таких зверей на свободе держать!

— На старика руку поднял!

— А я ведь, Дмитрий Яковлевич, клязу на тебя хотел сочинить, — Сальников попытался усмехнуться. — Даст бог здоровья, снова начну! Самому мне, ясное дело, не работать...

Громов обрадовался: говорит так — значит, положение не безнадежное.

— Пиши, Семен Кузьмич, куда хочешь пиши! Если мы в чем ошиблись — поправят. И выше области власть есть.

Мелкими и суетными показались сейчас Громову его заботы о строительстве, о выполнении плана. «А про людей забыл!» — расстроено подумал Громов. Он не был ни черствым, ни равнодушным человеком. Обычный руководитель, может быть, лучше многих. Всегда находил время выслушать просьбу и по мере сил удовлетворить ее. Он заботился о том, чтобы колхозники жили в хороших домах, сытно ели, тепло одевались. Не был ни грубым, ни заносчивым. Не в чем себя упрекнуть — спроси хотя бы у Петра Трапезникова, который рядом стоит.

Но Громов умиленно казнил себя: «Все мы люди, всем надо вместе держаться. Тогда такие, как Лямзин, и пикнуть не посмеют. Никого я не обидел, никого не изругал даже. А люди для меня чужие, человеко-единицы. Вот Кузьмич другой человек! Люди для него люди. — Он увлеченно продолжал клеймить себя: — Я ведь и реорганизацию колхоза затеял, чтобы себя возвеличить. Ну, это ты, брат, заливаешь, не я это начал, сама жизнь диктует изменения. А все-таки есть, есть немного честолюбия... Завтра я совсем по-другому буду жить». В чем это должно было выразиться, Громов не отдавал себе отчета, но уверял себя, что совершенно изменился, что ему открылось нечто важное и новое.

Подкатила единственная на весь район санитарная машина. Громов взялся за носилки.

— Выздоровливай, Семен Кузьмич! — крикнул на прощание.

Рядом с водителем сел широкоплечий парень в солдатской форме — сын Семена Кузьмича. Громов хотел сказать ему что-нибудь утешительное, но не нашелся.

Машина тронулась, поднимая пыль.

Громов постоял, посмотрел ей вслед и пошел дальше.

На том берегу мальчишки жгли костер. Дым белесой полосой тянулся вдоль реки. Горьковатый запах напомнил Громову время, когда он мальчишкой жег бурьян и прошлогоднюю траву.

«Все будет хорошо, — размягченно подумал Громов, — и с Кузьмичом, и со мной, и со всеми».

Анатолий Жульков



* * *

Где-то между Брянском и Орлом,
Где-то между полем и селом,
Под зеленой кроной дерева,
Кровь осталась моего отца...
Та война закончилась давно.
Но когда вдруг вижу я в кино
Кадры старых хроник фронтовых —
Вновь отец идет среди живых,
И недолог до победы путь...
Но насквозь пробита пулей грудь,
А из окровавленной земли
Маки поднялись и расцвели.

Наталия Ивасенко



ПРИЗНАНИЕ

Рассказ

Мне обидно, что у нас так нелепо все получилось. Я так ждала этих важных для меня слов: «Я люблю тебя, Анечка!» — и вот они. А у меня нет радости. Конечно, я преувеличиваю сгоряча. Радость все равно есть, но не та кристальная, без примеси. Моя радость чуть померкла, потускнела, что ли. Я знаю, она могла бы быть другой.

Еще вчера вокруг меня все было знакомое, уже где-то виденное: на фотографии, или в кино, или где-то еще. Я видела яркую лампу над столом, глаза хирурга и белый ровный потолок. Перед моими глазами вешали простыню, и в загороженном белом мире мне становится страшно: взгляд перед собой — белая простыня, взгляд вверх — белый потолок. И все. И белое для меня в этот час не чистота, а бесконечность и равнодушие. Мне страшно. И вся моя жизнь до операции представлялась маленькой и далекой. Я понимаю — это от страха, это, наверное, пройдет. Пройдет, как только кончится операция.

Мне надо успокоиться. Как-то успокоиться. Ведь многие говорят, что это не так уж опасно. Аппендицит. Конечно, немножко будет больно. Но надо терпеть. Все терпят, когда надо. И я должна терпеть.

— Постарайтесь думать о чем-нибудь хорошем, — слышу я голос хирурга. — И не волнуйтесь. Все будет в порядке.

Я хватаюсь за его слова. И не выпускаю их. «Все будет в порядке». Да, да, так и должно быть. И еще: «Не волнуй-

тесь», — да, правильно, нечего волноваться. Я ведь и сама стараюсь успокоиться. Но не это главное в его словах... «Постарайтесь думать о чем-нибудь хорошем» — вот это самое главное. Надо думать о хорошем, и мне станет легче. И как я сама об этом не догадалась? Ведь это так просто — думать о хорошем.

Что же у меня хорошее? Оно, конечно, есть. Только теперь надо успокоиться и вспомнить все по порядку.

Все так перемешалось, что не знаешь даже, с чего начать. Важно только начать — потянуть за нитку и не оборвать ее, тянуть до конца. Надо думать, думать, думать только об этом и больше ни о чем. Но мне больно, и потому я шепчу:

— Мне больно!

— Да, сейчас будет немножко больно, но надо потерпеть, — говорит хирург.

Да, конечно, я буду терпеть.

Так на чем же я остановилась? Забыла, о чем думала. Мне казалось раньше, что в моей жизни много хорошего. Так казалось мне раньше, пока я не задумалась об этом. Я обязательно вспомню, что было у меня хорошего, — только сейчас это сделать трудно.

Вот кончится операция, и я буду лежать в палате и вспоминать хорошее. А сейчас мне ничего не приходит в голову или приходит все печальное. Сколько можно смотреть на эту белую простыню и белый потолок? Но закрыть глаза я тоже не могу. Хоть бы были на простыне какие-нибудь узелки или дырки, ничего нет — гладкая, равнодушная. Теперь мне понятно, что такое равнодушие. Равнодушие — когда между людьми белая простыня и когда не видно глаз, что в них — боль, страдание, радость? Равнодушный ничего не увидит.

— Сейчас еще немножко будет больно, — предупреждает хирург.

Хорошо, что он предупреждает. Скоро ли все кончится? Опять я отвлекаюсь. Опять я забыла о том, что мне надо думать о хорошем. А если детство? А что детство? Бесконечные ссоры отца с матерью и моя просьба: «Папочка, не надо!» Что «не надо» — я не добавляла, и так было ясно: не надо ругаться, сердиться, драться — ничего этого не надо. Так кричат все дети, когда ссорятся их родители. И я кричала и просила: «Папочка, не надо!»

Зря я кричала, отец все равно ушел от нас с матерью.

Когда началось мое детство и когда оно кончилось? Не знаю. И юность от меня очень далеко, хотя мне всего двадцать пять. Но и детство, и юность — теперь это не самое главное для меня. Понятно, что все это прошло и можно не возвращаться к этому. Школа, уроки, подруги — какое это имеет отношение ко мне сегодняшней? Ко всему, чем я живу с тех пор, как начала работать? Мне двадцать пять, но я еще не замужем. И никто: ни моя мать, ни мои подружки не знают о том, как мечтаю я о замужестве. Даже самой себе я боюсь признаться в этом. Они думают — раз я встречаюсь с Вадимом, значит, я счастлива. Может быть, мать и догадывается обо всем, не знаю, может быть. Но мы стараемся с ней не говорить о моих встречах с Вадимом. Она не спрашивает, а я первая не буду говорить о том, что меня мучает. Зачем ей знать, она ведь мне все равно не поможет.

Для меня все так просто. Увидела и полюбила. Я люблю его. И для меня формула любви очень проста: «Я не могу жить без этого человека». И странно мне, когда приходится слышать: «А что такое любовь?» Какие-то диспуты устраивают, о чем-то спорят, кто-то пытается за кого-то решить, кто-то пытается кого-то научить, надоумить, проучить, когда так все просто: «Я не могу жить без этого человека». Как заклинание, как ежедневная молитва. И встречи с ним для меня и радость и страдание одновременно. Радость — потому что наконец-то вместе, страдание — потому что впереди опять разлука. И замужество для меня это не Дворец бракосочетания, цветы, машины с переплетенными кольцами новобрачных, суета, поздравления и испокон веков придуманное «горько!». Нет, для меня замужество — это уверенность, что любимый рядом, он постоянно со мной, и ему не надо куда-то вечером бежать, и я уверена, что утром он опять рядом.

Вот уже год мы знаем с Вадимом друг друга. И я не скрываю своего: «Я люблю тебя! Я люблю тебя, милый!»

— Сейчас зашьем, и все, — слышу я голос хирурга.

Наверное, обманывает, успокаивает. Потому спрашиваю недоверчиво из своего белого мира:

— Это правда?

— Только на свиданиях мы говорим неправду, — отвечает шутливо хирург. — А на столе мы говорим правду.

Значит, правда! Слава богу! Вот теперь я смогу думать спокойно. И теперь я смогу вспомнить все хорошее, что у меня было.

В палате темно.

— Постарайтесь заснуть, — говорит хирург и выходит.

Вот теперь, вот теперь мне надо все вспомнить, но я не могу. Я просто не могу, потому что... вот теперь-то началась настоящая боль.

На столе было страшнее, зато теперь стало больнее. И эта боль, так же как раньше страх, мешает мне думать. Мне опять не сосредоточиться. Вокруг меня стоны, вздохи, и только в углу кто-то храпит. Скорее бы утро. Может, мне станет легче. Скорее бы утро. Утром ко мне должна прийти мама.

Но первым в палату вошел Вадим. Я даже не узнала его сразу. Он стоял в дверях в белом халате, тревожно вглядываясь в наши лица. Я никак не ожидала увидеть его. Он, видимо, это понял по моему больше растерянному и удивленному, чем радостному лицу. И потому строго, почти сурово, как будто я в чем-то провинилась, объяснил мне:

— Я не спал всю ночь. Еще вчера узнал, что ты в больнице. И не мог спать всю ночь.

Я все еще не верила своим глазам — передо мной Вадим.

— В институте сегодня был только на двух первых лекциях, а потом ушел. В гардеробе столкнулся со старостой Димкой Петровым, он спросил: «Куда ты?» — «К жене, — говорю я, — она в больнице». Он обалдел и спрашивает: «А разве ты женат?» Вот дурак, вместо того чтобы спросить: «А что с ней?» — спрашивает: «А разве ты женат?» — «Да, — отвечаю я ему, — через несколько дней женюсь». Он, по-моему, так ничего и не понял.

Я замираю от услышанного, а Вадим вытаскивает из портфеля цветы.

— Надо бы поставить их в воду...

Я смотрю на него, слушаю и думаю: не бред ли все это, не галлюцинация ли после операции, после наркоза? Но нет, вот он рядом, и цветы. Он низко наклонился ко мне и в самое ухо сказал так, чтобы слышала только я:

— Я люблю тебя, Анечка!.. Я понимаю, ты скажешь, вот нашел место для объяснения в любви. За год не мог найти пяти минут и теперь объясняется в больнице. А все потому, что глуп был, боялся тебе признаться, думал, скажу — а ты цок-цок-цок на каблучках и убежишь.

Странно, я как будто отталкиваю это столь желанное раньше, еще какой-то день-другой, признание. Чувствую, как во мне поднимается целая армия маленьких злых стрелков,

которая ополчается на Вадима. Я-то молчу, а стрелы так и летят в его сторону: «Значит, обязательно надо, чтобы что-то испугало, встряхнуло, хотя бы аппендицит, операция? А так просто, как я, не задумываясь, признаться в своем чувстве нельзя, что ли?»

Он отбрасывает мои мысленные стрелы в сторону:

— Я бы все равно сказал тебе то же самое, только, возможно, чуть позже. Думал, ну встречаемся, и хорошо. Вот кончу институт — тут и поженимся...

«Ну да, к чему торопиться делать другого человека счастливым? Зачем? Мне хорошо, и ладно». — Опять летят в него новые мои стрелы.

— Не сердись. Пойми меня.

«Понимаю. Понимаю...»

Меня злит, что я лежу сейчас такая некрасивая, что мне плохо после наркоза, что, в конце концов, я даже не могу поцеловать его — мне трудно сделать малейшее движение, и, кроме того, в нашей палате еще девять коек, и, конечно, за нами наблюдают. Я не могу сдержаться и с горькой усмешкой передразниваю его:

— «А ты цок-цок-цок на каблучках и убежишь». Смешно... — грустно вздыхаю я.

— Вот и хорошо, — радуется Вадим. — Посмейся, тебе полезно. Говорят, от смеха поправляются быстрее...

А мне больше всего обидно: если бы его признание было раньше! Как оно помогло бы мне вчера! Мне не было бы так страшно. Я бы знала, что рядом, совсем рядом, есть человек, который любит меня, которому я нужна. И мне легче было бы перенести боль. И слова хирурга: «Постарайтесь думать о чем-нибудь хорошем» — не застали бы меня врасплох.

И я плачу от обиды. Плачу, а сама понимаю: нельзя, нельзя портить нашу встречу — и потому говорю Вадиму:

— Это я от радости. Не обращай внимания.

А самой так обидно, что у нас нелепо все получилось. Я так ждала этих важных для меня слов, и вот они: «Я люблю тебя, Анечка!»

Мне почему-то снова вспоминается мой вчерашний белый мир. Белая простыня без узелков и дырок. И тут же слышится: «А ты цок-цок-цок на каблучках и убежишь». Грустно. Никуда не убегу. Глупости все.

ПОТОМУ ЧТО У МЕНЯ АЛЕШКА

Рассказ

Иногда кажется, что где-то рядом иная жизнь. Совсем рядом, возможно за стеной, через улицу, в другом доме. Там обязательно интересные встречи, умные разговоры, музыка. Так мне кажется. В такие минуты, когда отчетливо представляешь, что есть где-то то, чего нет у тебя самой, особенно чувствуешь себя одиноко и неустроенно. И опять стыдно за Алешку, нет, не за Алешку, за себя стыдно, за то, что он есть у меня. Алешка — годовалый малыш. Не в нем дело. Его можно оставить на вечер с тетей Клавой. Она всегда согласна посидеть с ним. Не в нем дело. Он не мешает. Я сама стала какая-то нескладная, неловкая, нерешительная. Не умею знакомиться, кокетничать. Я не умею теперь вот так просто: «ха-ха» по разным пустякам. И потому всегда одна.

Тоня уговорила меня пойти к Юрию. Уговаривать пришлось недолго. Я только спросила:

— Вам-то не помешаю?

Тонька смеется:

— Я тебе по дороге все расскажу.

Я смущаюсь, когда со мной делятся секретами. Краснею, наверное потому, что не могу понять: зачем? — и стараюсь поскорее забыть обо всем, что слышала. Не нужны мне чужие тайны. С ними мне как-то неловко. Они мешают мне жить.

На улице мне было холодно, потому что я волновалась. Тоня все повторяла, что Юрий и особенно его брат Игорь такие интересные парни.

Я буду рада, если у нее все получится, как она хочет. Юрия она любит. Что ж, ведь есть же настоящие ребята. И Тонька такая хорошая девчонка. Бежит рядом, торопится. И снег делает ее совсем молодой. Поблескивают узкие глазки, губы яркие — такая должна нравиться. Я рада за нее. Пусть торопится. И, глядя на нее, мне тоже хочется торопиться. Только я немного волнуюсь. Юрия я не боюсь, хотя и не знаю его, он Тонькин, и все. Чего мне волноваться? Но вот Игорь! Какой он? И все время стараюсь думать: а мне-то что? Вчера еще его не знала, сегодня узнаю. Ну и что? Ничего не изменится. И когда мы подошли к дому Юрия, я почти успокоилась.

Дверь нам открыл Юрий. Невысокий, полный, развел руки и заулыбался:

— Замерзли, а?

— Немножечко... Знакомьтесь!

Он повесил наши пальто и перед дверью своей комнаты:

— Прошу!

Комната поделена пополам. В его половине нет окна, она, видимо, плохо проветривается, и потому в ней постоянный старый запах табака.

— Что будем слушать, Тонечка, а?

Тоня весело смеется:

— Давай вчерашнее!

— О, так решительно, Тонечка, — и включил магнитофон. Слушаю. И от похабных песенок не знаю, куда смотреть.

— Сила, а? — спрашивает Юрий.

Я киваю головой и стараюсь не смотреть на него. Мне неловко за мою растерянность. Я же знаю, чего они ждут от меня, — восхищения. Тоня отбивает ножкой ритм, в такт покачивает головой, а я жалко улыбаюсь, мне душно, и я мну свои руки.

За моей спиной они потихоньку целуются. Краем глаза вижу его руку у нее на колене. И еще больше отворачиваюсь и натягиваю на колени юбку.

В комнату вошел Игорь. И не поздоровался, и не познакомился, а сразу спросил:

— Тоня, ты видела у меня эту книжицу? — Он протянул ей маленькую обтрепанную книжку: — «Медицина страстей».

— Нет, не видела.

— Посмотри. А тебе, — это уже взгляд из-под очков на меня, — «Моды Японии».

Мне смешно. Я взяла журнал. Кимоно, юбки, кофты, халаты. Вот чудак, дал мне «Моды», неужели подумал, что модница. Если бы знал, что на мне единственный костюм — прошлогодний подарок матери. Я смотрю журнал и улыбаюсь, а Игорь стоит рядом и шепчет:

— Какие женщины!

А слева магнитофон. Он пятый в комнате и не молчит ни минуты. «А мне плевать, мне очень хочется...» Романс про вора, про его любовь с первого взгляда. Он несколько дней не воровал, но она сказала, что отдастся ему по дешевке...

Потому что у меня Алешка, и мне можно такие песенки слушать, со мной могут не считаться. Не имею я, наверное, теперь права на что-то другое. Не так бы все было, если бы не он. Но они знают, что у меня есть Алешка. Тоня им, конечно, сказала.

... А на нейтральной полосе цветы
Необычайной красоты...

Юрий влился в кресло, будто в форму. Угостил нас вином, яблоками. Сам молча ест изюм — это его любимое, как он признался. Игорь не перестает спрашивать, читала ли я то или другое — и все о сексе.

И почему-то делается неловко не за него, не за то, что он прочитал такие книги и теперь вот хвастается передо мной, а за себя, за то, что я вынуждена слушать его.

— А я люблю забраться в Публичную библиотеку и читать про это самое... — Он улыбается.

А я краснею. Он дает мне еще одну книгу, на этот раз толстый том «Женщина». Вспоминаю, у Лоханкина было два излюбленных тома: «Мужчина» и «Женщина».

— Уж не из собрания ли Лоханкина эта книга? — спрашиваю я и все хочу свести к шутке.

Но Игорь уже листает страницы. Сколько иллюстраций... и все какой ужас! Я прошу его закрыть книгу.

— Что же ты читаешь? Агату Кристи? — спрашивает меня Игорь.

— Нет, детективом тоже не увлекаюсь.

— Покажи ей рыбок! — ласково предлагает Юрий.

— Пойдем, посмотришь моих рыбок, — говорит Игорь.

Я взглядом спрашиваю Тоню, идти ли. Она кивает и даже просит:

— Иди!

Иду. Коридор. Комната. Узкая, тускло освещенная. Железная койка. Стол. Полка книг. Цветы в горшках. Их очень много. Четверть комнаты или больше. На окне, на полу, на специальных подставках. Февраль, а листья сочно-зеленые, крепкие. И аквариум в зелени. Плоские, широкие рыбки тычутся в стекло тупыми носами.

— Чего раньше-то не приходила? Люблю я баб...

Это потому, что Алешка у меня. Со мной поэтому все можно! Так думает.

Попытался обнять. Увернулась и посмотрела на него прямо, как надо. Как надо было смотреть уже давно.

— Ну чего ты?

— Пусти!

Тонька еще осталась, а я ушла. Я бежала домой, и мне больше всего хотелось поскорее вымыть руки. С мылом.

Дома вымыла руки и переделалась. Но почему-то это не



помогло. Не могла успокоиться. Не могла до тех пор, пока не пошла к тете Клаве за Алешкой. Успокоилась, когда взяла его на руки. Прижала к себе. И наконец-то стали затухать голоса:

- ...Замерзли, а?
- Что будем слушать, а? Тонечка, а?
- «Медицина страстей».
- Какие женщины!
- Покажи ей рыбок! ..

Плоские, широкие рыбки тычутся в стекло тупыми носами. И надо всем этим единственная строчка, которая была для меня:

... А на нейтральной полосе цветы
Необычайной красоты. . .

Валерий Мельников



ГЛАВНОЕ

На февральском озере — рыбак.
Кофе пьет.
Стаканом служит крышка
Термоса.
Постукивает в такт
Валенком.
«Что главное? Мормышка!»
Слалом.
Вот где можно загреметь!
Мощный спуск.
Как на хорошем «КрАЗе».
«Главное, — сказал спортсмен, — иметь
Порцию хорошей лыжной мази».
Девушка приподнимает бровь.
Стряхивает снежную частичку.
«Девушка, что главное? Любовь?» —
«Главное. . . успеть на электричку».
Вот старушка движется едва.
Солнце освещает ей дорогу.
«Главное, мой милый, что жива.
Сам здоров?» —
«Здоров». —
«И слава богу!»

* * *

Твое лицо,
Такое странное,
Должно быть, вылепил февраль.
Смотрю в глаза твои туманные
И не пойму, чего мне жаль?
И не пойму твою особенность
Гореть загадочным огнем.
И не пойму, чего я, собственно,
Нашел загадочного в нем?

Виктория Вартан



КОРКОТ,¹

или За бабушкой нужен глаз да глаз...

— Мец-Майрик, когда сварить коркот? — каждый день приставал я к бабушке, потому что лучше нее никто не мог приготовить кашу из коркота.

— Не знаю, Геворг-джан.

— Почему?

— Потому что коркот вышел весь. Правда, в кладовке осталось немного пшеницы, но ведь ее еще нужно смолоть в коркот.

— А ты ее смели, вот и будет из чего варить кашу, — не отставал я, потому что было немисливо приехать на летние каникулы в Дзорагерт и не отвежать бабушкиной каши из коркота.

— Ну ладно, завтра мы с тобой ходим к дедушке Ашоту и попросим его смолоть пшеницу, а вечером сварю тебе кашу.

Наутро Мец-Майрик попросила у Акопа Мурадянца, по прозвищу Настоящий Мужчина, серого осла, перекинула через его спину небольшую переметную суму, наполненную последними запасами пшеницы (было раннее лето — время, когда кончается прошлогодний урожай, а новый еще только начинает созревать), поверх переметной сумы уселся я, что, разумеется, привело меня в совершенно неопиуемый восторг, и мы отправились на мельницу, что стояла в верхней, самой узкой части Дзорагертского ущелья на небольшой, но очень шумной горной речке.

¹ Каша, приготовленная из пшена (*арм.*).

Утро было солнечное, веселое, а настроение — радостное, во всяком случае у меня: во-первых, я сидел на осле, и сидел уверенно, как настоящий наездник (эх, жаль только, что меня не могли увидеть мой младший брат Грантик и другие мальчишки!), во-вторых, я ехал на мельницу, где любил бывать. Старая водяная мельница с почерневшими от времени, затянутыми белой паутиной балками, с огромными каменными жерновами, со старым (мне тогда казавшимся древним) седобородым мельником, брови, усы и плечи которого были почти белыми от мелкой мучной пыли, носившейся в воздухе, — действовала на мое детское воображение, и всякий раз мне казалось, что я переносусь в какой-то таинственный, сказочный для меня мир...

— Чу! — погоняла Мец-Майрик осла, легонько ударяя его по крупу тонким прутиком.

— Чу! — гордо повторял за ней я, очень надеясь, что по дороге встречу Грантика или кого-нибудь из мальчишек.

Но ничто не могло ускорить ровный, мерный шаг нашего соседского осла. Это был осел очень добродушного, уравновешенного нрава, к тому же себе на уме: он тратил ровно столько сил, сколько было необходимо, и ни на йоту больше, — ничего общего с тем сумасшедшим ослом, которого мы встретили за виноградниками две недели назад. В общем, с этим ослом мы сразу же поладили.

Не прошли мы и ста метров, как Мец-Майрик окликнула Сопан, бабушкина подружка:

— Ахчи, Машок, далеко ли собрались?

— На мельницу.

— Зачем?

Я с удивлением посмотрел на нее: зачем еще идут люди на мельницу?

— Да вот осталось у меня немного пшеницы — везу к Ашоту смолоть в коркот.

— Хорошее дело, Машок, хорошее... А у нас уже давно пшеница кончилась. Думала, дотянем до нового урожая, да не вышло — больно много голодных ртов в доме. Ну, с богом, идите...

— Чу! — обрадованно крикнул я, тронув с места осла.

Но, увы, радость моя была преждевременной, потому что едва мы отделились от дома тетушки Сопан, как бабушка, заметив за невысокой оградой молодую женщину, развешивавшую во дворе белье, сказала:

— День добрый, Аник-джан!

— Добрый день, тетушка Машок, куда это вы с утра пораньше?

— На мельницу — смолоть пшеницу в коркот. А что пишет Гурген с пронта, много пашистов перебил?

— Много, тетушка Машок, — улыбаясь, ответила молодая женщина. — Пишет, скоро будут в Берлине, может, через месяца два.

— Чу, чу, — с нетерпением ударил я пятками осла. Частые остановки и разговоры бабушки с сельчанами отнюдь не увеличивали удовольствие от езды на сером. Впрочем, дома стали редеть, и я надеялся, что нас больше никто не оставит.

Но не тут-то было. Спустя пять или десять минут мы увидели дедушку Авага: он сидел у своей калитки и курил черный чубук. Дедушка Аваг — самый старый житель Дзорагерт-а и, хотя ему недавно стукнуло сто двадцать лет, держался молодцом, правда, стал лишь немного туговат на слух, да и то ни за что не хотел в этом признаваться. Поговаривали даже, что он в прошлом году чуть было не женился на тетушке Сатеник.

Когда я поравнялся с ним, он спросил старым, дребезжащим голосом:

— Айта,¹ куда путь держите?

— На мельницу, — ответил я.

— Куда, говоришь?

— Я говорю: на мельницу идем!

— Куда-куда, ты сказал? — спросил он в третий раз, приставив руку раковинкой к уху и весь подавшись вперед.

— Я сказал: на мельницу!!! — заорал я во все горло, да так громко, что осел подо мной шархнулся в одну сторону, а дедушка Аваг от неожиданности отпрянул в другую.

— Вай, да не обрушится кров над твоей головой! — воскликнул надтреснутым голосом он. — Зачем так орешь, айта, да что я, глухой, что ли?

До мельницы было около часу быстрого ходу, не более, но мы до нее добрались к полудню, потому что дорога туда лежала через все село, и Мец-Майрик то и дело останавливалась, чтобы поговорить с сельчанами; задавать любопытные вопросы для дзорагертцев было столь же естественным

¹ Обращение к мужчине, мальчику (арм.).

делом, как и для Мец-Майрик отвечать на них. Никому из них не приходило в голову досадовать на это. К тому времени, когда мы добрались до мельницы, всему Дзорагерту, кажется, стало известно, что Мец-Майрик с внуком отправились на мельницу смолоть пшеницу в коркот.

Когда мы наконец добрались до мельницы, то застали старого мельника за едой.

— Добрый день, Ашот! — закричала Мец-Майрик, стараясь перекричать грохот от крутившихся огромных жерновов и шум падающей воды. — Вот привезла немного пшеницы, смели-ка в коркот!

— Здравствуй, здравствуй, Машок! — заорал в ответ старый мельник, стряхивая крошки хлеба с бороды и усов. — Говоришь, помолоть нужно пшеницу? Вай, почему же не помолоть? — Он, кряхтя, поднялся на ноги. — А это твой внук? — спросил он, будто видел меня впервые, глядя на меня с высоты своего огромного роста, — его мохнатая барашковая шапка почти упиралась в черные балки.

— Да! — ответила бабушка, которая показалась мне очень маленькой рядом с великаном мельником.

— А почему он такой бледный?

— Так ведь он недавно приехал из города! Они там все такие!

Пока пшеница под тяжелыми гремящими жерновами превращалась в коркот, я успел облазить всю мельницу. Однако спустя час или полтора Мец-Майрик позвала меня: коркот был смолот, и пора было возвращаться в село.

Когда мы возвращались домой, нас столь же часто оставляли сельчане, как и по дороге на мельницу. Солнце уже садилось за горами, когда мы наконец вернулись домой. На Дзорагерт уже начали опускаться сумерки, слышались мычание возвращавшихся с долины коров, лай потревоженных собак, громкие возгласы соседей — обычные деревенские звуки, наполняющие воздух в предвечерние часы.

— Геворг-джан, ты разожги огонь в очаге, а я пока буду просеивать коркот, — обратилась ко мне Мец-Майрик, как только мы переступили порог.

Я принялся разводить огонь в старом закопченном очаге — аркообразной нише в левой стене открытой веранды, а Мец-Майрик при свете подвешенного керосинового фонаря стала просеивать коркот: отделять крупный помол от мелкого.

Только я успел развести огонь в очаге, как на веранде словно из-под земли вырос лопоухий Тутуш, мой дзорагертский приятель. В руках он держал большую глиняную посуду.

— Тетушка Машок, — сказал он Мец-Майрик, — мама просила одолжить немного коркота, — и, не дожидаясь ответа, протягивает вперед свою огромную посудину.

— Хорошо, давай сюда, — сказала Мец-Майрик, до краев наполнив протянутую ей посуду.

После ухода Тутуша огонь весело запылал в очаге. Мец-Майрик принесла казан¹ с разбавленным молоком и поставила на треножник, стоявший над огнем. Голубоватое разведенное молоко стало медленно закипать в казане, когда калитка, стукнув, впустила во двор старого Авага — того самого, которого мы встретили по дороге на мельницу.

— Ахчи, Машок, ты дома? — громко спросил он, поднявшись на веранду.

— Да, Аваг-даи², — дома, — ответила Мец-Майрик как можно громче, выйдя на веранду. — Присаживайся на тахту, гостем будешь.

— Некогда, Машок-джан, дома ждут голодные правнуки. Пришел за коркотом, может, поделишься с нами, а? — сказал он и протянул бабушке эмалированную чашу.

— Почему не поделюсь, конечно, поделюсь, — сказала она, доверху наполнив чашу коркотом.

Следом за дедушкой Авагом пришла за коркотом бабушкина подружка Сопан, потом пришел сын нашего другого соседа Завен, затем пришла жена Акопа Мурадянца, того самого, на чьем осле мы с бабушкой повезли на мельницу пшеницу, затем Аник — помните? — ну, та самая, у которой муж на фронте, потом еще несколько человек, имена которых я не помню, но хорошо знал их в лицо. И удивительнее всего то, что всем им в этот вечер захотелось каши из коркота!

Когда наконец мы остались одни, я сказал бабушке:

— Мец-Майрик, скорей давай коркот, а то молоко выкипает в казане.

— Коркота уже нет, — в растерянности ответила бабушка.

— Как нет? — в изумлении спросил я.

— Так... Все раздада... — виноватым тоном ответила Мец-Майрик.

¹ Медный луженый котел с широким дном (арм.).

² Дядюшка (арм.).

— А нам... нам почему не оставила? — я чуть не плакал от обиды.

— Не знаю... — с грустью ответила Мец-Майрик и, опустив глаза, стала рассматривать свои старые лежавшие на коленях руки, потом вдруг воздела их к небу и громко, торжественно, будто произнесла клятву, сказала: — Вай, Гитлер, пусть на твою голову обрушатся все беды и несчастья, какие ты принес нам и нашим детям. Аминь!

Я обалдело глядел на Мец-Майрик: при чем тут Гитлер? Сама ведь раздавала своими руками коркот...

— Вот что, Геворг-джан, принеси миски, разольем молоко, накрошим туда хлеба и будем ужинать, — сказала мне Мец-Майрик как ни в чем не бывало.

Я ел тюрю и злился: подумать только! Мы потратили целый день, чтобы помолоть пшеницу в коркот, и теперь кто-то ест в свое удовольствие вкусную кашу, а я должен есть тюрю из хлеба и разбавленного молока! Вот уж правда, что за бабушкой нужен глаз да глаз...

ТОСТ

Рассказ

Так уж случилось, что единственной отрадой и утешением моей престарелой бабушки на старости лет оказался я, студент Ленинградского училища имени Мухиной. Что подедаешь, война успела сделать свое черное дело и у нас в семье, отняв у бабушки Машок двух сыновей и невестку, то есть мою мать.

За два года учения я ни разу не съездил навестить свою бабушку — отчасти из-за вечной нужды в деньгах, а отчасти из-за дальности расстояния, но если уж говорить начистоту, то в этом виноват красавец город на Неве с его великолепными музеями и театрами; я без устали, с ненасытным интересом черпал из этого неиссякаемого кладезя культуры. Для меня, деревенского парня, это было настоящим откровением. Короче говоря, мне никак не удавалось выкроить время и деньги, чтобы съездить в свое родное село, расположенное почти у южной границы страны.

В конце прошлого лета я наконец съездил к бабушке.

Нет нужды говорить, что мой приезд из далекого Ленинграда в село стал событием, послужившим поводом для моей бабушки, двоюродных дядюшек и тетушек, их детей и внуков устроить кеф — пирушку. Закололи молодого барашка, выкатили из подвала бочонок с вином, накрыли стол во дворе, прямо под огромным развесистым тутовым деревом, и вся моя родня от мала до велика уселась за него.

И вот, когда Айказ-даи, лучше которого на всем селе не сыскать тамады, встал, за столом мгновенно смолкли все разговоры.

Сразу же посерьезнев, он поднял рюмку и, повернувшись к бабушке, сидевшей рядом со мной в своей обычной позе — прикрыв ладошкой рот, — начал торжественно и с расстановкой:

— Дорогие родственники, с незапамятных времен в Армении принято первый бокал за столом пить за здоровье старших, и вот, следуя этому славному обычаю наших предков, я предлагаю поднять первый тост за самого старшего члена нашей семьи, за здоровье нашей бесценной Мец-Майрик! ¹ Да, да, Мец-Майрик, не маши руками, мы все хотим выпить за твое здоровье и пожелать тебе долгой жизни. Тебе сколько сейчас, восемьдесят пять? Что такое восемьдесят пять, если вспомнить, что дедушка Ашот — мой сосед — на прошлой неделе на девяностом году своей жизни женился в третий раз? А старый прапрадед Тонунцев? Кому не известно на селе, что в прошлом году он отпраздновал свое столетие? Да разве на селе это только известно? Об этом знает вся страна. Даром, что ли, приезжало столько народу на это празднество: записывали что-то, щелкали своими фотоаппаратами. Говорят, даже скоро приедут из города снимать дедушку Авага в кино. Ты, Мец-Майрик, должна тоже прожить долгую жизнь, чтобы прославить и наш род, как это сделал старый Аваг Тонунц! Мец-Майрик-джан, твое здоровье!

Мы все встали из-за стола, потянулись бокалами к Мец-Майрик:

- Твое здоровье, Мец-Майрик-джан!
- Долгих лет тебе, Майрик-джан!
- Свет твоим глазам — внук твой приехал!

Мы уже готовы были осушить поднесенные ко рту бокалы с вином, но...

¹ Старшая в роду, бабушка, дословно — старшая мама (арм.).

— Кому не известны заслуги нашей дорогой Мец-Майрик, — продолжал свой тост Айказ-даи, — да, да, нашей Мец-Майрик, потому что, хоть ты и приходишься моим детям двоюродной бабушкой, а моим внукам двоюродной прабабушкой, но все они твои дети: и Тигран, и Самвел, и Сиран, и Сатик. Так вот скажу я вам: кому не известно, что наша бабушка, наша Мец-Майрик, была бессменной поварихой в колхозе с первых лет коллективизации и до самого недавнего времени. Без малого сорок лет! Во время войны, бывало, сварит Мец-Майрик суп из одной пшеничной крупы, воды и масла, но какой это был суп! Язык проглотишь! До чего вкусна бывала похлебка! Да и сейчас всякий раз, проходя мимо твоего дома, — тут Айказ-даи снова повернулся в сторону Мец-Майрик, — ноги сами сворачивают к тебе во двор — поесть чего-нибудь из твоей вкусной стряпни. Э-э, да что тут говорить, вот перед каждым из вас стоит шашлык, потяните носом, слышите, какой аромат, какое благоухание? Небось слюнки уже текут, а? — Я с грустью и вожделением бросил взгляд на остывавший передо мной шашлык и проглотил голодную слюну. — Так прав я или не прав — кто у нас в селе сравнится с Мец-Майрик в умении готовить мясо для шашлыка? Разве не истину я говорю?

— Святая истина, Айказ-даи...

— Да разве кто спорит?

— Да уж кому-кому, а нам это лучше всех известно... — поддержали его несколько голосов.

— Так вот, давайте же, дорогие родственники, выпьем за здоровье самой лучшей стряпухи на селе! Твое здоровье, Мец-Майрик-джан! — перекрыл все голоса зычный голос Айказ-даи.

Снова мы подняли бокалы, снова мы потянулись чокаться с бабушкой нашей, застенчиво прикрывавшей левой ладонью довольную улыбку на лице, и с наслаждением поднесли вино к пересохшим, жаждущим губам, но... тут снова раздался голос Айказ-даи:

— А какая наша Мец-Майрик мастерица ткать ковры. Кхе-кхе. — В этом месте Айказ-даи, поперхнувшись, закашлялся, но мы, разумеется, терпеливо ждали, пока он откашляется. — Да, кхе-кхе, я спрашиваю — у кого дома не висит ковер, ¹ вытканый нашей Мец-Майрик, а? А разве и сейчас

¹ Пестрый безворсовый ковер (арм.).

ее неутомимые руки не ткут какой-нибудь внучке коврик на приданое? Кто из нас в ее годы будет способен на такие дела? Никто! — торжествуя себе с удовлетворением ответил Айказ-даи. — Так вот, давайте же осушим все бокалы за золотые руки нашей дорогой бабушки! Мец-Майрик, твое здоровье!

Младшие члены нашего многочисленного рода, притомившись, уже давно спали, уютно устроившись на коленях своих матерей, но мы, взрослые, стойко продолжавшие внимать тосту Айказ-даи, страхнув с себя оцепенение, со вздохом облегчения поднесли к губам вино, но... в эту секунду взгляд Айказ-даи случайно упал на меня.

— Геворг-джан, мы все очень рады, что ты, проделав такой длинный путь, приехал навестить свою бабушку, — начал с серьезной миной Айказ-даи. Я со вздохом сожаления поставил рюмку на стол, бросил тоскливый взгляд на застывший шашлык. — А за Мец-Майрик ты, дорогой, можешь не беспокоиться. Правда, живет она одна в своем доме, и прихворнуть может, и нужда какая может объявиться, верно ведь я говорю, Геворг-джан? Ну, а мы? — Айказ-даи обвел грустными глазами всех сидевших за столом. — Я спрашиваю, а мы тут для чего? Кто же должен протянуть в тяжелую минуту человеку руку, если не родственник? Разве я говорю не истину, а? Только ближайшие родственники и соседи и должны помогать друг другу. Вот, к примеру, взять нашу Мец-Майрик. Вроде бы бодра и духом и телом, но — увы! — мы все ходим под богом. И вот, случись ей помереть, ты уж, Геворг-джан, не беспокойся, ежели не успеешь приехать вовремя, — все будет честь по чести. Э-э, да что тут говорить! — Здесь голос Айказ-даи дрогнул от волнения. — Да я душу отдам, глаз не пожалею, а уж похороны и поминки закачу такие, что не стыдно будет потом в глаза людям глядеть. Так вот, Геворг-джан, можешь спокойно доучиваться в своем Ленинграде и не беспокоиться за свою бабушку — ежели что, то мы тут. — При этих словах Айказ-даи украдкой смахнул слезу. — Твое здоровье, Мец-Майрик-джан! — И наш тамада, подавая нам пример, одним духом осушил свой огромный бокал вина за здоровье нашей бабушки.

Ну, а мы?.. Мы так и не смогли выпить за здоровье Мец-Майрик, потому что едва Айказ-даи успел закончить свой длинный тост, как за празднично накрытым столом раздалась тихие всхлипывания женщин и тяжкие вздохи мужчин, спущенные

стя мгновение перешедшие в громкий плач и причитания, — так было жалко всем терять Мец-Майрик. Плач матерей был подхвачен плачем проснувшихся ребятишек. Зарыдал и я, глядя на оплакивавшую саму себя бабушку. И через минуту горько заливался слезами весь наш славный род, дружно и добросовестно, как и вообще все, что бы мы ни делали.

Только что выпитое вино ударило в голову старого Айказ-даи, а плач и причитания моих родных вызвали в затуманенном его мозгу привычные ассоциации — ведь ему приходилось бывать тамадой не только на пиршествах, но и на поминках. . .

— Ты видишь, Мец-Майрик-джан! — с рыданием в голосе вскричал Айказ-даи. — Ты видишь, с какой любовью и почетом провожают тебя твои дети!

Галина
Букалова



БАЛЛАДА О МОЕЙ ФОТОГРАФИИ

Ни подарка, ни письмеца,
Переводы — и вся-то весть!
Говорили, мол, нет отца.
Отвечала: а вот и есть!

Просто я не девчонка — бес.
Руки в цыпках, шумна, резка.
Ну какой ему интерес
Слать мне письма издалека?

На уме — одна беготня.
За душой — одно озорство.
Тройки в четверти у меня.
Что и ждать-то мне от него?

Лишь потом, в восемнадцать лет,
Сделав стрижку, надев кольцо,
Я фотографу на портрет
Заказала свое лицо.

И коричневый гладкий тон
Так солидно меня облек,
Чтобы вздрогнул отец, чтоб он
Загрустил и стал одинок.

Чтоб воскликнул: «Вот это дочь!
Не какое-нибудь дитя!
Как положено все — точь-в-точь,
И перчаточки до локтя!»

Так отправила я отцу
Независимый взрослый взор,
Поручив своему лицу
Без меня начать разговор.

.. Ни открытки, ни письмеца
До сих пор не пришло в ответ.
Говорю я, что нет отца.
Что ж поделаешь, если нет. . .

КАМЧАТКА — ЛЕНИНГРАД

Предлагают садиться.
И сперва самолет
Провожаящих лица
У меня отберет.

А потом будет синий,
Непонятный чертеж,
Что далекостью линий
Лишь на карту похож.

Черный кратер вулкана,
Белый ладожский лед
Завязал без обмана
Узелком самолет.

И не скоро, не скоро
Я задерну окно,
Ибо чудо простора
Для раздумья дано.

ПОРТРЕТ

Всего половину недели,
А кажется — много недель,
Сидела я в роли модели,
Слова-то: «художник», «модель»!

И взгляд этот вспыхивал резко,
И сравнивал вспышкой огня.
Творилась иная замеска
Меня — на виду у меня.

И думала я: «Не похоже!
Меня в этой женщине нет!»
Ушла, отстранилась, — и что же?
За мной увязался портрет!

Он смотрит из зеркала твердо,
Едва невзначай поглядишь.
«Послушай, какого же черта
Ты прежнюю быть норовишь?

Все то, что художник заметил,
Все то, что наружу извлек,
Теперь ты непустишь на ветер,
Не скажешь: а мне невдомек!

И если еще не горда ты,
И если еще не добра,
И если глаза не крылаты —
Давай собирайся, пора!»

Валентин Романенко



ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

Рассказ

Сколько мне тогда было? Одиннадцать? Да, одиннадцать лет. Значит, прошло тридцать. Тридцать лет я не видел Кавказа. Собственно, я и был там всего один раз. Тогда я шел за телегой, нагруженной скарбом беженцев. Постепенно уходят, отдаляются от меня подробности того давнего путешествия. Но это меня не тревожит, потому что не в подробностях дело, а в людях, с которыми я шел в сорок втором по перевалам.

Вон та дорога. Неповторимая горная дорога, извивающаяся по краю откосов. Единственная в своем роде. Вон то жаркое, прозрачное и безразличное к нам августовское небо, под которым мы шли, обливаясь потом. Мы — это несколько семей сотрудников районной конторы связи, ушедших из станицы чуть ли не в день прихода немцев. Почтовые ценности, скудные наши пожитки и самое насущное: мука и немного картофеля — все на одной арбе, запряженной парой лошадей. А люди где пройдут, где подъедут. Так и продвигались з сторону Сочи, конечного пункта нашего следования. Там мой отец, начальник этой эвакуирующей конторы, должен будет сдать управлению ценности, отчитаться за все и за всех.

Вон они, те люди. Я по-прежнему вижу их сквозь дорожную пыль, сквозь завесу лет, все больше и больше отделяющих меня от них.

Кажется, тот перевал назывался Михайловским. Я мог бы уточнить по карте или справочнику, в какой именно части Кавказа он находится и точно ли так именуется. Но мне почему-то не хочется уточнять. Вдруг это разрушит мои представления

тех лет? Что я буду делать, если выяснится нечто другое, а то, к чему привык, во что так вжился и верил, окажется мифом?

Михайловский перевал. Словно вырубленная ступеньками, извивающаяся спираль дороги — серый камень, крутой откос справа, скудная, обожженная солнцем растительность слева. Пыль, сушь с ветерком и жар долгий, нещадный. . . Таким запомнился мне этот перевал, этот барьер на нашем единственном пути.

Людам предстояло его взять. Вопреки усталости, вопреки ноющим ранам на стертых ногах, вопреки закрадывающемуся неверию. И что же это были за люди? Самые обыкновенные: простые, слабые, сильные. И почти всех возрастов. Общим для них был долгий тот путь, на котором нельзя было падать, нужно было выстоять. Казалось порой, что дороге не будет конца, и арба наша рухнет, и лошади падут или оступятся в пропасть. Но люди все-таки шли за своей спасительной арбой. Ведь у них ничего больше не осталось, кроме этой арбы.

Сначала мы долго шли на подъем, медленный и однообразный, как винтовая лестница. Лошади, напрягаясь, тащили воз. Это были случайно подобранные на обочине лошади. Те же, на которых мы выехали, покинув дом, давно остались где-то позади, распряженные, отвергнутые нами за бессилие. Они сделали все, а дальше не могли, выдохлись. А нам нужно было дальше. И хотя новые, бесхозные лошади, которые время от времени подворачивались нам, были тоже наверняка кем-то жестоко разжалованы и отпущены на все четыре стороны за ту же «провинность», нам казалось, что они выглядели свежее наших кляч, и мы брали их и впрягали, а кляч, привыкших к нам как к благодетелям, гнали прочь, закрыв глаза. Новая сила служила нам сколько могла, потом и она получала отставку, делался очередной обмен, — и так тащилась наша арба.

Лошадей под уздцы поочередно вел кто-нибудь из мужчин, чуть ли не выдергивая их, как из трясины. Люди шли сзади, растянувшись цепочкой на большом расстоянии. Я до сих пор вижу эту разношерстную вереницу, как будто она у меня перед глазами. Верно, она всю жизнь будет у меня перед глазами. . .

Вот семейство Косенко трудно взбирается, останавливаясь на каждом шагу, споря и переругиваясь. Назар Иванович, техник телефонной связи, плечистый, рослый, в пропотевшей майке, в фуражке защитного цвета, краснолицый и горластый. Его трое детей-подростков, всегда голодных, пронырливых и бы-

стрых, с которыми нас с братом иногда отпускали родители высоко в горы за орехами или дикими грушами и яблоками. Его жена Дарья, беременная, не спускавшая глаз с Назара, точно он мог куда-то сбежать при удобном случае от нее и от детей. Но может ли Назар сбежать? Он ни на шаг не отходит от Дарьи, поддерживая ее, подсаживая, пережидая, пока она отдыхает на камне, широко расставив ноги и тяжело дыша. Дети установили очередь, когда и кому из них быть возле матери, если отец не может (лошадей, к примеру, должен вести). Препираются, отлынивают, не стесняясь чужих. И он, Назар, нет-нет да и гаркнет на них, не выбирая слов, тыча кулаком за черствость их такую:

— Ах, поганцы! Ну истинно поганцы. . .

Мать их молчит, думая о том, новом, который в ней, который, бог даст, будет другим. Но и этих она любит, таких шустрых и смекалистых, — девочку лет четырнадцати и мальчишек двенадцати и десяти. Новые места, которыми они идут, привлекают их, будят любопытство, вот они и носятся туда-сюда, жадно смотря на мир. А возле матери, ясное дело, скучно. Дарья и не в обиде на них. И не такие уж они никудышные, зря Назар так. Подбегут иногда, зелени всякой притащат, а старшая, когда мужчин нет поблизости, к животу неловко прижмется, послушает и скажет:

— Какой же он там маленький! И кто ж он такой — чи братик, чи сестричка?

— А кого ты хочешь? — спросит Дарья.

— Сестричку. Мне пацаны — во! — рукой по горлу и умчится, мелькая загрубевшими пыльными пятками.

Нет, Назар чересчур строго судит, у него все — с размаху. Не понимает он иногда своих детей. Вот почему Дарья с опаской и настороженностью поглядывает на супруга.

Позади семейства Косенко устало плетется вдовая женщина лет двадцати восьми, светловолосая и тихая, как луна на небе. Зовут ее Симой. Она телефонистка. Муж ее погиб в первые же дни войны, оставив ей сына, рыжего, пятилетнего Петьку. Петька идет рядом с матерью, цепляясь за ее юбку, хныча и жалуясь на усталость, на дорогу скучную, жесткую. И почему-то называет мать, как и все остальные, по имени: «Сима, у меня болят ножки», «Сима, я хочу пить», «Сима, Сима, подожди. . .» Помню, как-то ночью над нами разразилась гроза. Мы, дети, проснулись, испуганные раскатами в горах. Спали мы на арбе,

прикрытые брезентом, но брезент был дырявый, и струи холодной воды катились на нас. И Петька голосил:

— Ай, Сима, Сима, Сима!..

А она приговаривала, укрывая его как только могла:

— Научись страдать. Ты научись страдать... .

Так вот, эта пара идет как будто сама по себе, никого не трогая, не завлекая, не ластясь и не прося, но все постоянно чувствуют ее, реагируют на ее присутствие. И особенно мужчины. Невольно, безотчетно оглядываются они на Симу или грустно смотрят ей вслед. А она идет, безвольная с виду, покорная судьбе, но на самом деле вся собранная, смущенно и часто поправляет юбку, на которой чуть ли не повис Петька. Идет, испытывая единственное желание: поскорее бы все это кончилось, скрыться бы где-нибудь да отдохнуть. Но где уж тут скроешься? Разве можно Симе без людей? Как спасет она своего Петьку и себя без них? И идет она, идет упрямо и ничего не видит перед глазами, кроме камней и пыли под ногами. И только Петька стонет за нее: «Ай, Сима, Сима, Сима!..» — на что не может иногда не обернуться Назар и не промолвить с улыбкой: «Артист этот — телефонисткин хлопец».

За Симой, я вижу, бредут Гороховы. Сам Николай Семенович, или дядя Коля, как звали его мы, мальчишки, и жена Нина. Дядя Коля маленького роста, пухленький, румяный, с шапкой седых, давно не стриженных волос, весельчак, не теряющийся ни при каких обстоятельствах. У него сдает сердце, но он не очень-то унывает по этому поводу, никогда не подчеркивает своей болезни, только посмеивается с вызовом над барахлящим мотором. «Заглохнешь, — угрожает Горохов, — выкину, поставлю новый, деньги уже скопил...» Работал он до эвакуации начальником радиоузла. Помню, как напился дядя Коля (при его-то сердце), когда за несколько дней до нашего ухода из станицы разбивали в яме радиоаппаратуру, чтобы она не досталась немцам. Пожалуй, впервые он не смог тогда справиться с собой, не смог выкрутиться с помощью какого-нибудь легкого смешка. Постоял, помолчал — и покатился шариком пить горькую, не желая больше видеть исковерканную родную свою технику... .

Сейчас он идет передо мной под руку с женой Ниной, молодой, прямого нрава, выносливой казачкой, почти на голову выше мужа. Она — опора его и надежда. У нее всегда при себе какие-то капли, бидончик с холодной родниковой водой и полотенце. Ей приходится нелегко. Ведь, бывает, найдет на мужа

приступ беспричинного веселья, сорвет он с нее косынку-уголок, повяжется по-бабьи, а ей на голову изловчится — фуражку свою форменную нахлобучит и начинает скоморошничать, приглашая на пляс. И все тут останавливается на дороге — и телега, и люди, и будто войны уж нет, и не нужно уходить от немцев. Только всеобщий хохот в ответ на комичные приседания и вызовы Горохова и забвение всего и вся, что творится в мире. Нина тоже не удерживается, лихо поправляет фуражку и пускается по кругу за кавалера. Потом спохватывается, вспомнив о болезни мужа, хватает его, взмокшего, тяжело дышащего, в охапку, оттаскивает в тень и обмахивает там полотенцем своим, приговаривая: «Дурный ты у мэнэ. Ох и дурный, як сказывся! . . .»

Идут они рука об руку, беспечно подтрунивая друг над другом, словно так легче одолеть невеселый путь и все, что уготовано им судьбой.

— Эх, Нина, Ниночка, моя блондиночка. . . — вдруг запоеет Горохов ласковым кокетливым тенорком.

А она ему:

— Тю. . . Яка ж я тоби блондиночка? — И правда, Нина смуглая, и волосы у нее каштановые, темные. — Он впереди Сима — о цэ блондиночка. К ней и йды. — В последних словах уже слышны нотки потайной обиды, на которую незамедлительно должным образом реагирует супруг:

— Шо ты, шо ты, Нинок! То ведь в песне так поется. А думаю-то я про тебя. . .

— «Про тебя, про тебя», а сам, знамо, нэ прочь. . .

— Господи, да ты шо?! Ты ж от смерти спасла меня не раз. Куда я от тебя, глупая. . .

Вот так, то смех, то слезы у этих людей, но были они нерасторжимы, как одно целое.

За ними идут старики Субботины, высохшая чета, доживающая свой век и настолько привыкшая мыкаться, что уж никакая трудность не казалась им трудностью. Самому — за семьдесят, ей — что-то около этого. У них было трое сыновей. Остался один, но и он добровольцем отправился на фронт с приходом известия о гибели братьев. Даже слушать не захотел о броне, полагавшейся ему как связисту.

И вот я вижу этих тихих, скромных стариков. Им часто предлагают подъехать, но они упорно отказываются, говорят, что ноги их еще носят, так зачем же. . . И идут они вместе со

всеми, неторопливо беседуя друг с другом, устремив вдаль тоскующий взор высохших глаз.

— Как ты думаешь, Ваня, — спрашивает в который уже раз старушка, — чем все это кончится?

— Победой и праздником наших, — следует ответ без тени сомнения. И при этом распрямляются обвислые плечи, и даже унылая седина на миг блеснет горделиво и торжественно.

— Но ведь силен изверг-то. Гляди, как лезет... Сдаем и сдаем земельку.

— Это пока сын наш последний не пошел на них. Вот увидишь, остановит он их скоро и пригвоздит, не сойти мне с этого места.

— Дал бы бог, дал бы бог.

Где бы мы ни оказывались, кого бы ни встречали на пути, старики прежде всего стремились хорошенько узнать о положении на фронте. Они и нас-то всех просвещали в этом смысле, так что отец прав был, назвав их «нашим информбюро».

А вот и мать моя и мой брат. Идем мы медленнее многих, чуть ли не в самом хвосте этой цепочки. Потому что у матери давно, еще под станцией Славинской, вдруг разболелась нога.

Боль усиливалась с каждым днем. Полежать бы надо было спокойно хотя бы на той же арбе. Но щепетильная мать и слушать об этом не хотела, считая, что ей не хуже остальных. «А Дарья Косенко? — приводила она свои резоны. — А сердечник Николай Семенович? А старики Субботины? Чем им-то всем легче?» Отцу она еще добавляла, когда тот уговаривал ее забраться на арбу: «Нет, нет, мне неудобно. Скажут, вот жена начальника — значит, можно ехать». И она шла с нами километр за километром.

По характеру своему мать беспокойная и предусмотрительная. Она тряслась за нас с братом, за отца, за всех. Она боялась, что мы оступимся, разобьемся в горах или утонем в какой-нибудь быстрой речушке. А нас тянуло убежать в сторону с детьми Косенко, подальше от дорожного однообразия, и она никогда не знала покоя, вся исхудала, почернела на солнцепеке, одни большие тревожные глаза... Это она, можно сказать, предупредила гибель нашу, когда накануне отъезда упросила отца еще раз проверить все-таки, безопасен ли путь на Новороссийск, куда нам предлагалось следовать. Отец долго не хотел этого делать. Коль скоро маршрут был заранее указан, подвергать его сомнению не имело смысла. Но мать, движимая каким-то своим чутьем, упорно настаивала на

своим, и в конце концов пришлось внять ее мольбам, позволить куда-то там чуть ли не за час до ухода из станицы.

— На Новороссийск? — ответили. — Ни в коем случае. Город подвержен частым налетам.

И тогда мы пошли другим путем. Многие же из тех, кто по неведению пошел на Новороссийск, пострадали, как выяснилось потом.

Мы идем и идем под монотонное постукивание арбы где-то впереди. Кажется, из этого состояния никогда не выйти.

— Устали, ребятки? — ласково спрашивает мать, подбадривающе обхватив наши тонкие шеи. — Поди-ка проголодались, пить хотите, да, мои мальчишки?

— Нет, мама, нет, — отвечает мой семилетний брат.

— Мы ничего не хотим, — вторю я торопливо, гоня прочь мысли об отдыхе, о лепешках, которые мать испечет на камнях, как только мы остановимся.

— До чего же вы терпеливы у меня.

— Что толку плакать, — говорю я, — плачут одни девчонки.

— Да Петька, — добавляет брат. — «Ай, Сима, Сима, Сима...»

— Ну ладно, ладно, не заноситесь слишком. О господи, когда же кончится этот невыносимый подъем?.. Коленька, сыночек, сбегай к папе, узнай, как у него там дела и скоро ли спуск или остановка.

— Хорошо, мама.

Мой быстрый белокурый брат, чувствующий себя в горах как рыба в воде, убегает вперед, к арбе, ведомой нашим отцом.

— Помоги мне, Сережа, ногу перевязать, — просит мать и, опираясь на мое плечо, опускается в стороне от дороги.

Нас обгоняют пожилые женщины. Не помню их имен. Помню только, как наклоняется одна из них над матерью, предлагает ей свои услуги, та благодарит — дескать, сама, — и тогда эти женщины, двинувшись дальше, качают темными головами и истово вздыхают:

— Напасть-то какая на человека! Не дойти ей, бедняге, нет. А все война.

Шествие замыкают Гулько и Коробов, совсем немного проработавшие в нашей конторе связи. Шли последними, они никогда не разлучались, за исключением тех случаев, когда одному из них приходилось вести лошадей. Никто не задумывался над этой странной их обособленностью. Не до этого

было. Да и мало ли как могли себя вести люди в этом сумбуре и беспорядке? Шли эти двое и равнодушно смотрели на происходящее. Может быть, потому, что они не были обременены семьями?

— Красотища-то какая! — сказал один из них, проходя мимо нас с матерью.

— Да, брат, стихия горная. Если бы не эта заварушка, не видать бы нам всего этого, а?

— Уж это точно. Я в санаторий никак не мог попасть.

— Вот тебе и санаторий. Прямо в Сочи доставят.

Брат мой возвращается весь запыхавшийся и говорит:

— Папа сказал, чтобы все подтягивались. Скоро спуск.

— Слава богу. Давайте подтягиваться.

Мы помогаем матери встать, тащимся еще с полкилометра на подъем и наконец приходим к телеге, уже окруженной нашими спутниками.

— Так вот, товарищи, — объявляет отец, — подъем взят. Все-таки мы молодцы, а? — Он пристально оглядывает собравшихся сквозь толстые стекла очков, и его близорукие глаза торжествующе светятся доброй улыбкой. — И кажется, все в сборе, потерь нет? Петя, ты не потерялся? Я что-то тебя не вижу.

Мы оборачиваемся к Симе. Петька, конечно, стоит за ее спиной и мнет юбку. Сима краснеет, а Петька все-таки подает голос:

— Я вот. Я всегда рядом.

Даже старики Субботины не могут удержаться от улыбки.

— Прекрасно, — смеется отец. — Будь уж, Петенька, всегда рядом. Ну а ты, Николай Семенович, куда ты-то запропастился?

Горохов успел скрыться за Ниной спиной и, вцепившись обеими руками, как ребенок, в ее платье, отвечает почти Петькиным голоском:

— Я тоже вот. Я тоже всегда рядом.

— Та витчипысь ты од мэнэ! — взрывается Нина под общий хохот, пытаясь освободиться от рук мужа. — Ну чистый репей, спасу нэма...

— Хватит, хватит! — перекрывая всех, урезонивающе бает Назар Косенко. — Умрешь со смеху с вами. Тут такая карусель, а они базар устроили...

— Это хорошо, — говорит отец. — Раз мы не потеряли чувства юмора, значит, мы живы.

Невысокого роста, он стоит возле лошадей, поминутно вытира платком крупный, воспаленный от солнца лысый лоб. Ему тридцать семь лет. Меньше, чем мне сейчас. В глазах озабоченность. Когда говор стихает и над людьми вновь берет верх усталость, отец продолжает:

— По-моему, у нас нет другого выхода, кроме одного — немедленно спускаться. Я понимаю, это очень тяжело, но...

— Тяжело, Павел, ой как тяжело, — нарушает молчание Косенко. — Ноги у всех зашлись — ну-ка столько отмахать в гору! А ты хочешь опять без остановки...

— Назар, это не я так хочу. Этого требует наше положение. Если мы не двинемся с ходу дальше, мы застрянем здесь до утра.

— Почему?

— Потому что от короткой передышки, которая все равно ничего не даст, наступит полное расслабление. Мы уже не сможем тронуться с места. Как стадо ляжем до утра.

— Ну а чего ж не полежать до утра? — спрашивает Горохов.

— Коля, дорогой, — отец начинает нервничать, — о чем ты говоришь? Мы же как на ладони здесь, на этом голом месте. Может случиться всякое, ведь война это. И если мы не скроемся внизу в зарослях, нас расстреляет любой налетевший стервятник.

— Так-то оно так, — подключается Дарья Косенко, словно приросшая к удобному плоскому камню. Сейчас она похожа на большую старую лягушку. — Только люди-то не двужилые, Павел Дмитриевич. Силы-то иссякают... Ты посмотри на всех, хоть любого возьми.

— Да, да, — поддерживают ее многие, — выдохлись мы, совсем дошли...

— Остаемся здесь на ночь, чего там! — это говорит один из тех двоих, заигрывая с Симой взглядом.

— Верно, как-нибудь пронесет...

— От как пронесет в том самом смысле... — Горохов взялся за голову, изображая панический ужас, и это вовремя разряжает обстановку. — Шо тогда будем делать с бельишком?

Отец весело поглядывает на Николая Семеновича.

— Вот именно, о чем я и говорю.

— Ничего, Коля, сбегашь к родничку, побанишься.

— Зачем ему бегать, Нина ему из кувшинчика польет.

— Ха-ха, Коля!..

— Смех смехом, люди, а что делать будем, решать надо. — Старик Субботин переводит разговор на серьезный лад. — По-моему Павел Дмитриевич прав. Нельзя нам оставаться здесь. С места в карьер надо.

— Я тоже считаю... — Все поворачиваются на Симин робкий голос. — Я считаю, пусть лучше усталость, раны, чем неуверенность.

Разногласия в споре вдруг теряют смысл. Все смотрят на Симу с уважением и любопытством. Я вижу, с какой признательностью смотрит на нее отец и как это замечает чуть обиженно улыбувшаяся мать.

Первым спешит поддержать Симу присосанившийся Косенко:

— Видали? Ну раз так, делать нечего. Коли слабый пол в сильные норовит, нам, мужикам, и сам бог велел.

— Вот и хорошо. — Отец явно доволен. — Уж как-нибудь поднатужимся, ребята, зато потом легче будет.

— Да, конечно!.. — говорит Коробов, один из тех двоих. В голосе его чувствуется ухмылка, смысл которой пока никому не ясен. И все-таки она западает в сознание многих, как пробежавший по спине холодок. — Будет очень даже легко, что за вопрос.

— Итак?.. — Отец еще раз вопросительно взглядывает на всех, словно не придав значения непонятной этой ухмылке. — Сомнений больше не вижу, пора действовать.

Мужчины осматривают арбу перед трудным спуском, подвязывают задние колеса, чтобы они тормозили. Женщины готовятся по-своему, хлопоча возле вещей и детей, давая им очередные наставления, вздыхая и бодрясь. Те двое, слегка насвистывая, берут с телеги свои чемоданчики, явно стараясь сделать это предельно спокойно и как бы невзначай. Все-таки от отца это не ускользает, и он спрашивает:

— Зачем утруждать себя, ведь впереди спуск.

— Пустяки, поразмяться тоже нелишне, — следует быстрый ответ.

— Нелогично как-то. Впрочем, дело хозяйское.

Отец ненадолго подходит к нам, сразу же спрашивает мать:

— Ну как, Веруся, твоя нога?

— Ноет, но я уж привыкла, как-нибудь дотяну.

— Хорошо... Как ребята? — спрашивает отец.

— Вот они. Ты же видишь.

— Вижу. Идите все вместе. Если тебе станет хуже, пусть кто-нибудь из ребят прибежит ко мне.

— Ты разве не с нами?

— Скорее всего нет. . .

— Почему? — Отец молчит. Мать догадывается, что он опять поведет лошадей. — Лошади небось все руки тебе вытянули?

— Лучше будет, если я их и на спуске поведу. Они свыклись со мной.

— А если они понесутся вниз? Тебе не справиться. . .

— Не беспокойся обо мне. — Отец мягко касается плеча матери, дает нам с братом напутственный совет: — Мальчишки, будьте мужчинами! И маме помогайте. . .

И он уходит к арбе, где его уже ждут.

Дарья Косенко пытается восстановить справедливость, вступает за отца:

— Павел Дмитриевич, никак, ты опять за погонщика?

Отец отмахивается:

— Что ж тут такого. . .

— Да нет, — не унимается Дарья, — так не пойдет. Тебе больше всех надо, что ли?

— И то. . . — подхватывает Нина. — Хиба ж можно так сквозь одному? Он Коробов та Гулько стоять. Комусь из них с конями.

Коробов и Гулько снимают свои кандидатуры в пользу энтузиастов, — следует реплика. — Они не хотят ломать себе шею. Как-нибудь в другой раз. . .

— Слыхали, бабоньки? — спрашивает Горохов. — От вам вполне грамотный ответ.

— Шо? — горячится Нина, уперев руки в крутые бока. — Та я им пропышу зараз грамоту!

— Нехорошо, друзья, нехорошо, — сокрушается старик Субботин. — Такие, как вы, сейчас кровь проливают. . .

— Каждый прольет свою кровь в положенный срок.

— Та я им!.. — снова вспыхивает Нина, порываясь двинуться на них.

— Давай, Нинок, давай, — подзадоривает Назар Косенко. — Пропиши им ижицу, чтобы не отрывались от коллектива. . .

— Стойте, товарищи, стойте! — Отец поднимает руку. — Это что такое? Я всю жизнь мечтал, чтобы из-за меня затевались распри. . . Успокойтесь. Лошадей и арбу беру на себя.

В конце концов, мне первому отвечать. Никого из детей, уставших или больных, взять не могу. Спуск опасный.

Матери переглядываются.

— Павел, я с тобой. — К арбе размашистым шагом направляется Косенко. — Будем вместе спускаться.

— Дарью, Дарью свою веди! — резким жестом останавливает Назара отец.

Все как-то разом напряглись, смолкли. Телега привычно и жалобно скрипнула, колеса завихлялись, застучали по рваным каменным уступам. Это означало, что спуск начался.

На спуске арба двигалась куда быстрее. И это торопило идущих за ней. Какая-то сила увлекала всех и все вниз. Вниз — поворот, вниз — поворот.

Некоторое время мы могли видеть, как отец, сидя на арбе, правил лошадьми, сдерживая их и осаживая. А они то и дело норовили пуститься вскачь, освободиться от пут, вырваться на простор.

Но вскоре разрыв между арбой и нами стал заметно увеличиваться, и мы потеряли отца из виду. Постепенно росло чувство тревоги. Косенко поручил Дарью своим детям, на строго запретив им отходить от нее, а сам пошел вперед, решив догнать арбу. За ним увязалась Нина, сделав основательное внушение Горохову, чтобы он шел спокойно, не выкамаривал и не озорничал. Следом помчался и я, оставив брата с матерью.

— Если папа спросит обо мне, — сказала мать, — скажи, что иду, ничего...

Косенко идет, размахивает руками, пыхтит и спотыкается. Рядом шагает Горохова, за ними вприпрыжку — я.

Где отец? Где арба? Уж не под откосом ли? Мы минуем один поворот, другой... На дороге пусто. После третьего поворота видим нашу арбу повисшей задним колесом над пропастью. А отец, кажется, совсем не догадывается об этом, нет у него еще чувства близкой катастрофы, сидит себе на узлах, держа вожжи и понукая лошадей. И только они, похоже, все поняли. Почувствовали, что воз заносит, тащит он их назад, в пропасть, и они, несчастные, лезут из кожи, скребутся о камни, не хотят в темное зияние.

— Господи, люди добри... — У Нины даже голос срывается. — Ой, нэ можу, нэ можу!..

— Прыгай, Павел!.. — Кричит Косенко на страшном сво-

ем бегу, и его крик эхом отдается в горах. — Сор-вешься... Пры-гай, говорю!

— Папа, папа! — кричу я. — Да обернись же, обернись!..

И отец оборачивается. Ему мгновенно все становится ясно. Он прыгает с арбы, бросается к лошадям и из последних сил тянет их на себя, пытаясь вызволить из беды. Еще несколько секунд — и ему на выручку прибегает Косенко, затем Нина. Вот они уже действуют втроем, рвут к себе почуявших спасение лошадей. И арба в конце концов выворачивает на дорогу и останавливается. Тяжело дышат люди и лошади. Бледные, взмокшие люди долго смотрят друг на друга, потом Косенко берет огромный плоский камень и бросает его с злополучного откоса. Проходит не одно мгновение тишины, прежде чем мы слышим, как камень ударяется об уступы где-то внизу.

— Вот так-то, — говорит Косенко, насупив брови.

— Понятно, — отвечает отец, вымученно улыбаясь. — Спасибо, друзья, вовремя подоспели... Уж этого мне никогда не забыть.

— А мы як знали, шо будэ лихо... — Нина все еще не может прийти в себя, грудь ее вздымается в шумном дыхании. — Счастливый ты чоловік, Павел Дмитриевич.

— Это верно.

— Ладно, — говорит Косенко, — хватит об этом... Ты лучше скажи, что дальше думаешь делать.

— Дальше? Какие могут быть сомнения, Назарушка? Спускаться.

— Зелень уже густая...

— Вижу. К утру она сможет скрыть нас надежно. И тогда делаем остановку, весь день спим. Ну а пока надо дожидаться наших.

— Идет. Закурим?

— Давай.

Они крутят сигарки из газетных клочков, с наслаждением дымят, облокотившись на арбу. Горохова треплет лошадь за холку, приговаривая:

— Ой ты, Галю, ой ты, Галю...

В быстро сгущающихся сумерках гор — тишина, мягкая, золотистая и обволакивающая. Не хочется верить, что вся война еще впереди, что дома больше нет и мы — путники под открытым небом.

— Как мама? — спрашивает отец, теребя мои волосы.

— Ничего, — отвечаю я, — она идет.

— Ай, Сима, Сима, Сима!.. — слышится вдруг издали едва уловимый голос Петьки. И это уже само по себе устраивает временную нашу передышку. А она так необходима.

— Нет, артист, артист Симин хлопец, — не шелохнувшись, усмешается Косенко.

— Подожди ты!.. — резко обрывает его отец. — Слышите крики?

И в самом деле, сверху доносятся беспорядочные голоса, невольно заставляющие насторожиться. Что-то там стряслось, медленно приходит мысль. Что-то с нашими не то... И вскоре видим, как, ныряя и прыгая по ступенчатой дороге, бежит вниз брат мой, а за ним дочь Косенко. Едва поравнявшись с нами, Николай бросается к отцу:

— Папа! Папа!.. — и замолкает, больше не в силах продолжать.

Подоспевшая четырнадцатилетняя девочка, блеснув глазами, выпаливает:

— Там такое творится!..

— Что случилось? — спрашивает отец, заметно мрачней. Похоже, какая-то догадка его уже осенила. — Говори скорее.

— Там Коробов и Гулько хотят утечь. Вы, кажут, все погибнете, не дойдете, а мы назад вернемся. И телефонистку за собой силком тянут... А она — ни в какую, да и наши за нее — все, как один... Так они, ти дядьки, гранату достают и давай махать ею... А Петька плаче и камнями в них.

— А я; папа, — добавляет брат, отдышавшись, — предателями их назвал и тоже камнями... .

— Молодцы, ребята, что прибежали... — говорит отец. — Назар, Нина и дети остаются здесь с лошадьми.

— Ах, бисови души! — бьет кулаками об арбу Горохова. — Смотри, як повернули... Та их душить треба!..

Мужчины наскоро проверяют оружие, извлеченное из-под скарба на арбе. Отец — револьвер, Косенко — винтовку, полагавшиеся для охраны почтовых ценностей.

— Ну и сволочи! — изумляется отец. — Ведь до сегодняшнего дня были тише воды, ниже травы.

— Сучьи выродки. — У Назара одно веко вздрагивает от волнения. — Какие ж сучьи выродки!..

— Не зря меня Веруська предупредила... Но кто бы мог подумать? Летуны они были, мало мы их знали.

— Они решили, пока нас с тобой нет...

— Да, да... Слушай, Назар, я ловлю себя на мысли, что никогда не брал в руки эту штуку. Может быть, мы так их обезвредим?

— Так и обезвредим...

— Понимаешь, не видел и не хочу видеть кровопролития.

— ...Если они тебе дадутся.

Отец подходит к нам с братом, на секунду задерживается, молча глядя наши головы. И потом вместе с Косенко, уже не медля, бежит вверх.

— Ой, лишенько! — стонет Нина. — А мий-то там. Павло, присмотреть за ним! Павло...

Я начинаю понимать, что не могу вслепую ждать событий, спешу следом за отцом, благо он не оглядывается. Пытаюсь хоть как-то разобраться в тысячах вопросов, возникших у меня. Что же это такое? Отчего происходит разлад между людьми? Одни идут вперед, а другие пятятся назад. Разве те двое не знают, что станицу взяли немцы? Ну как можно возвращаться к врагам? И Симу-то, Симу нашу жаль. И Петьку ее. Дрожит, наверно, бедняга, чуть жив. Скорее, скорее, только бы успеть...

Еще подъем, еще поворот не переводя дыхания, лихорадка в груди от страха и боль в сбитых ногах... И наконец — вот он, тот момент.

— Не трожьте нашего человека! — слышу голос старика Субботина. — Отдайте нашего человека...

— Вежливо просим, уберите лапы, — требует Горохов. — А ну назад, шо б вас вываляло в кошачьем дерьме!..

— Паразиты!.. — надрывается Дарья, размахивая какой-то фантастической клюкой, бог весть откуда взявшейся.

— Пустите меня, пустите!.. — плачет и умоляет Сима.

Я вижу горстку схватившихся не на жизнь, а на смерть людей, даже не замечающих, что они почти у края отвеса. Узкая полоска — и сразу провал...

И вот отец рядом, и грузный Косенко недалеко. Мать на секунду перехватывает отца, вцепившись в его рукав:

— Не ввязывайся, Павлик! Берегись...

— Да ты что?! — Впервые я вижу таким отца. — Уведи лучше в сторону Дарью и детей...

И он кричит:

— Остановитесь! Остановитесь! Что здесь происходит?

Никто не ожидал появления отца и вслед за ним Косенко, да еще вооруженных. И те двое — тоже. Вначале они теряются, порываясь бежать, но бежать некуда, остается одно — в открытую.

— Мы решили прогуляться с ней, — говорит один, мертвой хваткой держа за руки растрепанную Симу. — Не пропадать же такой бабе даром. Все равно всем крышка. Мы вас покидаем, с новым хозяином хуже не будет.

— А если вздумаете помешать нам, — улыбается другой, играя гранатой, — то... Сами понимаете, никто не уйдет отсюда.

— Мы не хотели шума, — бросает первый. — Мы хотели тихо, мирно. Чего ты надрываешься, слизь? Или ты, пузырек?

— У меня седина, тварь ты эдакая! — оскорбляется старик Субботин, не отпуская Симин локоть. — Но я не позволю тебе разбойничать...

— Кобель поганый! — негодует Горохов, вытирая ссадину на щеке. — Вы слышите, шо он сказал? ..

— Прежде всего, — требует отец, решительно двинувшись на того, с гранатой, — немедленно сдать оружие! Немедленно — или мы...

— На вот, выкуси! — циничный жест в ответ.

— Дело ясное, — ломится Косенко. — Держи! ..

— Помогите мне, помогите! .. — вырывается Сима.

— Ай, Сима, Сима, Сима! .. — неуменно кричит в стороне ребенок, сдерживаемый женщинами.

— Отпустите Лебедеву и сдайте оружие! Я приказываю вам, Коробов... Вы слышите? — Отец едва справляется с дрожью в голосе, нервы его напряжены до предела. — И можете катиться... Чтобы духу вашего не было среди нас...

— Пошли вы! .. Мы бы отпустили ее, на кой она нам... Поиграли бы, и все. Мы туда, она сюда. Но уж коли нас обижают...

И оба внезапно оттолкнули ногами охнувшего старика Субботина и Николая Семеновича, рванули на себя Симу и каким-то чудом свалили Косенко. Субботин летит в сторону пропасти, конвульсивно пытаясь сохранить равновесие и зацепиться за что-нибудь. Но не удерживается. Вслед старику несутся крики не успевших опомниться людей. А винтовка уже схвачена и граната поднята. Все происходит в одно мгновение и воспринимается со стороны почти как пантомима, стремительная и подернутая дымкой.

И тогда отец ловит единственно оставшуюся секунду и стреляет из револьвера. Один раз, другой...

Бандит оседает, хрипло вскрикнув, граната падает из его обессилевшей руки. Отец словно деревенеет при виде крови и, похоже, не понимает, что произошло. И тут второй изменник стреляет в отца, но мимо. Сима ему помешала прицелься, схватилась за винтовку и плюнула в глаза. Выстрел встряхивает отца. И в следующую секунду он приходит на помощь Симе. Подскакивает и Косенко, оправившись наконец от удара.

— Сучий выродок! Я тебя... — В короткой схватке вырывает винтовку из рук врага и щелкает затвором.

— Не надо, Назар, в лежачего, — устало говорит отец.

На краю бездны, проглотившей человека, опустившись на колени, причитает старушка Субботина. Убитая горем, она просит:

— Вы достаньте его. Он жив еще там...

Ее держат молча.

Потом, слышим, бежит Горохова, переполошенная стрельбой.

— О боже ж мий! — кричит она. — Та шо ж цэ такэ, люди добри? Чи живы вы, чи ни? Де мий Никола? Никола!..

— Та здесь я, — откликается Николай Семенович, сидя на камне, низко склонившись и держась за сердце. — Тихо, Нина, помолчи.

— Солодкий мий, та чи цэ ты?..

Опираясь на мое плечо, мать подходит к отцу, смотрит на него замученным взглядом.

— На тебе лица нет. Слышишь? — говорит она, а у самой почти пропал голос.

— Иди, Веруся, вниз, — говорит отец. — Там дети одни возле арбы и лошадей.

Мы медленно идем с матерью вниз. Отец подходит к Косенко, и некоторое время они стоят молча.

— Ты прав был, — наконец выдавливают из себя отец. — Не дались они нам без крови.

— Это же война, — отвечает Косенко. — Никому от нее не уйти. Вот здесь она! — он бьет себя кулаком в грудь. — А ты не кисни.

— «Не кисни» — не то слово, — говорит отец. — Опомнись не могу. И ведь как просто это делается... По лицу ударить труднее. Вот что удивительно, Назар!

— Когда надо, тогда все просто. Тебе надо было это сделать. Ты опередил его на секунду. Иначе он порешил бы всех. И баста, Павел, баста...

Дарья Косенко в дороге родила сына. Дочь плакала и смеялась, а Назар, сгибаясь над младенцем, долго чему-то удивлялся: «Это ж надо!..»

Новорожденного назвали Ваней — в честь старика Субботина.

Пройдет много лет, и мой брат Николай, став мастером спорта по альпинизму, облазает весь Кавказ и одно из трудных своих восхождений посвятит отцу.

Ну а я с тех пор ни разу на Кавказе не был.

Татьяна Мартынова



* * *

Я неплохо живу.
Точно лес на сплаву,
Я плыву и плыву.

Часть уходит на дно,
Про запас, как вино,
Но попробовать не суждено.

Пахнет только водой.
В небе тихой звездой
Надо мною висит козодой.

Только лоси по берегу шумно бредут,
И трубят, и о чем-то тревожно ревут.
Но о них уж достаточно врут. . .

* * *

Весь день изнывая,
К темну вдруг затихла метель.
Скучая, зевая,
Я с книгой шмыгнула в постель.

Николай Ивановский



«НЕ СКОСИТЬ НАС САБЛЕЙ ОСТРОЙ...»

Рассказ

Сашка влюбился в Люську. Круглая отличница смотрела свысока на круглую, подстриженную под нулевку Сашкину голову. Сашка для Люськи был неодушевленным предметом, карикатурой в стенгазете, где они с Колькой Краснопером изображались в виде поросят, копающих своими пяточками картошку в чужом огороде.

Люська у доски читала стихи: «Мы кузнецы, и дух наш молод, кует мы счастья ключи...»

Сашка вбирал голову в плечи, — наизусть он знал лишь первую строку, но больше всего боялся, что сейчас в двери класса влетит тетя Дуся, сторожиха колхозного амбара, и...

Дело в том, что вчера вечером Сашка с Краснопером, сорвав замок, залезли в колхозный амбар, вытащили мешок с горохом и спрятали в придорожной канаве возле общежития, прикрыв сеном.

Ночью вся четвертая группа мальчишек объедалась горохом. На полу, под подушками, на простынях — всюду катался горох. Бачок с водой к утру опустел. Зато по животам ребят можно было стучать как по барабанам. И все стучали, хвастаясь рахитными животами друг перед другом. Дух гороха носился в воздухе. Ольга Викентьевна, открыв двери, повела носом и, выкрикнув: «Ребята, завтракать!», через минуту была на втором этаже у девчонок.

В столовой ребята угощали всех горохом. От Сашкиной пригоршни Люська скривила губы. Сашке горох опротивел. Он стрелял им из трубки в Колькин затылок.

Ребята гороху наелись досыта. Хлеб от завтрака покоился у них в карманах. На уроке эту двестиграммовую пайку можно потрогать, а в большую перемену съесть, отрезая ножичком по кусочку.

В интернате в сорок втором моду на ножички породил голод. Ножички делались из крышек консервных банок, больших расплющенных гвоздей, пилок, из всего железного, что можно заточить на камне, кирпиче.

И еще была маялка. Ножички и маялка с утра до вечера мелькали перед глазами воспитательниц. Особенно маялка. При виде ее Ольга Викентьевна менялась в лице и топала каблуками... Мальчишки кидались от нее врассыпную.

В большую перемену Сашка сидел в коридоре на подоконнике, качал ногами и медленно, с ножичка, доедал пайку. Колька Краснопер съел свою на уроке. Он у лестницы с ребятами играл в маялку. Большая голова Кольки, как глобус, вертелась на тонкой шее. Под его ногой маялка летала в воздухе паукообразным существом. Эта была Сашкина маялка. На днях он сам сделал ее из кусочка вафельного полотенца, завернув два пятака, стянув суровой ниткой. Колька беззвучно, одними губами отсчитывал удары, бил маялку пяткой, с вывертом и снова перед собой, к своему носу. Замерев, мальчишки ждали согото удара. И под общее ликование он произошел, да такой сильный, что маялка попала в лоб Люське, пробегавшей по коридору. Люська врезала Красноперу по голове учебником. Колька, набычившись, как молодой телок, боднул Люську в бок, и она упала. Сашка сорвался с места, поднял Люську и закатил другу оплеуху. Колька удивленно заморгал глазами и, сжав кулаки, пошел на Сашку. Тот встал в позу боксера, поминутно шлифуя нос рукавом куртки.

— Отдай маялку мою! — кричал Сашка, прижимая Краснопера к перилам и забираясь к нему рукой в карман. И когда карман затрещал, Колька выпалил:

— Он ее любит, любит!

Колька ждал помощи от ребят, но никто не шелохнулся...

Наконец маялка попала в руки Сашки, и он кинулся вслед за Люськой в класс.

— Бабья ляпа! — выкрикнул Колька Сашкину детскую кличку под неистовый колокольчик нянечки тети Мани. — Это он горох стянул. — Потом, опомнившись, слезливо про-

мямлил: — И меня, меня зазвал! — Но Кольку уже никто не слышал.

За партой Сашка мучился — он раздваивался: он думал о Люське и Краснопере, о Краснопере и Люське...

Люська заставила Сашку позабыть Краснопера. Она поглядывала на Сашку с благодарностью. В Люське теплилась надежда, что он еще раз побьет Краснопера. Сашка же мечтал: вечером, после концерта в честь начала учебного года, пригласить Люську посидеть с ним на скамеечке возле церкви.

На последней перемене у Сашки с Краснопером наступило перемирие.

— Ну чего? — спросил Сашка. — Хочешь стыкнуться до первой крови?

— Нет, — притворно позевывая, сказал Колька.

— Тогда зачем предаешь?

Краснопер уныло согласился в своей неправоте.

На концерте Люська, отплясав гопака, в дверях раздевалки махнула перед Сашкиным носом косичками и улынулась. Он выходил с Ленькой Пархоменко петь дуэтом русскую народную песню «Всю-то я вселенную проехал...».

В шестом, самом большом классе на раздвинутых по сторонам вдоль стен партах, на самодельных скамейках вместе с воспитателями сидели старшие группы, на полу — младшие. И почти все жевали горох. Директор интерната Анна Васильевна, слушая Сашку, кидала в рот по горошине.

И вдруг, сделав предварительный вдох, чтобы затянуть припев: «За твои за очи голубые...», Сашка замер: к директору пробиралась сторожиха колхозного амбара.

«За твои за очи, за твои за очи...» — шептали у Сашкиных ног малыши.

Сашка видел, как у Анны Васильевны вытянулось лицо, она поперхнулась горошиной и покраснела... тетя Дуся вертела в руках замок.

«Всю-то я вселенную, всю-то я вселенную...» — вновь шептали малыши и дергали Сашку за штанину.

Сашка от волнения дал петуха.

«Сначала давайте, сначала!» — покрикивали на Сашку малыши.

Надувшись как индюк, Ленька Пархоменко запел.

Анна Васильевна, нервно прикуривая папиросу, уходила с концерта. За ней пыхтела сторожиха. У дверей раздевалки Люська прыскала в кулак. Увидев ее, Сашка подхватил

припев и так вытянул дважды, что малыши на полу завопили «ура» и захлопали в ладоши.

На следующее утро Сашка и Колька Краснопер стояли в кабинете директора. Сашка поднимал глаза к потолку, считая трещины, Краснопер неотрывно смотрел на пустой мешок, найденный следопытами из младшей группы.

— Мы вас в колхоз отправим! — громила ребят Анна Васильевна. — Работать! Узнаете, каким потом все это до-
стается!

Колька Краснопер хныкал — он был троечник, а троечниками интернат не дорожил. . . Сашка соображал: «А как же Люська?» — и побожился никогда не красть горох, даже на колхозном поле.

— Нам пришлось свой отдать, столовский! — стучала гневно мундштуком папиросы о коробку «Казбека» Анна Васильевна. Усики на ее верхней губе недовольно подергивались.

«Сколько же она привезла с собой папирос из Ленинграда, ведь здесь их нет? — прикидывал в уме Сашка времянахождение свое в интернате, и получалось так, что в доме у директора была их целая кладовка. — Значит, знала, что война будет. . . не шпионка ли она?»

— Вы поняли, чего натворили?

— Мы же не одни ели, — в один голос жалобно оправдывались ребята. Краснопер стал перечислять на пальцах, кто ел. . .

— Знаю! — резко перебила его Анна Васильевна. — А сейчас марш на уроки! — И, глубоко затянувшись папиросой, уткнулась в какие-то бумаги.

О, Сашка ликовал! Люське он понравился. Она подсказала ему, что человек относится к семейству млекопитающих. Красноперу строила рожи. Иногда она, не мигая, смотрела на Сашку зеленоще-темными глазами цвета водорослей и вызывала в нем бурные чувства: на переменах он как конь скакал через парты и безрассудно ржал, выигрывая у Кольки все перышки. Сашка старался понравиться Люське еще больше; книга сделала свое дело: в нем проснулась зоркость пограничника Карацупы и его верной собаки. Если раньше на уроках он не замечал придирок воспитательницы и педагога по географии Ольги Викентьевны к Люськиным ответам, то сейчас настороженно прислушивался. . .

«Тут что-то не то, — подумал Сашка о педагоге, — знает

весь город Берлин, да еще все его предместья...» И он вспомнил: «Ведь ни у кого другого, как у Ольги Викентьевны, каждую субботу на чердаке по ночам горит свет, и не как-нибудь, а с перерывами... И не зря она поселилась там, а не в самой избе, у хозяйки». У Сашки созрела мысль: «Шпионка!» У него похолодело сердце от столь невероятной догадки. «Точно! — прошептал Сашка. — За речкой в доме лесника тоже всю ночь огонек маячит, то скроется, то снова горит... У них договоренность! Как же я об этом раньше не подумал? Все! Сегодня ночью разведая, а завтра скажу Люське, пусть знает».

После ужина Краснопер заглянул Сашке в глаза и сразу понял: у Сашки — тайна! Когда Сашка что-нибудь скрывал, то становился рассеянным и сам себе задавал вопросы.

От Сашкиной тайны Краснопер был в восторге! И как только, сменив тетю Маню, на дежурство заступила тетя Таня и дала в колокольчик отбой, Колька предложил план действия по собственному воображению.

В полночь, сняв с вешалки свои пальто и накрыв их одеялами на кроватях, с ботинками в руках, прокравшись на цыпочках мимо спящей у печки тети Тани, ребята вышли на улицу, торопливо надели обувь и нырнули в темноту деревни к дому Ольги Викентьевны.

Они лежали в придорожной канаве и дрожали от холода как цуцики.

— Во, видишь, видишь — свет закрывает! — шептал Сашка.

— Да она вроде бы по комнате ходит?

— Ну и что, — неумолим был Сашка, — и так могут передавать... Во, видишь — взмахнула рукой перед лампой!

— Еще раз, еще раз! Точка — тире, точка — тире... эх, не знаем мы азбуки Морзе! — сокрушался Краснопер.

— Та-а-ак, перестала!

— А куда она передает-то?

— Как куда — вон за рекой огонек...

— Рыжий-то? Да это ж звезда!

— Какая тебе еще звезда, — злился Сашка, — там лесник живет... Смотри, смотри, вот и пропал!

Краснопер долго всматривался за реку, где непроницаемой стеной чернел лес, но так и не догадался, что на звезду наплыла туча.

— Во, во, опять замахала! — толкнул Краснопер в бок Сашку. — Эх, сейчас бы на церковь — и в бинокль!

— Ночью-то? — усомнился Сашка. — Слушай, там же лестница есть за домом, айда!

— Айда!

Ребята, пригнувшись, выскочили из канавы, огородам прокрались к сеновалу, притащили лестницу, и, приставив ее к чердачному окну Ольги Викентьевны, Сашка полез...

— Тише ты, не скрипи! — волновался Колька.

У Сашки самого тряслись поджилки: где-то на кладбище аукала сова, рядом в доме брэнчала собака и кто-то выходил во двор, щелкая запором, холод вызывал в Сашкиных зубах дрожь, и ему почудилось, будто в огороде прошмыгнула чья-то тень с фонариком...

«Точно, шпионы, — подумал Сашка, — ж Ольге Викентьевне...» И, заглянув в окно, зажмурил глаза: воспитательница, раздевшись по пояс, над тазом мыла голову...

Сашка скатился с лестницы на плечи Красноперу. Тот взвыл. Сашка крутанулся на одной ноге и, обо что-то больно ударившись, сиганул к общежитию...

Что увидел Сашка, он не рассказал Красноперу. Колька приставал к нему всю ночь и еще полтора года, пока Сашка находился в интернате, потом отстал. Краснопер же на следующий день предложил Сашке, раз она шпионка, залезть к ней в кладовку за медом, которым она угощала недавно двух следопытов.

Сашка с трудом отказался от меда.

Ах, любовь, любовь! А что делала Люська? Она изучала украинский танец и припев к нему: «Ох, Одарка, не жури-ся...», получала на уроках жирные пятерки, бойко стреляла по сторонам зелеными глазами и хлопала, хлопала ресницами...

И кому? Леньке Пархоменко! Саша не спал ночами — думал о прожитой жизни, и она ему не нравилась. У него гордость соперничала с напускным равнодушием. Назло Люське он попробовал ухаживать за второй отличницей Галькой Спиридоновой, но та не выговаривала букву «р» и шипела, как кошка, на мальчишек. Она их считала случайными людьми на земле.

В одно из воскресений охранять интернатскую капусту у речки назначили Сашку, Леньку Пархоменко, Люську и Гальку Спиридонову.

Сидели они на жердочке как галчата и про себя считали звезды. Потом Люська с Ленькой отодвинулись и зашепта-

лись... У Сашки ревность заползала в душу, как червь в хрустящую капусту. Галька молилась на звезды и луну, чтобы Сашка не подсел к ней близко. Капуста росла и делала последние завитки для будущих интернатских серых шей... Воры спали на интернатских койках. У Сашки на Леньку чесались кулаки, когда он провожал Люську до общежития. Спиридонова на ходу учила геометрию.

И вдруг Сашка пропал. Его искали четыре дня и три ночи. Воспитательницы сбились с ног — срывался концерт в честь наших войск, остановивших фашистов под Сталинградом...

Анна Васильевна трясла Краснопера за грудки, но тот притворялся спящим. Наконец из его карманов вытрясли записку такого содержания: «Коль, ухожу на фронт, в морскую пехоту, писать письма не буду, пусть поет один. Записку съешь или закопай в землю».

Краснопер божился, что записку нашел под своей подушкой и ничего про Сашку не знает. Кольку посадили в карцер — черную баню у речки — под замок. «А вдруг сбежит», — сказала Анна Васильевна.

Вечером у директора Краснопер, испугавшись ночевать в черной бане, такое наплел Анне Васильевне, что у той дрожали пальцы, когда она прикуривала очередную папиросу: тут был сказ и о диверсантах, шныряющих вокруг интерната, и о том, как Сашка мучился, куда ему бежать: в партизаны или в морскую пехоту. В доказательство Краснопер показывал Сашкино двустиише: «И с ревом, грохотом летит фашистский поезд под откос...» И как Сашка нашел ржавую косу, заточил ее, сделал к ней рукоятку и, если нет ее в церкви под самым куполом, взял с собой.

Этому можно было поверить! И Краснопер, облегченно вздохнув, побежал в общежитие делать уроки.

А где был Сашка? Он лихо шпарил в карты. В Кирове, в детприемнике. В камере курносая шпана, по пояс голая, сморкая на пол, поддергивая штаны и подмигивая друг другу, учила Сашку играть в буру.

Когда Сашка сидел уже в одних трусиках и кепке и завтрашняя пайка его превращалась в мечту, вдруг в камеру влетел воспитатель, схватил карты и дал подзатыльника ему и напарнику. Коридор они пролетели пулей...

В карцере Сашка, заглянув в окно, ахнул: во дворе на

бревнах, старых бочках, ящиках из-под картофеля, а то и просто на земле группами, поодиночке сидели ребята.

— Куда это их? — спросил Сашка напарника.

— В колонию — костыли для раненых делать... Был я там — ни фиги не понравилось. Надо в Ташкент двигать...

— А в Ташкенте что, лучше?

— Хе, там хлеб буханками растет!

— Ну да-а, — недоверчиво протянул Сашка.

— А ты куда собрался?

— На фронт.

— На фронт! — хохотал и катался клубком по нарам Сашкин новый знакомый. Он был до того худ, что суставы плеч и колен выпирали у него как оглобли.

— Чего надрываешься-то?

— Да оттуда тоже в колонию гонят...

Сашкины надежды рухнули. Он тупо посмотрел в окно и затосковал по интернату.

— А как звать-то тебя?

— Сашкой.

— А дразнят?

— Как дразнят?

— Ну, деревня, кличка есть у тебя?

— Была в Ленинграде...

— Какая?

— Бабья ляпа.

— Ну и кличка! — снова хохотал напарник и катался по нарам. — Ты что, с девчонками дружил? Не дружи — они все продажные!

— А у тебя какая?

— Свистун, а так Федькой зовут.

— Ты врешь много, да?

— Не-е, я свищу, во, — и Федька выдал такую трель под разные птичьи голоса с переливами, что Сашка сразу же предложил ему бежать в интернат и выступить с ним на концерте.

— Не-е, я в Ташкент, там базары большие и тепло... — говорил Свистун и разглядывал в окно ребят во дворе.

— Ты кого ищешь?

— Ваньку, — посвистывая под нос какую-то мелодию, продолжал Федька, — мы тут на базаре — я свистел, он пел... меня схватили, а он сбег...

- Пел? Я тоже пою.
- Ты-то? Трави больше!
- А вот хочешь, мотив твой повторю?
- Вали.

Сашка в точности повторил мотив, и Свистун быстро предложил разучивать слова песенки.

Через полчаса Сашка уже пел в окно:

Не плачьте, глазки голубые,
 Не плачьте, не мучайте меня,
 Вы знали, что вора полюбили.
 О чем же вы думали тогда. . .

Федька, закатив глаза, заливался соловьем.

В тюрьме нас водят на прогулку.
 Как вспомню я, детка, про тебя,
 Как вспомню про первое свидание,
 Забьется сердце у меня. . . —

пел Сашка с такой проникновенной грустью, что у него от подступивших слез щипало глаза. Обида на Люську утроилась.

— Бежим со мной в Ташкент есть кишмиш, рахат-лукум, — замороженный Сашкиным пением, скороговорил и цокал языком Свистун и вновь выводил чувствительные трели.

— Давай еще, давай еще! — галдели во дворе мальчишки.

— Какую? — кричал в окно Сашка.

— Любую! — просила шантрапа.

— Эх, — сверкнул глазами Сашка и, сдвинув на лоб кепку, запел:

То не стаи вороньи слетались
 Над ракитой пир пировать —
 Гайдамаки и немцы пытались
 Нашу землю на части порвать. . .

— Ура-а-а! — вопила безотцовщина.

Не скосить нас саблей острой,
 Вражьей пулей не убить.
 Мы врага встречаем просто:
 Били, бьем и будем бить!

— Да это же «Дума про казака Голоту!» — выкрикнул Федька и высвистел припев на одном дыхании.

Во дворе ребята махали руками, кепками, палками, изображая сабли, и подхватывали припев: «Мы врага встречаем просто: били, бьем и будем бить!»

Эй, Голота, ты зря не гуляй-ка,
Разорвут Украину паны,
Ты скорей коня подымай-ка
На защиту родной стороны. . . —

пел Сашка, задиристо вскинув голову в синее сентябрьское небо. Кепка у Сашки съехала набок, лоб блестел от пота.

«Мы врага встречаем просто: били, бьем и будем бить!» — несло со двора.

А в открытых дверях карцера, улыбаясь, стояли воспитатель детприемника и директор интерната Анна Васильевна.

— Ну вот, как видите, спелись! — посмеивался воспитатель с красным рубцом на щеке. — Ваш на фронт, а я как неделю с госпиталя. . . Вы уж оставляйте мне своего, я этих сорванцов приберу к рукам.

— Да нет, своего я не отдам.

— Жаль!

— А где вы его поймали?

— Да на станции с гопкомпанией краденое молоко пил, а потом из бидона, подлецы, умывались. . .

Сашка с Федькой скатились с подоконника на нары, и Свистун, корчась в конвульсиях, стал брызгать слюной, закатывать глаза и вращать белками, как Отелло. Сашка отскочил от него. . .

— Надо их пужать! — прошептал Федька, подмигнув одним глазом Сашке, и снова задержался в конвульсиях.

— Ну хватит, хватит! — поймал Свистуна за ногу воспитатель, еле сдерживая гнев и смущаясь директора интерната. — Ты тут посиди, а мы твоего певца отправим. . .

Федька Свистун притих, хитро и подозрительно посмотрел на взрослых и подал Сашке руку:

— Ну, давай жми на педали! — И вкрадчиво, быстро шепнул: — Бежи до Ташкента, я там буду.

В коридоре воспитатель принес Сашкину одежду.

— Не возьму! — заупрямился Сашка. — Раз проиграл — значит, проиграл!

— Ты бы еще голову свою проиграл! — разозлился воспитатель, но, взглянув на Анну Васильевну, примирительно добавил: — Вот паразиты, третью колоду отбираю. И где они

бумагу берут? Ну ладно, я им покажу! А тебе сейчас что-нибудь принесу...

Оставшись с Сашкой, Анна Васильевна, на удивление, не ругала его, лишь тяжело вздыхала и с папиросой не расставалась.

Сашку привезли в интернат в полдень и сразу же повели в баню. Распаренные малыши визжали в предбаннике. Тетя Маня завязывала им туго к ушам женские ситцевые платки.

Скинув с себя взрослые выцветшие гимнастерку и брюки-галифе, Сашка нырнул в клубы пара, где мгновенно был схвачен цепкими руками тети Тани. Она с остервенением прошлась жесткой мочалкой по его позвонкам и ребрам.

— Ты куда подался, мазурик! — ругала тетя Таня добродушно Сашку. — Тут по тебе все с ума походили, Ольга Викентьевна, вам как мать родная... в сельсовете телефонила в Киров...

Сашка благоухал в пене земляничного мыла, специально выделенного для него кастаньяншей, и мурлыкал про себя: «Не плачьте, глазки голубые...»

В предбаннике по распоряжению директора и кастаньянши нянечка выдала Сашке свежее белье, белую рубашку, новый байковый костюм и шелковый пионерский галстук.

За Сашкой в баню пришла Ольга Викентьевна. Он стал краснее галстука и не смотрел на воспитательницу.

На улице из окна общежития с улыбкой до ушей



Колька Краснопер ободряюще помахал Сашке рукой. «Погоди, головастый, за косу ты еще получишь!» — подумал Сашка.

Ольга Викентьевна кормила беглеца свежими щами и картофельными котлетами с морковным соусом.

— Давно из Ленинграда писем не получал? — устало спрашивала она.

— Давно-о-о, — перестал жевать Сашка и положил на стол ложку.

— А кто остался там?

— Сестра старшая с матерью.

— Ты ешь, ешь, — насупилась воспитательница и, быстро спохватившись, сменила разговор: — Вчера Люся Кузнецова узнавала, не нашелся ли ты.

Сашка наострил уши.

— Тебе учиться, как она, надо, ведь ты же можешь?!

Сашкино сердце отбивало такты: «Че это она, че это она?.. Выпытывает!» — решил он и отодвинул тарелку с недоеденной котлетой.

— Наелся?

— Аха, — выдавил Сашка и смутился...

— Ну иди, иди на релетицию, тебя там ждут, — сказала многозначительно Ольга Викентьевна и поправила на Сашкиной рубашке галстук.

— Ура-а-а! — закричал на улице Краснопер, обнимая Сашку. Ребята обступили его. Люська стояла в стороне и ковыряла носком ботинка землю.

— Ты чего разуракался? — оттолкнул Сашка Краснопера.

— Я, я... я рад, что ты вернулся!

— Рад, рад, вон достань косу, — показал Сашка на купол церкви, — да там ее и нету...

— Ты же сам говорил.

— Говорил, потому что хотел иметь саблю...

— А я в бане черной сидел! — похвастался Краснопер. — Не в нашей — черной...

— Подумаешь, — усмехнулся Сашка. — И стихи мои отдай. Опять предаешь?

В круг ребят ворвалась Люська и, ни слова не говоря, схватила Сашку за руку, потащила за собой.

Краснопер от удивления приоткрыл рот, Ленька Пархоменко тарачил глаза.

Сашка виновато улыбался ребятам, все же бежал за Люськой и, остановившись у дверей общежития, выкрикнул звонко:

— А я новую песню знаю...

На концерте Сашка выступал последним. И когда он пел песню из кинофильма «Дума про казака Голоту», не только малыши, но и его сверстники, как и в детприемнике, с жаром подхватывали припев: «Не скосить нас саблей острой, вражьей пулей не убить...»

Директор интерната и Ольга Викентьевна принужденно улыбались: три дня назад Сашке пришла похоронка на мать и старшую сестру.

Знали об этом взрослые да Люська.

Наталья Гранцева



* * *

Торжественная лирика парада.
Могущественной музыки раскат.
Утяжеляя невскую прохладу,
Подводных лодок выстроился ряд.

Встревожен алым цветом воздух плотный,
Трибуна замирает, как вдова.
И вырастают в небе многосводном
Большие реактивные слова.

И низко-низко белый голубь кружит,
И дети прибегают посмотреть
На новое блестящее оружие,
Не знающее, что такое смерть.

* * *

Огибая воронки и ямы,
Что ты, мальчик, идешь от ворот?
Что ты ищешь пропавшую маму?
Что ты плачешь? Она не придет.
Набиваются снегом ботинки.
И вокруг ни души, ни огня.
Я отдам тебе мяч и картинки, —
Только ты доживи до меня.

Не ходи. Артобстрелы нередки,
Даже ночью проспекты бомбят.
Постучись к одинокой соседке,
И она не прогонит тебя.
Этот город как страшная сказка
Пробирается в ночи твои.
Я отдам тебе книги и краски, —
Только ты до меня доживи.

Словно брата тебя пожалею,
Свежим хлебом тебя накормлю,
И ладони твои отогрею,
И на елочный праздник куплю
Много-много конфет, мандаринов
И бенгальские звезды огня.
Я тебя никогда не покину, —
Только ты доживи до меня.

* * *

Не назначай ни улицы, ни дома,
Где мы навеки свидимся с тобой.
Пусть это будет город незнакомый
С гранитною рекою голубой.

Графического острова сквозного
Музейный берег, каменный старик...
И, присмотревшись к прошлому сурово,
Ты удивленно скажешь за двоих:

«Мы были здесь. И старость, и работа,
И молодого слова перелет —
Все наше здесь без нас, но отчего-то
Еще неповторимее живет».

И, взглядываясь в будущее зорко,
Как в прежней жизни, вымолвишь опять:
«Не зная меры горя и восторга,
Я не боюсь ни жить, ни умирать».

* * *

Не слишком ли тяжелая удача
Для сердца невнимательного вдруг:
Любить того, кто навсегда утрачен,
Потерян, брошен, выпущен из рук?

Прочны мгновений каменные своды,
Себя не слышу я в такой тиши.
И перешла душевная свобода
В простое одиночество души.

Но каждой ночью, в сердце недвижимом
Широкий мрак рассеять торопя,
Все кто-то шепчет женщине любимой:
«Люблю тебя, я так люблю тебя».

И, умножаясь в нежности и силе,
Мне голос этот слышен в тишине,
И те слова, что ей произносились,
Я верю, что предназначались мне.

Нина Катерли



ГРОЗА

Рассказ

Толстая туча улеглась на город. Серым брюхом она навалилась на дома. С боков свисали в улицы черные космы, цеплялись за ветки деревьев, за троллейбусные усы, за головы уличных фонарей.

Туча шумно сопела, сдувая сор с тротуаров, и, в ответ ей, темной сыростью вздыхали каменные дворы.

И вдруг под брюхом у тучи с сухим треском сломалась молния. Она сломалась сразу в трех местах, точно складная линейка.

Промчался по улицам, расталкивая локтями прохожих и подбрасывая носком ботинка пачку от сигарет, худой озабоченный ветер, спрятался в подворотне, и слава богу, что успел: дождь остервенело бросился на землю, зашлепал по реке, застучал по асфальту. Косые струи натянулись, напряглись, задрожали, и тогда Музыкант вынул свой смычок.

Туча снова хрустнула молнией. Струны дождя звенели под смычком. Музыкант стоял один посреди пустой огромной площади, вода стекала по его потемневшим плечам.

Звуки один за другим раздвигали нитки дождя, взлетали над площадью, заглядывали в окна.

«Браво!» — Главный штаб гулко хлопнул в ладоши, чуть не задев Александровскую колонну, на самой верхушке которой, на кресте, притаились улетевшие звуки.

«Прекрасно!» — томно взмахнул ресницами Зимний дворец.

Стоя слушали деревья, а ветер качал головой в своей подворотне, прислонившись плечом к стене.

Рыжий кот с белой мордой, утыканной желтыми пятнами, как веснушками, высунул голову из-под тележки с надписью: «Мороженое» и понюхал воздух. Открытая дверь напротив пахла колбасой.

В последний раз грянул дождь, туча где-то уже вдалеке догрызала молнию, последние звуки рванулись из-под смычка, и стало тихо.

Музыкант поднял голову, деревья вздрогнули и откинули со лбов намокшие пряди. Веснушчатый кот, встряхивая лапами, пошел через улицу к магазину.

Тучи больше не было. Высоко-высоко светилось свободное мокрое небо. И тогда звуки безмолвно слетели с креста Александровской колонны, умчались куда-то и тут же вернулись, таща за руки длинную яркую радугу.

Они поставили ее над площадью, выгнув горбом, и чинно уселись по краям.

Ветер на цыпочках вышел из подворотни, поднял воротник и двинулся по улице. На этот раз он никого не толкал, только в саду вдруг не выдержал: дернул изо всех сил за ухо щекастую молодую липу, так что брызги бросились во все стороны и замочили новый пиджак хмурого человека с большим коричневым портфелем.

ОСЕНЬ

Рассказ

По утрам теперь темно. Бежишь к остановке, и наплевать, что чулки забрызганы и стоптан каблук, — все равно никто ничего не видит, а в трамвае такая давка, что и не разберешь, какие на ком туфли, даже пальто не разглядишь, — все одинаковые, мокрые.

После работы тоже темно. И опять никто ни на кого не смотрит — всем некогда, все бегут, тащат тяжелые сумки, толпятся у автобуса.

Хорошо, когда осень! Точно понедельник после длинного, длинного праздника. Мостовые блестят от воды, как будто во всем городе моют пол. В садах сгребают листья — ненуж-

ный послепраздничный мусор. Летние кафе закрылись, у авиакассы в метро всего два человека, не то что летом. Летом там с семи утра очередь. Кто — в Сочи! Кто — в Ялту! В Молдавию! На озеро Байкал! Рублей восемьдесят стоит билет до озера Байкал — как раз отпускные. В один конец.

Сейчас все уже вернулись, похоже, и не ездили никуда — бегут себе под зонтиками, тащат свои сетки, только лица у некоторых еще загорелые, а так и разницы никакой: ездили — не ездили.

В сквере по вечерам теперь пусто. Отшумели десятиклассники, исчезли элегантные туристы, на скамейках никто не обнимается — дождь. На двери зеленого дощатого домика замок. Подслеповатая лампочка косится на объявление: «Тир не работает. Нет пуль».

Кончился праздник. Мокрый трамвай уютно светит желтыми окнами. Мокрые машины, облепленные листьями, забрызганные грязью, понуро пробираются между лужами. Летом они мчались по улицам гордые и независимые, блестя яркой новой краской, свысока поглядывая на пешеходов сверкающими стеклами. Теперь стекол и не видно. Только «дворники», как маятники, мажут туда-сюда, разгребают воду. Осенью и машины тоже одинаковые, и цвета не разберешь, и не понять, какая новая машина, какая — старая. Даже звуки осенью другие. Летом открой ночью окно — и не заснуть. У кого-то музыка играет, кто-то мимо идет, смеется, каблучки по асфальту. Сейчас окна закрыты, на улице только дождь и ветер, ветер и дождь.

В праздники все идут с мужьями в гости. Или приглашают к себе. Пекут пироги, включают магнитофон. Или берут билеты в театр. Если идешь со спектакля вдвоем, вечером не страшно. Даже по лестнице не страшно. Не надо бежать через две ступеньки и потом задыхаться у двери.

В праздники надевают новые платья и получают подарки. Кто — духи, кто — цветы. В понедельник цветы оставляют дома. Никто не знает, у кого они есть, эти цветы. Никто ни про кого ничего не знает. Спешат под дождем одинаковые люди в одинаковых промокших пальто.

Осень. . . Слава богу, опять осень.

Александр Орлов



АССЕНИЗАТОР

Рассказ

Разморенный весенним солнцем, я лениво посматривал на темные фигуры рыбаков, отыскивая нужную мне. И вот одна определенно шевельнулась. Подождал. И вот опять. У него клевало. Быстро собрал свои удочки и поспешил туда, чтобы обколоть, взять себе кусочек его удачи. Остановился от него на расстоянии, которое отмерила моя рыбацкая совесть, и, не поднимая глаз, начал сверлить лунку. Но спешил напрасно: весь улов на новом месте — два полосатых окунька. Мы сидим еще часа полтора в надежде на заходную рыбу и, когда солнышко начинает клониться к западу, собираемся домой. Весной рыба плохо берет на вечерней зорьке.

К остановке идем вместе, коротая время за разговором.

— Питерский? — интересуюсь я.

— Да, с Гавани.

— У меня там сестра кооперативную получила, — делюсь с ним своим житейским.

— Я там давно.

— А работаешь?

— В речфлоте, на землечерпалке.

— Золотишко, что ли, копаешь?

— А по мне, самая лучшая ягода клюква, — не разделяет он иронии.

— Работа неплохая, — лживо соглашаюсь я. — Был бы заработок. Получаешь, наверно, прилично?

— Не в этом дело... Из-за него работаю, — кивает он на мой рыбацкий ящик.

— Из-за кого? — не понимаю я.

— Из-за окуня.

— Как это?

— Рассказывать долго, да и неинтересно, — будто нарочно подогревает он мое любопытство.

— И все-таки как это из-за окуня?

— Да пустое, — отказывается он объяснить, какая может существовать связь между рыбой и выбранной профессией.

Сам я этой связи не вижу. Может, дурачит меня? Но нет, не похоже.

Мы молча идем дальше. Я, пытаюсь самостоятельно решить для себя эту задачу, ищу всевозможные сочетания, но их просто не существует. Ерунда какая-то.

Вот наконец и остановка. Рейсовый автобус будет только через три часа, а попутной ждать бесполезно: здесь их не бывает. Какие-то сообразительные рыбаки расположились в приятной беседе вокруг пенька, на котором разложена припасенная из дома еда, венчает этот натюрморт «фугас», желтая бутылка с клюквенным вином.

— Твое любимое, — показываю ему на бутылку. — Может, возьмем?

— Давай, — не отказывается он.

Расположились мы неподалеку, облюбовав такой же пенек. Меня съедает желание выведать про таинственную связь. После первого же согревающего приема возвращаюсь к его окуню.

— Да неинтересно это, — вновь отказывается он, но я упрямо жду. И вот наконец, с большой неохотой, он решился:

— В голодовку это... мальчишкой я тогда был, одиннадцать лет... Эвакуироваться не успели. Мать с утра до вечера на заводе, а я в няньках — за братишкой да сестренкой ходил. К тому времени сестренка-то уже слегла, братишка тоже только по комнате ползал. Ну а я за водой бегал на Неву и щепок искал для буржуйки. Принесу домой, и начнем дрожжи жарить. Не пробовал?

— Нет.

— А мы тогда любили, но дрожжи не всегда были. Все больше кору да ремни вываривали... Скучно это, — неожиданно обрывает он свой рассказ.

— Почему же? Интересно, — убеждаю его, разливая новую порцию клюквенного.

Он долго молчит и, только когда молчание становится тягостным, продолжает:

— На Неву как-то пошел. Вижу: народ собрался у воронки. Самолет мост бомбил, но попал в воду, рыбы наглушил. В войну-то канализация не работала, вода почище стала, вот рыба с Ладоги и с залива в Неву и потянулась. Но мне тогда не досталось, опоздал. Да... Везу я свой бидон, уже к дому подъезжаю, и у угла дома женщина лежит. К покойникам-то я уже привык тогда, считай, каждый день под тысячу мерло, а это учительница моя, узнал я ее. Молодая была учительница, все, бывало, нам книжки читала... Прохожу мимо нее, и страшно мне вдруг стало: вроде смотрит она на меня. Как домой идти? Холодно там... сестренка так же вот. Братишку-то мы уже отвезли. Он получше вроде сестры был, а раньше ее... Кастрюлька с корой осталась, он ее с охотки всю и прикончил... после этого два дня всего и пожил. Мать его в одеяло завернула и в тупичок братишку отвезли до весны. Много их там было, в тупичке этом... Да. Иду это я и не могу. Ноги ватными стали, не слушаются. А надо. Кое-как добрел, на сестру смотрю, а она вроде и не дышит. Подойти-то испугался. К печке скорее. Мучаюсь я с сырыми щепками, а за спиной все будто кто стоит, наблюдает. Крепился-крепился и не выдержал, взял меня страх. В угол забился, ни кричать, ни дышать не могу, собачья лихорадка прошибла. На сестру смотрю, а она вроде как плавает: то вверх поднимается, то вниз, то вдруг на меня плывет, вот-вот по лицу заденет. Не знаю, как и матери дождался. Пришла она. В комнате темно, холодно. К сестре скорее, стала ее тормозить. Хлеб ей в рот пихает. Очнулась сестра. Мать ее накормила — и скорее к печке: резины откуда-то достала. Огонь подняла, подошла ко мне, кусок дуранды сует, гостинец. А у самой из глаз слезы капают: видно, конец чует. И тут у меня что-то шевельнулось внутри: не плачь, говорю, завтра рыбы принесу. Так это я сказал, потом уж подумал: рыбы-то наловить можно. До войны с отцом как-то на залив в воскресенье ходили, в Стрельну. Он меня к рыбакам тогда водил. Приметил я, как они из лунки ее, рыбу, достают.

Подумал это я, и сразу полегче стало, худые мысли ушли. Стал удочку мастерить. Крючок из проволоки сделал. Начал основу искать — ни веревок, ни ниток нет. Пробовал из тряпок таскать — гнилые все. Хорошо, кусок тонкого провода

в золе на глаза попался. Решил завтра по разбитым домам пошукать, видел там в арматуре.

На рыбалку только через день выбрался. Топор взял, удочку свою проволочную — и к устью. Но там солдатами охранялось. Высмотрел я солдатика подобнее и стал кланчить, чтобы на лед пустил. Пожалел он меня. «Дуй, говорит, скорее, пока никого нет». Побежал я, а сердце как ласточка торопится. Верил в эту рыбу. Скорее лед топором молотить. Но силенки-то откуда? Белый снег в глазах роится, а конца все нет. Солдатик подошел: «Давай помогу. А ты посмотри пока, не положено мне это». Долго еще провозились, прежде чем до воды добрались. Если бы не он, не осилил бы один. Помог он мне. . .

Размотал это я свою удочку, крючок хлебом наживил, специально сберег для случая. Стал ждать, когда рыба к моему хлебу пожалует, но она не очень охоча до него. Солдата эта затея тоже захватила. «Ну как?» — кричит. А я и доставать боюсь: вдруг, думаю, вытащу, а рыба как раз подплывет. Долго сидел и все же не вытерпел, поднял. Смотрю, а хлебушка-то нет. Размок. Долго ли ему: наполовину из жмыхов да опилок. Жалко мне хлеба, скрепя сердце от себя оторвал, другого-то нет, ловить не на что. Солдат меня к берегу кричит, разводка скоро, а я сижу. Как домой без рыбы пойду? Хоть и глупая затея была, а не только я, но и мать верила, что с рыбой приду. Солдат подошел, торопить стал: «Завтра наловишь». А какое завтра, если сегодня есть нечего. Побрел с ним до берега, тут ему смена: новый солдат с офицером. «А этот что здесь?» — офицер на меня показывает. Объяснил ему мой помощник. «Горе ты рыбак, — смеется. — Кто же такой удочкой ловит? Ею только коров с огорода гонять».

Но смех тут плохой. Посмотрел он на меня и посерьезнел, понял, видно, что не забава это. С собой в казарму повел. Сунул там мне банку тушенки американской и в бумажку муки пшеничной — целое состояние отдал. Виданное ли по тому времени дело — пшеничная мука. Одарил он меня и на следующий день приходиться велел. «Рыбу, говорит, ловить приходи».

Дома мать от радости Николая Чудотворца вспомнила. . . Да, — вздохнул он по-стариковски, — трудное время было. . .

— Ну а как же с рыбой? — тороплю его рассказ.

— Вот с этого все и началось. Не обманул он меня: на

другой день повел рыбу удить. Блесенку сделал из олова, крючки. Самодельные, правда, без цевья, но и это тогда была роскошь. Вместо проволоки корд парашютный. Богатая была удочка. Да и сам он, надо сказать, человек был редкий. Целый день мне отдал: учил ловить. С того дня и началась моя рыбалка. Тогда три десятка окуней на его удочку отловили, четыре сам поймал. Разделил он улов поровну, удочку мне отдал. «Давай корми, говорит, семью, рыбий истребитель».

И стаю я с тех пор домой носить до десятков, то полтора окуней. Этим только и выжили. Мать-то покойница долго еще его вспоминала, все ей в этом офицере Николай Чудотворец виделся. До последнего года, как вместе соберемся, непременно его вспомнит и заплачет. Все ему свечки в церкви ставила. А какой он Чудотворец? Поди и себя сберечь не сумел, война подобрала. Но нам крепко помог: сестренка с рыбы поднялась, и у матери отеки стали проходить... Полегче стало. Ну а там весна, травка — крапива, лебедка — поднялась. Морковкой да картофельными очистками дворы засадили. Ожил город. Вскоре и школы открылись, снова в школу пошел.

Только рыба в меня глубоко засела с тех пор. Как свободная минута выдастся, так сразу же на рыбалку. Все мои дружки о кораблях да самолетах мечтали, докторами и художниками хотят стать, а у меня одно дело — рыба. О ней и мысли все.

Сильно тянуло меня к воде. Специально в мореходное училище поступил. На распределении на земснаряд попал. Ребятам некоторым это зазорным казалось, не за тем мы, мол, шли в мореходку. А я вспомнил своих окуней — чего ж, думаю, хорошего дела стыдиться. Буду работать на земснаряде, реки чистить, чтоб вода в них была чистой и моим окунькам хорошо было. Вот с тех пор и работаю на драге...

— Ну а другой работы не искал?

— Да как тебе сказать... Бывало... Хотелось иногда другую работу присмотреть. Дружки иногда посмеются: чего ты, Леха, к своей черпалке прилип, давай к нам на завод. И за женой как ухаживал — стыдился, моряком себя называл. Только проходило все это. Да и то сказать, поздно уж думать-то: сорок пять нынче стукнуло. Две дочки растут, некогда думать. Вот так с теми окунями и живу. Жизнь они мне подарили, но и я им свой долг аккуратно выплачиваю.

Петр Железнов



ОРАНЖЕВЫЕ МАНДАРИНЫ

Рассказ

До районного центра я добрался в кабине самосвала.

Водителем оказался молодой, улыбочивый и разговорчивый парень из тех, после общения с которыми больше начинаете любить мир. И еще он понравился мне тем, что отказался от рубля. Денег у меня было в обрез. Но я посчитал себя обязанным и подарил ему журнал с забавными фотографиями, который его смутил и обрадовал.

От районного центра я подался пешком.

Мне думалось, что дорогу я помню. И направился прямоком через лес. Но вскоре тропинка, по которой я шел, разветвилась на три маленькие, еле заметные тропиночки. Я растерялся, никак не мог вспомнить, по которой надо идти...

Пошел наугад по средней.

Пошел, продираясь сквозь плотную стену ветвей с обеих сторон и чертыхаясь, когда они больно стегали меня по лицу и ногам.

Надвигался вечер. По моим догадкам, я прошел не больше половины пути. В темноте стало идти еще труднее.

Впереди меня выскочило что-то большое и лохматое и тявкнуло хрипло три раза. Я присел от неожиданности и испуга, но тут же догадался, что это собака.

— Эй! Есть тут кто-нибудь? — прокричал.

В ответ послышалось недоброе уханье какой-то птицы, и лес сделался чужим и враждебным.

Стало совсем темно, как в колодце. Усталый и измученный, я выбрался наконец из леса. Но выбрался неточно.

Верная тропинка должна была вывести меня прямо на околицу деревни, а я вышел в другом месте. И мне предстояло пройти через черное вспаханное поле, чтобы попасть на дорогу. А тут, как нарочно, хлынул проливной дождь.

Я шел, увязая в рыхлой и мокрой земле, размахивая чемоданом, и часто падал.

Зачем?! Какого черта я приперся сюда?!

Ведь всего день назад в голове не было и мысли, чтобы по пути завернуть в родную деревню.

Я знал, что поезд проедет через Чувашию, полузабытую страну моего детства. Я ехал из Донецка в Свердловск, чтобы добыть дефицитные детали для шахтного оборудования. И вот очутился здесь, в сорока километрах от железной дороги.

Зачем я пробираюсь через это поле, увязая в грязи? Зачем иду в деревню, где в черной стене ночи мерцают электрическим светом окна? Ведь в них был тогда другой свет, керосиновый!

Кто там меня ждет, кто вспомнит, кто узнает? Мои две тети?

А откуда знать, что они не умерли или не уехали, как мы когда-то с мамой. Мы с ними даже не переписывались, даже имя помню только одной тети — Фекла. Может, потому что она добрая. Доброта ее в том, что она меня подкармливала, когда нам с мамой было плохо. Она была похожа на маму, одинокая старая дева.

Значит, так — подойду, постучусь... Мокрый, грязный, жалкий, а может, и страшный. «Здравствуйте, я ваш племянник...» Хорошо, что хоть дождь кончился.

Я потащился дальше, с трудом перетаскивая ноги с налипшей на них грязью, выбрался на твердую, травянистую почву.

И заплакал, жалуясь на свою дурость и сентиментальность, что оказался здесь из-за минутного порыва, из-за маленького случая, с которым вчера столкнулся в Москве, на Калининском проспекте. Около витрин японской авиакомпании...

В Москву я прибыл в полдень, закомпостировал билет на восемь вечера и пошел бродить по городу. По самому любимому своему городу, хоть и бываю тут только проездом. Может, потому и самому любимому.

Долго бродил. И вот, изрядно уставший, оказался на

Калининском проспекте. Услышал впереди себя смех и оживление. И такие приблизительно слова:

— Хиппи!

— Битник!

Прозвища и оценки относились к тощему и длинному человеку, довольно странно одетому.

Конечно, в Москве можно встретить странно одетых людей. Чаще это иностранцы. А тут шел наш, российский, тощий великан в тапочках на босу ногу, в суконных штанах, обнаживших костлявые лодыжки. Нес он туго набитую сетку, в которой были кусок ситца, маленькие резиновые сапоги, брезентовые рукавицы и сверху ярко-оранжевые мандарины.

Все бы ничего, если бы только это. На голове у него была огромная черная шляпа с полями до плеч и с тремя длинными собачьими хвостами: белым, рыжим и серым, шагал он широко и уверенно, глядел прямо перед собой и что-то насвистывал.

— Ужас! — шептали ему вслед.

— Может, иностранец?

— Какое там, дерёвня!

— Хиппи, хиппи! — взвизгивали девчонки.

Большинство, конечно, молчало. Великан продолжал свой путь, иногда останавливался и задира л голову вверх, чтобы увидеть верхушки небоскребов.

Так бы он и шел. Но один парень бросил ему что-то на шляпу, похоже конфету.

Великан остановился, вскинул вверх левую руку и встряхнул головой. Конфета с поля шляпы упала в ладонь. Он поднес ее к глазам, рассмотрел, кинул в рот и съел.

В толпе засмеялись. Великан повернулся к прохожим, снял шляпу и поклонился. При этом сказал:

— Спасибо, дорогие!

У него это прозвучало: «Спасипо, торрокие!» — с чувашским акцентом.

И я вздрогнул и застыл, потрясенный. Не потому, что я тоже чуваш. А потому, что узнал его.

Человек с таким вот точно лицом бродил по чувашским деревням после войны.

Тогда, правда, не было глубоких складок на его лице. Не

было и желтизны. Блестящий, бугристый, острый череп, огромный нос на маленьком птичьем лице с крошечным подбородком. Глаза круглые, выпуклые, как и сейчас, бесцветные.

Много лет прошло с тех пор, когда я видел его последний раз. Лет двадцать пять, не меньше.

...Как только раздавался за деревней многоголосый дружный лай собак, мы выбегали встречать его.

Он появлялся с дюжиной собак, впряженных в коляску. Уже это одно для нас было чудом.

В нашей деревне было две улицы. Он всегда останавливался на нашей, непроезжей и тупиковой, заросшей густым, сочно-зеленым подорожником.

И вот появлялась эта странная и шумная повозка, на которой восседал и бил в бубен длинный и тощий человек с птичьим лицом.

Каждый раз он был в новом одеянии. То в штанах из красного одеяла, то в разрисованном желтом халате или в обыкновенной телогрейке с аксельбантами. На голове войлочный китайский конус, поперх фуражка, утыканная куриными перьями.

— Граждане пассажиры! — вскрикивал он, вскакивая с коляски. — Выс-ту-у-паэт... исполня-а-аэт... заслуженный... Мое почтение!

Садился на траву и, упираясь в землю руками, закидывал ноги на затылок и превращался в чудовище.

Толпа ахала.

— Молодец, Стяпан! — кричали мы. — Молодец!

Так его звали по-чувашски — Стяпан.

Затем Степан (будем называть его по-русски) неожиданно распластывался на траве и замирал, изображая мертвого. Собаки окружали его и начинали громко и жалобно скулить. Он тут же вскакивал, хватал маленькую татарскую гармошку с колокольчиками. Резко дергая меха гармошки, начинал плавно двигаться по кругу, выбивая чечетку. Затем игра убыстрялась и его пляска...

Плясал он комично — высоко вскидывая тощие длинные ноги, выпячивая грудь и болтая головой.

Пляска становилась все неистовей, гармошка издавала яростные и резкие звуки. Не прерывая пляски, он вдруг вскрикивал:

— Марита, бубен!

Среди женщин не было ни одной Мариты, да и не слышал я такого имени. Но женщины быстро догадывались: которая попроворнее, хватала с телеги бубен и начинала колотить.

Степан извивался, бешено мелькали в воздухе его ноги, металось и чуть ли не надламывалось тело. Становилось страшно за его гармошку: вот-вот она разорвется, растянутая до отказа...

Потом он останавливался, усталый, садился на траву, улыбался, подмигивал и затягивал что-нибудь не совсем приличное. Женщины вскрикивали, и он быстро менял программу, запевал длинную чувашскую песню о том, как одна хозяйка потеряла корову, как пошли искать корову ее дети, как они сами заблудились и мать ушла в лес сама искать своих детей...

В песне было много куплетов. Вначале все только посмеивались. Но в середине песни мы, дети, по крайней мере наиболее чувствительные, начинали громко плакать. Последние куплеты были очень печальны.

Затем он по одной подзывал собак. И они начинали бегать вокруг него на задних лапах под звуки гармошки. Нам тогда казалось, что они пляшут.

Некоторые из малышей выскакивали в круг и, смешавшись с собаками, прыгали вокруг Степана, до того была зажигательна его музыка... У меня до сих пор стоит в глазах мельтешенье собачьих хвостов и растопыренных детских ручек, слышится тонкий, чуть жалобный голос гармошки и звон крошечных колокольчиков.

После представления он снимал с головы свою большую шляпу, ставил ее на землю и с каким-то застывшим, пустым взглядом смотрел, как мы клали туда картошку. Сырую, вареную или печеную. Кое-кто клал куски хлеба или даже яйца. Некоторые кидали еду собакам, а те тут же все поедали.

Никто точно не знал, из какой он деревни. Говорили, что он тронутый и что тронулся от разных книг. Некоторым он даже не нравился. Подходили и укоряли его:

— Чего дурачишься? Работать надо!

Тогда Степан начинал нехорошо смеяться и делал какой-нибудь непристойный жест. Говоривший с ним вскрикивал, замахивался на него, но тут же отходил: собаки начинали злобно скалить зубы...

Появлялся Степан в деревне не больше двух-трех раз за лето и никогда больше суток не задерживался. А после

одного случая совсем перестал у нас появляться. Это было в один из его приездов. Переночевав в своей палатке из мешковины, утром он обнаружил, что половина его собак мертва. С тех пор он и исчез куда-то.

Мне было тогда лет семь. Прошло не меньше двадцати пяти лет, как я не видел его. И вот вновь встретил в Москве.

Поблагодарив прохожих за конфету, Степан обеими руками надел свою огромную шляпу с собачьими хвостами на голову и двинулся дальше.

Что-то не позволило мне сразу подойти к нему. Побоялся, что он может поставить меня в неловкое положение. Но по мере того как он уходил все дальше от меня, во мне возникла решимость, и я кинулся к нему. Хотел было окликнуть: «Дядя Степан!» Но тут произошло неприятное: в него опять чем-то кинули и попали в ухо. Рука его вскинулась к виску без всякого артистизма.

Я оглянулся на хохот. Смеялись трое — девочка и два мальчика. Особенно рыжий, с надписью на груди: «Уи шэлл оверкам!» Он хохотал громче всех. Губастый, рот до ушей, и торжествующие белые зубы...

И вдруг что-то изменилось. В рот рыжему влетел ярко-оранжевый мандарин. Рыжий вскрикнул глухо, замотал головой...

Мальчик и девочка смеялись теперь уже над ним.

Рыжий мальчик вытащил наконец изо рта мандарин и швырнул его в Степана, кинулся к Степану и закричал:

— Падла психованая! Пасть порву!

Между ним и Степаном встал милиционер.

— Старик не виноват! — раздался голоса.

Несколько человек заступились за Степана, чему я очень обрадовался.

Я должен был уйти: до отхода моего поезда оставалось меньше часа. И я поехал дальше — добывать дефицитные детали. Но из головы не выходил случай на Калининском проспекте. И все вспоминалось детство.

Когда поезд стал приближаться к Чувашии, воспоминания совсем растравили мою душу.

Кончилась Горьковская область, и начались первые чувашские деревни. Овраги, похожие на те, где я пас коров...

Скрипнули тормоза. Вагон остановился.

— Поезд стоит три минуты, — объявил репродуктор.

Три минуты на станции, в сорока километрах от которой была моя деревня...

Я стал смотреть в окно на старух чувашек. Они были в национальных костюмах. Я не вытерпел, выскочил из вагона, схватив чемодан.

И вот стою в темноте на задах деревни.

Чья-то песня доносится, мычание коров. Острый запах картофельной ботвы в пронзительно свежем, влажном воздухе ночи. И все эти звуки и запахи вытеснили из меня всякие сомнения. Чего я растерялся, чего расстраивался? Разве не здесь я хотел очутиться хотя бы на мгновение? И если даже тети умерли, или куда-то уехали, или не вспомнят не только меня, но и мать, то деревня все равно стоит на месте. И если никто не пустит тебя на ночь, то рядом чернеет множество скирдов, где можно переночевать... И, наконец, так ли уж важно: пустят — не пустят, посмотреть на деревню никто не может мне запретить...

Я пошел огородами и вышел в проулок.

Что за проулок? С какой стороны деревни он расположен?

Вспомнил, когда выбрался на улицу и увидел колодец и вербу. Значит, влево, где-то к середине улицы, — клуб, а напротив — дом тети Феклы.

Я пошел по улице, которая была знакома и одновременно фантастична из-за электрического света. Не было у нас тогда электричества, как не было и многого другого...

Тут где-то должен быть сельсовет, а чуть дальше — дом старухи, лепившей с нами самолеты из глины...

А если пройти по всей улице и повернуть на непроезжую тупиковую улицу, то можно увидеть дом, поставленный на месте нашего. Наш трудно было назвать домом, и он снесен давным-давно...

Но я все же попрошу разрешения у хозяев походить по нашему огороду. Там есть места, памятные только мне одному. Как хорошо, что я оказался здесь, как замечательно!..

Проехала мимо подвода. Проехала новая длинная «Волга». Иду, заглядывая в окна домов, и ни одного дома пока не узнаю. Помню подходы к домам, даже деревья перед ними, но сами дома не узнаю — они совсем другие, со множеством окон... И яркий свет внутри, и яркие занавески, и звуки электрической эры.

Правда, стоит между ними одна изба с покосившейся соломённой крышей. Но света в единственном маленьком оконце не видно, оно черным-черно. . .

У моста встретил двух мужчин, и они с любопытством на меня посмотрели.

— Скажите, пожалуйста, — спросил я по-чувашски, — живёт ли ещё здесь Фекла Парамонова?

— Парамонова?! — удивились они. — Фекла! Как не жить, живёт! Куда ей деться.

И они стали с ещё большим любопытством меня разглядывать.

— А вы кто будете? — спросил один.

— Родственник, наверно? — спросил другой.

Мне не хотелось, чтобы люди знали, какой у Феклы родственник — грязный, мокрый и жалкий. И я сказал, что из района по делу к ней.

— Вон её дом, — объяснили они. — Вон напротив клуба!

— Спасибо, спасибо, — заторопился я.

Вдруг как-то странно обмякли ноги, заколотилось сердце. Как во сне я дошел до двухэтажного, с остекленным фасадом клуба, на месте которого стоял когда-то дощатый сарай, называемый тоже клубом.

Который же из трех красивых домов принадлежит моей тете? Ведь у нее был совсем другой дом. . .

— Девочка, скажи, пожалуйста, который тут дом Феклы Парамоновой?

— Тети Феклы? — переспросила девочка. — Вот. — И по-скакала к клубу.

Крыльцо дома тети Феклы было освещено. На мой стук долго не выходили.

Наконец появилась полная румяная старуха в пестром халате.

— Вы к мужу? . . Кто вы?

Она удивленно смотрела, как мое лицо все больше и больше расплывалось от улыбки. Я назвал себя:

— Ваш племянник, сын Анфисы.

Она всплеснула руками, затем схватилась за голову и заплакала.

Она плакала и без конца повторяла имя моей матери.

Я вошел за ней в дом, пугаясь грязи на своих ногах: крашеный пол сверкал чистотой, на нем была разостлана пестрая ковровая дорожка.

Я поискал глазами, куда бы поставить чемодан, и вдруг выпустил его из рук, застыв в оцепенении.

За широким столом у окна сидел большеносый и лысый человек с выпуклыми глазами. Человек с птичьим лицом. Сидел и пил чай. Это был Степан...

Рядом, на лавке, лежала его сетка, в которой были маленькие резиновые сапоги, брезентовые рукавицы, а мандарины лежали на столе.

Красивые, ярко-оранжевые и рыжие, как волосы того мальчишки на Калининском проспекте.

Юрий Тейх



МИНИАТЮРЫ

СО СВОИХ ПОЗИЦИЙ

Случилось тазу море увидеть,
И он такое вынес впечатленье:
«Ну что ж, в нем тоже можно постирать,
Но несколько сложнее с кипяченьем».

БАРАН И ВОЛК

Баран у волка брал уроки кровожадности, —
И волк барана слопал для наглядности.

СТРАННАЯ СИТУАЦИЯ

Все знают: славный парень Уж,
Не ядовитый и не злюка,
Пьет молоко, примерный муж,
Да только вот жена — Гадюка.

ЛОМ

Один тупой и ржавый лом
Заочно получил диплом...
Теперь не скальвает лед —
Другим ломам преподает.

БРЕВНО

Бревно стесали, столбом оно стало —
И старых друзей узнавать перестало.

СКАЗКА

Спит старый окунь в глубокой реке,
Видит во сне рыбака на крючке.

СЛОН И МОСЬКА

Что это Моська так важна?
А вышла замуж за слона.

ВЕЛИЧИНА

От одной величины
Отобрали все чины.
Оттого величина
Стала вовсе не видна.

ЖУЧКИ

Один жучок другого съел,
Поскольку просто есть хотел.
Мораль: и в мире насекомых
Немало случаев знакомых.

ПЯТНО

Хотели вывести пятно,
Но заартачилось оно:
«Поосторожней, у меня
Вверху, на солнце, есть родня!»

КОНКУРС

Среди букетов конкурс был устроен.
Казалось, каждый похвалы достоин —
Сама весна на конкурсе цвела!

И вот объявлено, что лучше всех метла,
И той метле, как этого ни жаль,
На конкурсе вручается медаль.
Ей век бы не видать такой медали,
Да вот в жюри три швабры заседали.

ЗВЕЗДА

Одно обычное бревно
Сыграло как-то роль в кино.
А после, заработка ради,
Оно болтало на эстраде
Все об одном и об одном —
Как трудно быть простым бревном,
Что очень трудно снять в кино
Обыкновенное бревно.
Мораль: все очень были рады,
Узнав, как снять его с эстрады.

ШУМ

«Как мне мешает всякий шум!» —
Воскликнул раздраженный ум.
А глупость бросила: «Я дам тебе совет:
Не думай ты о нем, и шума нет как нет!»
Она надеялась — совет ему поможет,
Да вот беда: не думать ум не может.

Эмилия Кундышева



В ПЯТНИЦУ К МАМЕ

Рассказ

Ленка всегда звонит из общежития неожиданно:

— Света, поехали в пятницу к маме? Отпросись с работы пораньше, а у меня в институте только две лекции будет.

— Да вроде недавно ездили...

— В декабре — считай, полгода назад.

И вот поездом Ленинград — Таллин мы приезжаем в пятницу вечером в Эстонию, в маленький шахтерский городок, где живет наша мама.

Как всегда, пахнет сланцем, дымят трубы химкомбината, коксовая пыль лежит на молодой зелени привокзального сквера. Только гигантский террикон — эта искусственная гора шлака, — похожий на огромный пьедестал Медного всадника, стал как будто еще выше, а городок — соответственно, ниже.

Мы проходим мимо кинотеатра с афишей на эстонском языке, мимо уютных магазинов, у витрин которых обязательно останавливаемся, мимо нового стадиона и старого здания почты и подходим к современному кварталу серых узких домов. Перед маминым домом два дерева. Мы поднимаемся на пятый этаж, звоним...

Мама открывает дверь, сначала удивленная: «Кто бы это мог быть?», потом радостная: «Дочери приехали!», потом делает испуганное лицо:

— Ленка, как ты похудела! Светка, ты что, губы стала красить? С ума сошла!

Мы проходим в комнату и, усталые, кидаемся на диван. На высоком, от пола до потолка, стеллаже знакомые ко-решки книг и новые книги, лежащие сверху как попало. На стене фотография Ленки-школьницы с деланной улыбкой. Посреди комнаты круглый стол с вазой. Этот стол, несмотря на остальную современную мебель, придает комнате старо-модный вид и к тому же делает ее тесной. Его можно было бы отодвинуть к окну, а вазу поставить куда-нибудь подальше, в темный уголок, но мама не хочет: «Ни за что! Так было в моем детстве. Только еще большой абажур висел».

Ленка включает телевизор. Слышно, как мама хлопочет на кухне: без конца чиркает спичками, звенит посудой, что-то роняет. Потом входит в комнату, спрашивает, был ли вчера в Ленинграде дождь; не дослушав до конца, интересуется, свободно ли мы купили билеты на поезд, и вдруг мгновенно вскипает:

— Ну сколько можно говорить, просить, чтобы снимали грязную обувь!

Она начинает выискивать на полу грязные следы, возму-щается; чайник гремит крышкой.

— Ну, хватит, мама! Каждый раз одно и то же...

Потом садимся за стол, ужинаем, рассказываем: я — о ра-боте, Ленка — про учебу. Мама кивает головой, улыбается, огорченно вздыхает, но все равно кажется, что она слушает рассеянно, как будто бы думая про себя: «Как хорошо, что мы опять вместе, все трое, сидим, разговариваем, смеемся!»

Я смотрю на маму, на темную ее курчавую голову, боль-шие, всю жизнь удивленные (кто-то сказал — «сумасшед-шие») глаза, на прекрасные голубоватые зубы. Ленка счи-тает, что именно они делают мамин облик таким молодым. Наверное, тут еще дело в фигуре — очень прямой, подтяну-той. А может быть, в движениях, по-юному угловатых и ра-скованных, или в том, как она говорит — быстро, возбужденно и непоследовательно, во всем мамином поведении и манерах. Так, она любит читать, став коленями на стул, а локти уперев в стол, или, о чем-то думая, теребит пальцами нижнюю губу совсем как девочка.

В общем, когда мы все вместе, нам с Ленкой обязательно скажут: «Это ваша мать? Такая молодая? Сколько же ей лет?»

— Мама, ты потрясающе выглядишь! — говорю я.

— Да ну! — улыбается она и, прищурившись, рассматри-

вает себя в зеркале. Потом подходит к шкафу. — Вот, купила себе платье!

Примеряет его, поворачивается перед нами, вдруг, вспомнив про печенье, бежит за ним на кухню, пьет чай в новом платье, опять вскакивает:

— Кого я сейчас вам покажу! — Уходит на лестницу. Появляется с рыжим котом на руках. — Разрешите вам представить — это Васька, — смеется она и подносит нам его поближе. — Лестничный бродяга и хулиган!

— Мама, он же грязный! — отстраняется Ленка.

— Нет, вы только посмотрите, какая у него хитрая морда. Где ты шлялся, бесовестный?

— Мама, а как у тебя работа? — меняю я тему.

— По-разному, — начинает брать разбег мама. — Сделала два рационализаторских предложения, но, чтобы их протолкнуть, надо подготовить уйму бумажек. Просто руки опускаются! Могу вкратце рассказать. Дело в том, что наш цех из сланца делает формалин, а формалин. . .

Нам с Ленкой скучно слушать про формалин и про бумаги, которые не подписывает директор.

— И главное, я ни в ком не нахожу сочувствия, никто не верит, что способ даст экономию в десятки тысяч рублей. . .

Я зеваю, а Ленка уходит в ванную.

— Что, неинтересно? — спохватывается мама.

— Вообще-то уже поздно, — вздыхаю я, — но ты говори, говори. . .

Я понимаю, что мама рассказывает о наболевшем и близком ей, но уже двенадцать часов, и мы устали.

— Да ладно, — машет рукой мама. — Давайте ложиться. Я на раскладушке, вы с Ленкой на диване.

Перед сном обязательно поругаемся. У мамы есть привычка говорить об одном и том же по нескольку раз, и притом вещи не всегда приятные. Глядя на раздевающуюся Ленку, она говорит:

— Ленка, ты прямо как кощей худая!

— Ну зачем ты так?

— А что?

— Неприятно слушать!

— А ты ешь побольше!

И пойдут пререкания.

Наконец ложимся. В темноте разговариваем, смеемся. Мама

рассказывает про комбинатовскую библиотеку, про свойства сланца, про гастроли в ее городке ленинградских артистов.

— Спать хочется, — пробурчит Ленка и сонным голосом добавит: — Мама, не знаешь, спортивный магазин завтра открыт?

Однажды на работе я случайно встретила женщину, которая училась с мамой в Политехническом институте.

— Вы дочка Маши? — Она внимательно рассматривала меня и вместо обычного: «Как быстро идет время!» — сказала: — Ваша мама... Если бы вы знали, какая она была! Самая красивая девушка в институте. Помню, к ней часто на улице подходили художники, просили позировать, хотя среди них были и просто донжуаны. Но вашей маме и так хватало поклонников. А какая способная! Все сессии без труда на пятерки сдавала. Я никогда не знала — то ли она занимается, то ли стихи пишет! Она сочиняла прекрасные стихи!.. Только вечно все теряла: расчески, кошельки, платочки. Да, если бы не ее характер — какой-то взбалмошный, восторженный! — все могло бы быть по-другому. В наше время быть такой неприспособленной! Я всегда говорила ей, что ваш отец — он учился в соседней группе — это находка. На последнем курсе они поженились. Потом встречаю ее, спрашиваю: «Как живешь?» — а она: «Скучно с ним, все у него по полочкам разложено — рубашки, бумажки, дела, мысли. Тебе не понять...» Ну конечно, мне было не понять, что плохого в человеке, который не пьет, не курит, перспективный инженер, хороший семьянин. Что ж, — она скорбно опустила глаза, — тот геолог был полной противоположностью вашему отцу... Мы, ее друзья, очень переживали эту историю. Потерять ленинградскую прописку, бросить аспирантуру... Я как-нибудь занесу вам снимок, где мы с вашей мамой в парке — перед сессией.

И я увидела фотографию двух сидящих девушек с книгами на коленях. На маме темное платье в белый горошек с изящными кружевными манжетами и воротничком. Она откинулась на спинку скамейки и распластала по ней тонкие оголенные руки. Голову склонила на плечо и загадочно улыбается. Колени расставлены, и книги провалились в подол платья.

— Вот такая была ваша мама... Я говорила ей...

Да, она, конечно, «говорила ей» и учила жить ее, эта де-

вухка, которая сидит на скамейке прямо и держит учебник так, чтобы видно было его заглавие. И сразу можно представить ее в будущем — примерной женой и матерью, а также сотрудником, ни разу не нарушившим трудовую дисциплину. Она будет жить вместе с мужем и детьми в отдельной большой ленинградской квартире и постепенно откладывать сыну на кооператив на случай его женитьбы.

— Увидите ее — передавайте привет! Будет в Ленинграде — пусть останавливается у меня. Я живу в отдельной трехкомнатной квартире. . .

Утром мы встаем с Ленкой, предвкушая поход в магазины.

— Не забыть бы отбеливатель купить! . .

— «Вана Таллин» просили еще привезти. . .

Наскоро завтракаем и ждем одиннадцати часов. За окном дымят трубы, по горе медленно ползут вагонетки. Они движутся вверх-вниз по желобу, напоминающему скелет ящерицы, голова которой лежит на вершине, а хвост потерялся у подножия среди комбинатовских корпусов.

— Мама, твой цех у той длинной трубы?

— Да, а что?

— Далеко.

— А я люблю ходить на работу пешком. Кстати, отсюда не видно, что рядом с цехом лес. Буквально метров двести. Я знаю одно место, где растут ландыши. Вы бы видели, сколько их! Может, сходим?

— Да нет, разве что потом. Сейчас в магазины.

И выходим из дому — мать и две дочери. Мы с Ленкой, конечно, в брюках, сумки через плечо, волосы распущены. Мама в синем пальто, в берете, чуть смущенная — городок небольшой, и все увидят Марию Всеволодовну с ее взрослыми дочерьми. Ее знают, потому что она начальник химической лаборатории комбината, потому что сочиняет стихи для вечеров самодеятельности.

Мы входим в магазины. И начинается:

— Светка, примерь это платье. — К продавщице: — Нет, платье не подходит, у нее слишком длинные руки!

— Мама!

— Покажите другое! . . О господи, что за фасон?!

Потом идем в отдел сувениров. Нам с Ленкой неудобно за маму.

— Покажите, пожалуйста, эту сумку.

— Вы же видите, я занята!

— Простите, я не заметила. А сколько стоит эта сумка? Ленка, она тебе не нравится? Возьмите ее обратно.

На нас смотрят. Потом мама, заметив наше смущение, затихает. Пока мы с Ленкой выбираем подсвечники, она отчужденно стоит у окна и глядит на улицу. На улице она опять спрашивает:

— А за ландышами сегодня пойдем?

Я вижу, как мечтает она повести нас в лес, но ничего не могу с собой поделаться.

— Уж очень далеко! Что-то не хочется. Может, завтра?

— Да вы же поедете утренним поездом...

— А мне еще к девочкам надо зайти, — говорит Ленка.

Мы возвращаемся домой, обсуждаем купленные тряпки, обедаем, ссоримся. Неожиданно за столом мама говорит:

— Хотите послушать мои стихи? Писала для нашей газеты к Восьмому марта, а вышло — для себя...

И начинает читать.

— Здорово! — произносит Ленка, расчесывая волосы. — Настоящая поэтесса!

— Прямо как Цветаева, — улыбаюсь я.

— Смеетесь? Не буду больше читать!

У нее расстроенное лицо.

— Все, больше не будем. Извини. Читай, — уговариваем мы.

Я делаю Ленке строгие глаза, и Ленка кладет расческу. Мама встает, подходит к окну и, повернувшись к нам спиной, произносит:

Ах, это страшное пророчество
Про будущее одиночество!

.

Но предсказания не сбылись —
Ведь есть еще зеленый лист,
Улыбка, песня, разговор
И зимний на окне узор.
Воспоминания, пророчества...
Да разве это одиночество!

Она замолкает и с минуту стоит неподвижно, прижавшись лбом к стеклу. Потом круто поворачивается и с улыбкой спрашивает:

— Ну как?

— Как отец? — спрашивает меня перед сном мама.

— Все так же. Полнеет, давление высокое.

— А Зоя как?

— Хорошо. К даче готовится, консервы закупает.

Зоя — моя неродная мать. С ней и отцом я живу с пяти лет. Она прекрасный человек и любит меня, потому что любит отца. И чем старше я становлюсь, тем больше ценю ее и благодарность моя возрастает...

Но сейчас о моей маме.

Осталось в памяти, как отец стоит с мамой посреди комнаты. Они как будто бы ждут гостей. Он положил руки маме на плечи и, мучительно глядя ей в глаза, говорит:

— Пожалуйста, будь хорошей!

Я отчетливо помню эти слова, очевидно потому, что они были так мне понятны и знакомы.

Мама раздраженно поводит плечами и говорит примерно такие слова:

— Неужели так будет всю жизнь? Эти просьбы, упреки, порядок, нравучения? Твоя убийственная безупречность! Просто не могу представить, как долго я выдержу!

И она не выдержала.

Позднее, когда я выросла, мама рассказывала, что отец всегда был придирчив к ней, раздражителен, возмущался ее бесхозяйственностью, и, когда она сообщила ему, что встретила будущего Ленкиного отца, он не выглядел несчастным и убитым. Его давно ждала женщина, которой теперь он сказал:

— Ты мне дорога как человек, остальное придет потом. На прощанье мой разумный отец спросил маму:

— А ты не ошибаешься?

— На этот раз — нет! — ответила она. — Это удивительный человек! Настоящий романтик! Любит стихи, музыку. И где только не побывал! Я готова на все ради него.

И действительно, после развода она бросила все и уехала с ним, геологом, на строительство шахты в Эстонию, в небольшой рабочий поселок, возникший на месте бывшего немецкого концлагеря.

За мной она обещала приехать, как только устроится на новом месте.

Мама приехала за мной через два года. Помню, как она сидит у нас в комнате ужасно худая, в красном платье. На руках — завернутая в байковое одеяло трехмесячная Ленка.

Она привезла ее с собой, так как Ленку не с кем было оставить. Ее отца с ними не было. Их с мамой ничто уже не связывало — ни дом, ни закон, ни чувства. «Только бы Ленка не выросла такой же жестокой и несдержанной! Особенно невыносим он пьяный», — сказала она однажды.

— Маша, — уговаривает отец, — тебе одной с Ленкой трудно, а с двоими совсем тяжело будет. А до Ленинграда всего пять часов езды. И Светка привыкла, ей хорошо здесь.

Мама целует, обнимает меня, перепеленывает Ленку, которая кричит и кашляет, качает ее и прерывающимся голосом говорит:

— Только бы не было воспаления легких! Мы пока с ней в деревянном бараке живем. Ужасная холодина! Вот построят дом — квартиру получим. Мне, как инженеру, обещали дать в первую очередь. Зоя, у вас не найдется старой ненужной простыни, а то она опять мокрая. Светочка, милая, ну иди сюда. Ты хорошо кушаешь?

За столом слышно, как дребезжит ложка в ее руке.

— Нервы никуда не годятся, — шепчет, как бы оправдываясь, мама.

— Ничего, все будет хорошо, — утешают ее.

Так я осталась в Ленинграде. И если что-нибудь теряла, забывала, сердилась или радовалась по пустякам, отец с мамой сокрушенно качали головой: «Вылитая Маша!»

Мама приезжала в Ленинград часто, привозила мне игрушки, книжки, эстонские шапочки и свитера и, примеряя, удивлялась, как я быстро расту. Если к нам приходили гости, она сидела на кухне и, когда ее звали к столу, испуганно отказывалась:

— Нет, нет, спасибо, я не хочу.

А гости говорили:

— Зоя, вы героическая женщина! Другая бы на вашем месте не церемонилась. . .

Она никого не хотела видеть, ни с кем не встречалась, даже со своими старыми ленинградскими друзьями.

— Ненавижу расспросы, да и одета плохо!

Через несколько лет я стала ездить к маме сама и возить от нас всех подарки Ленке.

Ленка не похожа на маму. У нее прищуренные насмешливые глаза, уверенные движения. Она спокойная, замкнутая. Со стороны кажется, что она намного опытнее и серьезнее

мамы. Маму она считает чудачкой и часто говорит с ней устало-ироническим тоном.

Но в Ленинграде в общежитии она скучает по дому, по маме и время от времени, накануне пятницы, звонит мне: «Поехали? . . .»

И мы едем с ней к нашей маме, только Ленка по студенческому, а я, увы, уже как окончательно взрослый человек.

Когда Ленка была в восьмом классе (это она мне рассказывала), в маму кто-то влюбился. Ленка вынимала из почтового ящика толстые письма с обратным таллинским адресом, куда мама часто ездила в командировки, и, когда подавала их маме, та смущалась. На туалетном столике стояла фотография улыбающегося мужчины на фоне озера, со спиннингом в одной руке и большой рыбиной в другой. На обратной стороне была надпись: «Этот улов посвящаю тебе».

— Кто это? — как-то спросила Ленка.

— Это один мой знакомый, — зардевшись, ответила мама и, не удержавшись, добавила: — Удивительный человек! Правда же, какое у него доброе, хорошее лицо?

Она много смеялась, напевала песни и, останавливаясь у зеркала, спрашивала:

— А что, если волосы приподнять?

И конечно, однажды Ленка прочла потихоньку письмо, в котором кто-то писал маме, что не может жить без нее, но не в силах бросить семью. Так продолжалось год. Потом почта приносила одни газеты и мама все вечера лежала на диване, повернувшись лицом к стене.

Тогда же у нее пошли неприятности и на работе. Дело началось со стенгазеты, для которой мама очень остроумно сочинила стихотворение про начальство, присваивающее себе большие премии.

— Вы с ума сошли! У вас будут неприятности, — предупредил ее редактор стенгазеты. — Разве можно так критиковать начальство?

— Не понимаю, — ответила мама. — Тут все правда. Пусть делят премию по-честному. К тому же стихи сами по себе вышли неплохие.

Сначала ее вызвали в местком, затем в партком, потом еще куда-то.

Те, кто еще недавно на работе почтительно с ней здоровались, теперь делали вид, что не замечают ее. В шумной комбинатовской столовой она сидела за столиком одна, и сную-

шая рядом уборщица небрежно махала шваброй по ее ногам. Ее грозили уволить.

Ночью она вставала, принимала снотворное и громко шептала: «Что же это творится!»

Позднее она улыбалась, когда говорила: «Наверное, мне надо было бы стать юристом». Факт тот, что после собраний, разбирательств, рассмотрения соответствующих инструкций, законов мама осталась на прежнем месте.

Люди вновь улыбались ей, и уборщица спешила вытереть стол, за который она садилась.

Но она устала. За эти месяцы и за все предыдущие годы. Она приходила домой рассеянная, иногда вдруг громко говорила сама с собой, качала головой, неожиданно хмурилась или улыбалась каким-то своим мыслям.

— Вашей матери надо лечиться, — сказали Ленке в поликлинике. — Тем более такой возраст — сорок четыре года.

И вот мы с Ленкой в больнице. Обычной, с нервным отделением. И разговариваем в коридоре с мамой, одетой в лиловый фланелевый халат и большие растоптанные туфли:

— Как ты себя чувствуешь?

— Да вроде лучше. Только не сплю.

— А ты спи.

— Вот тоже советчицы!.. А я очень страшная в этом халате?

Мы подаем ей яблоки, конфеты и банку манго.

— Вы же знаете, я терпеть не могу этот сок, — раздраженно говорит мама и отталкивает банку. — Будто нарочно принесли!

— Мария Всеволодовна, пора в палату, — обращается к ней подошедший доктор.

— Сейчас, сейчас, — отвечает мама. — Это мои дочери. Похожи на меня?

Это было несколько лет назад и больше не повторялось, но я никогда не забуду, как мы машем ей у забора больницы рукой и она в окне кажется бледным глазастым подростком. Она улыбается и почему-то грозит нам пальцем.

В прошлый приезд, вечером (Ленки не было дома — она убежала к своим подружкам), мама плакала. А когда перед тобой, двадцатипятилетней, которой самой говорят: «Ты еще молодая, потом поймешь», которая сама нуждается в советах

и помощи и может разреваться по пустякам, плачет мама — это невыносимо. И жалко, и неловко, тяжело и почему-то стыдно. А моя мама плакала, всхлипывая, обливаясь слезами, и, не найдя платка, вытирала лицо руками.

— Ну не надо, мама, успокойся. . .

Она упала головой на стол, как падает на парту ученица после несправедливой двойки.

— Ну мама! . .

Она подняла искаженное страданием и гневом лицо:

— Не смей мне больше задавать идиотских вопросов, почему я одна, почему. . .

— Я только спросила. . . и ничего не хотела этим сказать. . .

Я приношу стакан с водой, даю ей выпить и стараюсь ее успокоить:

— Наоборот, ты хорошо живешь, сама себе хозяйка. Вон у нас знакомая. . .

И рассказываю про какую-то женщину, у которой муж пьяница, ночью буйнит, она без денег. . .

— Да, — говорит мама и вытирает слезы, — я независима, что хочу, то и делаю, на работе меня ценят, у меня есть Ленка и немножко ты. . . Мне нехорошо только в праздники, когда за стеной веселятся соседи, в выходные, когда плохая погода, и в свой день рождения, если вас нет! . . И прошу тебя: никогда не задавай мне глупых вопросов.

За окнами была ночь, и в темноте на терриконе красным светом горели глаза «ящерицы». В комнате пахло сланцем.

Я захлопнула форточку и задернула шторы.

— Ну мама, не надо!

Утром мы уезжаем. Застегиваем толстые сумки, завязываем пакеты.

— А свечки не забыли?

— Мама, сколько я тебе должна?

— Потом, с получки отдашь. А тебе, Ленка, деньги пришлось после двенадцатого. Пока живи на стипендию. И пожалуйста, ешь побольше.

— Мама, ты что понесешь?

На лестнице мама останавливается:

— А где Васька?

Мы выходим во двор, и она, озираясь, зовет:

— Васька, Васька!

— Мама, мы же опаздываем!

— Куда же он мог запропаститься? Васька, кис-кис-кис! Ведь если убежит на хлебозавод, оттуда уже не вернется. Васька!

Мы нетерпеливо уходим вперед, и она догоняет нас.

— Вот бродяга! Опять убежал. Как вы думаете, он найдется?

На перроне, в ожидании поезда, мама говорит:

— А за ландышами так и не сходили...

— В следующий раз пойдем.

— А когда вы приедете?

— Не знаем.

— Так зачем говорить? . . .

Ленка устало вздыхает. Я смотрю на часы. Наконец подходит таллинский поезд. Мы целуемся с мамой, вскакиваем в вагон, она подает нам сумки.

— Ленка, скорей свободные места занимай! — кричу я.

Пока мы ищем свободные места, поезд трогается. Мы подлетаем к окну, но маму уже миновали. Краем глаза успеваем увидеть, как она смотрит в проплывающие мимо окна и растерянно улыбается.

— Все-таки тяжело с ней, — говорит Ленка, доставая из сумки «Силуэт».

— Угу, — отвечаю я и, откинувшись на спинку сиденья, закрываю глаза. Все должно быть не так. Однажды все будет по-другому.

Мы приедем в Эстонию летом и сразу же, с утра, забыв про магазины, домашние ссоры и хлопоты, поедем втроем на побережье — ведь холодное чистое море от мамы недалеко.

Мы выйдем из автобуса на остановке со странным певучим названием «Мыза Аа» и прямой дорогой пойдем к морю.

Сначала через зеленое поле пшеницы. Ленка соберет каких-то лиловых цветов вперемешку с колосьями, и мы попробуем еще незрелые зерна.

Потом — вдоль сада старой усадьбы (ныне дом престарелых), в которой маленькие тихие старички будут долго кивать нам головами.

Потом через прохладную ореховую рощицу.

— Как хорошо здесь! — улыбнется мама и глубоко вздохнет. Она сорвет с куста лист и покажет: смотрите-ка, ни пылинки!

И наконец выйдем на берег.

— Вы знаете, — скажет мама, — я никогда не занималась спортом, а плыть могу сколько угодно. Это для меня все равно что идти.

Скинув туфли и увязая в теплом песке, мы пересечем дюны и ступим в воду.

— Холодная, — поежится Ленка, — что-то не тянет купаться.

— И меня тоже, — поморщусь я.

— Ерунда, — скажет мама.

Она разденется и быстро войдет в воду. Потом окунется и поплывет. Она будет плыть долго-долго, пока мы не закричим:

— Мама, хватит, плыви к берегу!

Сначала она оглянется, как будто сомневаясь, стоит ли возвращаться. Потом повернет назад.

Я достану из сумки махровое полотенце, а Ленка нальет из термоса кофе, чтобы, выйдя из холода на берег, наша мама согрелась.

Владимир Шалыт



ТИШИНА

Река кипела белой пеною,
Вздыхалась синею волной,
Река себя считала первою
Войну начавшей с тишиной.

Но выпал снег, река застыла,
Утихли волны подо льдом,
И только ветер с новой силой
Гудел на холоде седом.

Гудел и пел в пурге неистово,
Вздыхался снежною стеной,
И он считал себя единственным
Войну начавшим с тишиной!

А вслед за ветром с новой верою,
С бессмертной верою солдат,
Уже себя считали первыми
Гроза, и дождь, и листопад,

Не понимая, что завертит их,
Закрутит вечная война. . .
И на границе их бессмертия
Уже стояла тишина.

* * *

Если все невзгоды отлетели,
Если начинается весна,
Здравствуй, звон несбывшейся капли!
Здравствуй, Лена Головина!
...Здравствуй все, что дорого и мило, —
Белки в Ботаническом саду,
Стен Кремля незыблемая сила,
Отраженье воздуха в пруду,
Отраженье воздуха в апреле,
Телевышки пенье в небесах.
Здравствуй, звон несбывшейся капли
И Москвы бескрайняя краса!
Ты мой мост и ты мой дом заветный.
Я иду к твоей голубизне
По сухой, прозрачной, ярко-светлой
Мостовой, единственной в стране.
...Я люблю в Москве дышать Москвою!
Или в Александровском саду
Завертеться с красною листвою.
...Я к тебе, любимая, иду!

Алексей Ларионов



КОРИФЕИ И ХОРИСТЫ

Повесть

Часть первая

ВОЗНЕСЕНИЕ ХОРИСТА

ГРИМАСА ФОРТУНЫ

Я на работе не корифей, а хорист, однако нисколько не огорчаюсь от этого. Шеф дает мне вычерчивать простые детали, вожу карандашом по бумаге, а думаю обо всем на свете, прислушиваюсь и приглядываюсь. Мне интересно наблюдать за сотрудниками. Иногда кажется, я знаю все их мысли и даже тайные мечтания.

Наиболее понятен для меня, конечно, мой шеф. Зовут его Федор, а фамилия у него очень удобная — Лобык, потому, когда его нужно похвалить, называют Лоб, а если поругать — то Бык.

Федор Лобык — инженер, руководитель группы, состоящей из одного меня. Его власть надо мной безгранична — что заставит, то и делаю. Он самодержец: сам выполняет разработки, сам — сложные чертежи, сам — трудные согласования. На мою долю остаются мелочи и бумажная волокита.

Живем мы с шефом дружно, ходим друг к другу в гости, ибо кульманы у нас стоят рядом.

Лобык немногословен. Подойдет, посмотрит, дернет головой с прямыми белокурыми волосами и скажет:

— Хы!

Это значит, он недоволен. Приходится брать в руки резинку.

Через час снова подойдет, посмотрит, улыбнется, сделает рукой, как Юрий Долгорукий на коне, и радостно выпалит:

— Во-о-от!

Это значит, я ему угодил.

Я не такой — болтун от рождения, но ведь с кем поведешься, от того и наберешься! Подхожу к шефу, смотрю на его разработку, тоже дергаю головой, говорю «хы!» и ухожу. Слышу — Лобык запыхтел за кульманом. Пыхтение продолжается с полчаса, потом начинается негромкий тошнотворный зуд: «Поле, русское по-о-о-ле-е!», и одновременно кульман приходит в движение. Дрожит не только Лобыкова доска, но и пол, и мой кульман. Это шеф приступил к творческой работе резинкой.

Через некоторое время все затихает. Лобык чертит, а русское поле никак не дает покоя ни ему, ни мне.

Федор говорит хорошим мужским голосом, а поет неизвестно каким — удивительно противно. Сигналю карандашом по доске. Лобык обрывает трель, а через минуту — опять:

— Поле, русское по-о-о-ле-е!

Но вот наконец-то смолкли звуки чудных песен, можно идти в гости.

Шеф развалился на стуле, прищурившись смотрит на свой ватман. А на ватмане. . . Ох и Лоб! Ну откуда что в человеке берется? Семь вариантов! Расстреляй меня — не придумал бы!

Старательно маскируя свои эмоции, силюсь определить, какой из вариантов лучше. Лобык не торопит, ждет. Стою, думаю, потом решительно тычу пальцем:

— Этот!

Когда наши мнения совпадают, я вырастаю в собственных глазах. А вообще-то мне до Лобыка что до неба, но Федор ни словом, ни взглядом никогда не показал своего превосходства надо мной.

Изредка ему звонит молодая жена, учительница английского языка; еще реже — мать, которая работает диспетчером механического цеха. Они узнают мой голос по телефону, когда я снимаю трубку.

Жена просит:

— Федю, пожалуйста!

Мать требует:

— Мне — моего ремеслуху!

Лобык рос без отца, с детства на заводе, сначала — ремесленником, потом — рабочим. Без отрыва закончил втуз, молодчага! А для матери все еще «ремеслуха»!

С моего рабочего места Лобыка не видно, а мне нравится на него смотреть, особенно когда он думает над чертежом и в глазах у него зреет мысль. . .

Однако и за другими людьми я тоже наблюдаю с интересом. Пожалуй, на войне я был бы неплохим наблюдателем, если бы у меня, конечно, хватило смелости усидеть на наблюдательном пункте. . .

А здесь, из-за кульмана, наблюдать проще всего.

Вот и сегодня смотрю и вижу, что Елизар Иванович Валандин, ведущий инженер, почти корифей, единственный и незаменимый специалист по экспортным поставкам, появляется в отделе точно со звонком. Он степенно подходит к своему столу, усаживает свое грузное тело в жесткое деревянное кресло, не торопясь разворачивает вынутые из сетки сверточки, пакетики, кулечки и спокойно начинает кушать. Багрово-красное, лоснящееся лицо Елизара Ивановича дышит довольством. Ритмично двигаются на лице борода и усы желтого цвета, вверх-вниз ходят розовые, топориками, уши, убагловренно поблескивает лысина. Он аккуратно, специальной игрушечной финочкой, режет на ломтики колбасу, ест и смотрит в широкое окно.

За окном покачиваются разлапистые каштаны.

Опустошив кулечки, Елизар Иванович отворачивается от окна и начинает точить финочку. Она служит ему не только для выполнения колбасных операций, этой же финочкой Елизар Иванович подчищает кальки. Длиною она всего пятьдесят миллиметров (если не считать набранную из разноцветной пластмассы рукоятку), сделана из хорошей легированной стали.

Елизар Иванович точит финочку долго, любовно, пробует на палец, на бумагу, на бороду. Направляет до нужной остроты, открывает папку с экспортными заказ-нарядами, и тут — звонок на обед. Лево́й рукой Елизар Иванович отталкивает папку, право́й подтаскивает толстенный справочник и, опустив на него голову, засыпает. . .

Каждый день, сидя за кульманом, слева от себя я наблюдаю одну и ту же картину: шевелящуюся желтую бороду, кусочки колбасы, финочку, Елизарову лысину на толстом справочнике. А сейчас я совершенно ясно вижу, что Елизару Ивановичу снится страшный сон, будто главный конструктор Иван Петрович назначил его, Елизара Ивановича, начальником отдела! Рухнула размеренная, неторопливая жизнь Валандина! На его плечи лег тяжкий груз: месячный отчет, составление разных планов, проработка распоряжений, приказов, протоколов, ведение обширной деловой переписки. И плюс своя основная работа, бутерброды с маслом и докторская колбаса!

Елизар Иванович вскакивает, словно подброшенный пружиной. Это я тоже вижу. Вижу отчетливо, хоть голова ведущего инженера покоится на справочнике.

Стол Елизара Ивановича, на котором обычно лежит несколько бумажек, сейчас завален, как во время предпраздничной уборки. На нем кроме экспортных заказ-нарядов, папки с ГОСТами и толстого справочника — стопа рацпредложений, груда технологических заявок на изменение чертежей и ворох писем. Растерянный Елизар берет наугад несколько бумаг. Резолюции главного инженера, начертанные наискосок, требуют: «Проработать срочно!», «Выслать немедленно!», «Разобраться и дать ответ!», «Доложить о состоянии дел завтра!»

А завтра уже прошло! Оно было вчера! Что делать?

На доклад к главному никто не ходил, о состоянии дел Елизар Иванович никакого понятия не имеет!

Кровь бросилась в его голову, сердце рванулось, сам Валандин — тоже и... грохается на пол со своего деревянного кресла!

— Елизар Иванович, у вас что-то упало! — бесстрастным голосом сообщает Федор Лобык, а Валандин, полежав на полу, встает, подправляет сломавшийся подлокотник у кресла...

Обеденный перерыв закончился. Елизар Иванович садится на место и раскрывает папку с заказ-нарядами. Через пять минут он зевает и произносит, поглядев в мою сторону:

— Жизнь конструктора — сплошная борьба! До обеда — с голодом, после обеда — со сном!

Перед окнами нашего КБ не только разлапистые каштаны, но и сверкающая Нева.

Геня Кривонос тоже сидит у окна. Он так трудится за своим кульманом, что из-под карандаша идет дым и сыплются

искры. Он разрабатывает новый регулятор, и на его ватмане стремительно появляются поршни и поршеньки, втулки и втулочки, клапаны, седла, рычаги первого и второго рода, пружины, пробки, тяги, штоки, ручки и штучки. Геня не смотрит в окно. Его не соблазняют ни солнце, ни воздух, ни вода, и он трудится так, что клубы пара поднимаются над его согбенной спиной. Геня и гений — не одно и то же, но Кривонос благодаря регулятору надеется прославить в веках свое имя. . .

А сновидение Елизара Ивановича оказалось пророческим.

— Валандин, к Ивану Петровичу! — то есть к корифею № 1.

Елизар взвизгивает с места и становится белее ватмана.

Корифея № 1 называют Иваном Грозным. Скор на расправу и шуточек не любит! Когда он выходит из своего кабинета и направляется по главному коридору, курильщики и анекдотчики, расшибая лбы дверями, скрываются в туалетных комнатах, лишь бы не попасться ему на глаза. Нерасторопные спасаются у доски приказов, которые читать всем строго обязательно. Они утыкаются в доску носом и начинают лихорадочно шевелить губами.

Когда Иван Грозный заходит в отдел, начальник отдела начинает бесцельно перекидывать на своем столе бумажки с места на место и, заикаясь, нести какую-то чепуху. После ухода корифея № 1 он хватается за сердце, к нему бегут перепуганные сотрудники, укладывают его на сдвинутые стулья и вызывают врача.

Должность начальника отдела — не сахар.

Елизар Иванович, провожаемый сочувственными взглядами, медленно бредет к кабинету главного конструктора. Оттуда выходит минут через пять еще медленнее и до своего места не доходит — садится на первый попавшийся стул. Взволнованные сотрудники выскакивают из-за кульманов и окружают ведущего инженера.

— Что?

— Как?

— Зачем?

— Предложил должность начальника?

Елизар Иванович дрожащей рукой вытирает вспотевшую лысину.

— Предложил, — тихо отвечает он.

И опять ливень вопросов:

- А вы?
- Согласились?
- Нет?

Ведущий инженер медленно поднимается, сует скомканный платок в карман.



- Я отказался! — с достоинством произносит он.
- Вот чудак!
- Елизар Иванович, что ж вы?
- Бегите обратно, скажите: «согласен»!
- Елизар Иванович мотает головой:
- Нет! Шут с ними, с деньгами. Здоровье стало не то!
- И идет на свое место.
- В комнату вбегает младший техник Нина Кроликова:

— Шуба! Грозный!

Мгновенный шорох, и в проходе — ни души. Словно по команде кульманы заходили, заскрипели, задрожали. Открылась дверь. Корифей № 1 ступает на ковровую дорожку, идет меж кульманами, сверля взглядом затылки своих потерявших дар речи хористов. В напряженной тишине корифей проходит вдоль всей комнаты, поворачивает обратно, и вдруг сзади него раздается скрипучий голос Гени Кривоноса:

— Иван Петрович, подойдите ко мне!

От неожиданности и изумления испуганные хористы и хористки столбенеют, а у корифея медленно валится вниз нижняя челюсть. . . Он останавливается, подходит к Кривоносу, а тот делает широкий жест в сторону своей доски и начинает вкручивать. Он, мол, работал три месяца, изучил такие-то и такие-то отечественные и иностранные материалы, побывал там-то и там-то, консультировался с тем-то и с тем-то, и в результате появились чертежи, расчеты. . . Пожалуйста, полюбите! Кривонос убежден: в его регуляторе налицо мировая новизна! Он, Кривонос, не просит, он требует, чтобы в его распоряжение был выделен грамотный инженер для просмотра патентных материалов по классу такому-то. Пусть этот инженер поедет в Москву, изучит все последние поступления в библиотеке, чтобы можно было со спокойной совестью написать заявку на изобретение. Заявку, конечно, составит сам Кривонос, а потом любезно попросит Ивана Петровича как главного конструктора дать свои замечания и назвать фамилии авторов.

— Хорошо, я подумаю! — захлопнув отвисшую челюсть, отвечает ошарашенный Иван Петрович. — Зайдите ко мне в кабинет!

Что творилось после ухода Ивана Петровича и Кривоноса — описать не берусь, а когда хористы немножко успокоились и разошлись по местам, вдруг за последним кульманом начались истерические рыдания. Это самая старательная и аккуратная из техников Полина Бурдо увидела, что натворил внезапный приход корифея № 1. Во время беседы Кривоноса с Иваном Петровичем она в беспамятстве стерла со своего чертежа все, что было вычерчено ею за неделю. Все малюсенькие гаечки, шайбочки, винтики, изображенные на общем виде в масштабе один к пяти, были уничтожены, как будто по чертежу прошел Мамай со своей ордой.

Кривонос явился из кабинета главного конструктора не Геней, а Геннадием Борисовичем, начальником отдела К-65.

С этой знаменательной секунды началась новая эра в истории.

«ПЛАМЕННОЕ ЗДРАСТЕ!»

На радостях Геннадий Борисович в воскресенье устраивает скромный семейный праздник. Целое утро Геня трет хрен, а его жена Инна Львовна печет яблочный пирог и разные завихрюшки с маком и с изюмом. За столом Инна Львовна с обожанием смотрит на мужа и подливает в его рюмку. Захмелевший Геннадий Борисович вдохновенно рассказывает тестю о своем регуляторе и о новом, ответственном назначении. Тесть ухмыляется и пьет за его успехи, изредка вставляя Геннадию в бока каленые шпилечки:

— Интегральные-то исчисления ты сколько раз ходил сдавать?

— Четыре! — на ходу отвечает Геня и дует дальше.

— Сдал все-таки? Все сдал? — неторопливо, через интервал спрашивает тесть.

— Все! — палит Кривонос.

— Себе ничего не оставил?

Геня на мгновение спотыкается, а потом опять начинает нести о регуляторе.

— В институте еще не узнали, что ты дипломную работу сдал с заводского проекта? — в самый кульминационный момент рассказа вворачивает тесть.

Геннадий останавливается на полуслове, но его выручает Инна Львовна:

— Мужчины, прекратите при дамах технические разговоры!

И, обняв мужа, начинает петь:

— Разговоры да разговоры, слово к слову тянется. . .

Благодарный Геннадий разевает рот, и из его глотки летят гласные звуки:

— А лю-бовь а-ста-нет-ца-а-а!

. . . Утром в понедельник у Кривоноса болела голова, но он пришел на завод пораньше. Ему хотелось с первого дня работы в должности начальника показать своим подчиненным пример дисциплины.

Дверь отдела была уже отперта. Интересно, кто явился первый? Ага! Профгруппорг Полина Бурдо! Моет стол ушедшего на пенсию начальника. За этим столом теперь будет сидеть Кривонос. . .

Увидев Геннадия Борисовича, Бурдо выжала тряпку и сказала:

— За таким столом теперь сто лет сидеть можно!

Геннадий Борисович поблагодарил, демократично пожал мокрую Полинину руку и принялся перекладывать свое имущество из кульмана в ящики вымытого письменного стола.

Один за другим входят сотрудники.

Вот появляется молодой человек, похожий на безусого Дон-Кихота. Он шелкает одной молнией на жепочке-люкс, другой — на куртке, третьей — на брюках и, улыбнувшись широкой дружелюбной улыбкой, выпаливает:

— Пламенное здрасте всем!

Потом он усаживается за кульман, богато украшенный девичьими лицами в ромбах, квадратах и овалах, и погружается в блаженное созерцание кинематографических улыбок.

Этот юноша — техник на побегушках, козел отпущения, палочка-выручалочка. Его можно послать в колхоз, на стройку, на брошировку альбомов, на дежурство в цех и на самую тяжелую черную работу. Его зовут Ленечка. Он молодой, неженатый, а главное — безотказный. Он любит мастерить, рисовать, чертить разную мелочь, а не крупные детали, кроме того, он любит писать стихи. За пристрастие к стихам и за фамилию Полубасенков его прозвали Полупоэт. Немножко обидно, но что поделаешь, если он на самом деле ничего не хватает с неба? Кроме того, Ленечка Полубасенков — студент второго курса Политехнического института, а если говорить начистоту, то он, Ленечка Полубасенков, — это я, то есть автор сего немудреного рассказа.

На улице идет дождь.

Валентина Ивановна, тоненькая серенькая мышка пятидесяти трех лет, прошмыгнув в полуотворенную дверь, раскрывает перед столом Кривоноса мокрый зонтик и деликатно пищит:

— Доброе утро! Поздравляю вас! Я очень рада вашему назначению!

Приподнявшись на цыпочки, она водружает на шкаф свой зонтик мышиного цвета, вешает на плечики за шкафом тако-

го же цвета плащ и скрывается в своей норке у окна, старательно замаскированной пальмами, лимонами и жухлыми традесканциями. Захлопывается форточка, раздается бульканье выливаемой из бутылки воды.

Валентина Ивановна — старший инженер-расчетчик, голова и мозг отдела, непререкаемый авторитет в теории, и, кроме того, она человек отзывчивый и сочувствующий.

— Ниночка, как горлышко у Коти? Ах, бедный!

— Полечка, ты не заказала платье? Ах, какая обида! Пойдем сегодня со мной, у меня знакомая в ателье! Ах, какая это женщина!

Сыплются междометия, шелестят «сю-сю-сю», от которых бедная Полечка не знает куда деться.

Мелкой дрожью дрожит в коридоре пол, постепенно увеличивая амплитуду колебания. Распахивается дверь. Как шагающий экскаватор, вваливается в комнату старший техник Тамара, секунду стоит, потом три раза втягивает носом воздух.

— Вы опять? Валентина, форточку!!!

Валентина Ивановна мечется в своем углу:

— Да ведь дождь льется. . .

— Дышать нечем! Закупорились, червяки!

Опять колеблется пол, это экскаватор на ходу правым боком саданулся об один кульман, левым своротил второй и грохнулся на стул.

— Черт возьми! Теснотища! Каждый раз оправдываюсь перед мужем!

У Тамары в кулаке весь отдел. Она получает и распределяет канцтовары, экскурсионные и санаторные путевки, следит за ведением дел, за чистотой и порядком в помещении, назначает дежурных, отчитывает за ошибки в чертежах. Все это она делает сверх основной чертежной работы.

У Тамары удивительный нюх на поиск. Найти какую-нибудь давно потерянную инструкцию или нормаль в бездонном шкафу с символическим названием «что попало — то пропало» для нее проблема нескольких минут. Она лет на двадцать моложе Валентины Ивановны, любит анекдоты и является самым компетентным консультантом по всем правовым, бытовым и социальным вопросам, знает буквально все, вплоть до того, кто на заводе с кем ходит в кино и что из этого может получиться. . .

Тамара — активная общественница, член соцстраха, бьется за интересы отдела как львица. Не хуже львицы она бьется и за порядок в городе, будучи лучшей дружинницей района. Не раздумывая, она может ввязаться в любую драку, какую увидит, — надает драчунам тумачков и мигом разгонит их в разные стороны. В трудных случаях Тамара прибегает к помощи милицейского свистка, который всегда носит на шее под кофточкой на тоненькой цепочке и называет амулетом.

Появляется ведущий инженер Елизар Иванович.

Три раза чихнув в дверях, входит Нина Кроликова, зимой и летом завернутая в шерстяные платки, платочки, кофты, поддевки и безрукавки. Она снимает мокрый плащ и, поплотнее запахнув остальные сорок одежек, сразу же садится к телефону. Начинается конфиденциальный разговор с мужем, с которым Нина только что приехала на завод:

— Митя, это ты? Ну как? Ты дошел? У тебя все в порядке? Из окна не дует? Живот не болит?

Получив эту необходимейшую информацию, Нина кладет трубку и набирает городской номер. Шепот продолжается:

— Мама, это ты? Ну как? Котя проснулся? Плакал? Кушал? Воздухом пользовался?

Врывается Федор Лобык, хлопает дверью, трясет огромной мокрой головой, идет к вешалке, высоко подняв вверх руку.

Звонит звонок.

В комнату вбегает Мария, почему-то прозванная Графиней.

Эта молодая дама каждый день приходит с опозданием, с тех пор как у нее появилась «Волга» и персональный шофер Вилен.

— Ну и тип! Ну и толстокожий питекантроп! Долблю: «Проверь! Посмотри!» Да разве такого прошибешь? — возмущается она, раздеваясь за шкафом. — Опять остановился! И где? На перекрестке! Луплю по спине: «Поезжай, опаздываем!» А он стоит и еще смеется! Все кулаки отбила!

— А свет какой был? Красный? — любопытствует Валандин.

— Какое мне дело до света? — небрежно бросает Графиня. — Вот и дома так — сидит, не подынешь увальня! Второй год диссертацию пишет! Я бы давно написала! И что мне его получка? Два раза в магазин сходить! А предок тоже хорош! Укатил на Камчатку, деньги гребет, а единственной дочери, как:

собачонке, каких-то жалких триста рублей в месяц швыряет! И еще обижается, если что!

Кривонос глядит на Марию строго и холодно:

— Предупреждаю вас, Мария! С завтрашнего дня хоть за летчика выходите, а чтоб на рабочем месте быть вовремя!

Оборот весьма неожиданный, и не только для Графини. Геннадий Борисович доволен эффектом и старается усилить впечатление, раз уж оказался у кормила:

— Предупреждаю всех! Комсомольский патруль на часах! Помните и не лезьте в проходную с опозданием! Лучше в цех идите, чтоб на карандаш не попасть! Соображайте!

Сотрудники соображают. Женщины подкрашиваются, мужчины делятся новостями, обмениваются впечатлениями от вчерашней телепередачи.

Рабочий день начинается.

НОВАЯ МЕТЛА В ДЕЙСТВИИ

Этот день, первый день правления Кривоноса, надо думать, всем запомнится до гробовой доски.

Через пятнадцать минут после звонка Кривонос торжественно подымается с места.

— Товарищи! — восклицает он. — Внимание! Наш коллектив небольшой, но перед нами — большая и ответственная задача. Надо согласовать со всеми службами кальки регулятора и спустить в производство ПИ.

Отрезав толстый ломоть колбасы и отправив его в рот, Елизар Иванович спрашивает:

— ПИ или ИИ?

— Пока — ПИ, а потом — ИИ.

Федор Лобык ухмыляется:

— Потом будет суп с котом.

— Не будем спорить! — строго обрывает его начальник. — Сегодня от нас требуется ПИ. Понятно?

Лобыку, конечно, все понятно, но читатель едва ли понял, что ПИ — это предварительное извещение. По нему спускаются в производство чертежи только на опытные работы, а ИИ — извещение на изменение. По нему исправляются чертежи и вводятся в серию отработанные конструкции.

— Кальки регулятора готовы, ПИ готово, — продолжает

Геннадий Борисович. — Сколько нужно времени, чтобы их подписать?

— Месяц, — давясь колбасой, мычит Елизар Иванович.

— Это должно быть сделано за два дня! — четко, по слогам, приказывает начальник.

Поднимается шум. Все вскакивают со своих мест и одновременно кричат каждый свое. Геннадий Борисович тоже что-то кричит, но его не слушают. Наконец он грохает кулаком по столу. В наступившей тишине раздается голос Лобыка:

— Генька, ты, братец, видно совсем ошалел! Ведь белки ты никому не показывал. Твои кальки — макулатура. В них ни одной мало-мальски сносной детали. Их не подпишут технологи.

— Исправим! — парирует Геннадий Борисович. — Выскоблим! А вам, товарищ Лобык, должно быть стыдно. Вы не понимаете задачи, которая стоит перед коллективом! Вместо того чтобы организовать борьбу, вы вставляете палки в колеса! Стыдно, очень стыдно!

Лобык отворачивается, очевидно застыдившись, остальные притихают, инициатива снова в руках начальства.

— Будем делать так, как скажу! — твердо произносит он. — У кого мы должны подписывать чертежи? Полина, карандаш!

Бурдо хватает карандаш.

— Пиши!

Геннадий Борисович загибает пальцы: литейщики, штамповщики, пружинщики, сварщики, сборщики, кооператоры, нормализаторы, механики, кузнецы и прочие разные термисты и покрытчики. Восемнадцать служб! Геннадий Борисович горестно морщит лоб.

— Если учесть, что у каждого свои дела и каждый продержит наши чертежи один день, нам потребуется восемнадцать дней.

И опять кричат все сразу:

— Больше!

— Не по дню держат!

— Механики будут держать неделю!

— Сборщик Фердыщенко — тоже!

— Вася-диспетчер две проволочит!

— У нормализаторов — очередь!

— Этих нормализаторов гнать надо! Сидят выдумывают правила!

— Сегодня — так, завтра — этак! Сами запутались!

Геннадий Борисович воздевает вверх руку:

— Спокойно! Сколько у нас в отделе человек, не считая меня, Валентину Ивановну и Елизара Ивановича?

— Налицо шесть.

— Хорошо. Полина, ножницы!

Полина срывается с места.

Геннадий Борисович разрезает исписанный Полиной лист бумаги на узкие полоски.

— А ну вы, шестеро! Сейчас узнаем, кто из вас самый счастливый. Тащите по три бумажки!

У стола образуется толкучка, но вот бумажки разобраны. Геннадий Борисович снова повышает голос:

— Всем понятно задание? Кровь из носу, но каждый должен сегодня же получить подписи на всех чертежах в трех службах, которые выпали по жребию! Вопросы есть?

— Есть деловое предложение! — рявкает Лобык. — Скопируем подписи и управимся до обеда!

..Полина Бурдо неподвижным взглядом смотрит на бумажные полоски, дрожащие у нее в руке. Бледность проступает на ее губах даже сквозь помаду.

— Полечка, что с тобой? — бросается к ней Валентина Ивановна. — Ей дурно! Ах, бедняжка, скорее воды!

Черные слезы одна за другой катятся по щекам Полины.

Бурдо усаживают в кресло, предназначенное исключительно для подобных случаев, дают валерьянку, но Полина безутешна.

— Вы подумайте, какая я невезучая! — рыдает она. — Вытянула самых скорпионов: начальника производства, КТОС¹ и Фердыщенко!

— Миленькая, успокойся, — лепечет Валентина Ивановна. — Не надо так убиваться! Нервные клетки не восстанавливаются!

Но слезы у Бурдо становятся все чернее.

— Фердыщенко изведет придирами... Нормализаторы замучают... Начальник производства прогонит!

Наплакавшись, Полина решительно встает, вытирает щеки и кладет одну бумажку на стол.

— У Фердыщенко подпишу, в КТОСе подпишу, а

¹ КТОС — конструкторско-технологический отдел стандартизации.

к начальнику производства не пойду! Хоть повесьте на доске, хоть увольте!

Слово берет ведущий.

— Априорно говоря, — произносит он, — я склонен считать, что начальник производства не подпишет!

— Как это не подпишет? — взвизгивается Геннадий Борисович.

— А так! — изрекает Тамара. — Скажет: «Это тебе для чего?»

Убедительнее довода привести было невозможно.

Отдел во главе с начальником погружается в коллективное раздумье, а кому не известно, что истинно гениальные решения рождаются только тогда, когда задумается целый творческий коллектив? Так случилось и в нашем отделе К-65.

Нина Кроликова робко шепнула:

— А где у нас Венера Милосская?

И из этой робкой искорки неожиданно возгорается пламя.

— Ребята, а ведь это идея! — восклицает Бурдо. — Венера!

— Венера!!! — кричит Тамара.

— Венера Милосская! — орут все сразу, вскочив со своих мест.

Решение найдено. Спасти нас может только эта богиня, и она у нас имеется в наличии. В штатном расписании она числится на должности инженера-конструктора, и хоть по паспорту значится Вольской, но по качествам ничуть не уступает Милосской. Судите сами — она одна-единственная в КБ запросто вхожа к начальнику производства и может с шуточками и прибауточками подписать у него все что угодно.

— Где Венера? — спрашивает Геннадий Борисович.

— В отпуске.

— Знаю. А где именно?

— В зеленогорской «Чародейке». Усовершенствуется, — информирует Тамара.

— Не будем рисковать. Вызовем из отпуска Венеру, — благоразумно говорит начальник.

Он берет лист бумаги и, не задумываясь, пишет: «Венера Ивановна, ставлю в известность: с получением сего вам надлежит явиться для выполнения важного задания. За день работы предоставляю два отгула в желательное время. Г. Б. Кривонос».

— Кто у нас умеет быстро бегать? — игриво спрашивает повеселевший начальник. — Ты, Ленечка Полубасенков?

Я скромно опускаю очи долу, но, несмотря на это, предписание начальника все же оказывается у меня в кармане, а мои вытянутые по жребию бумажки — у Полины Бурдо. Я, как самый молодой, быстрый и к тому же бездетный, должен ехать в зеленогорский дом отдыха «Чародейка» за отшельческой чародейкой Венерой Ивановной Вольской.

В среде сборщиков подписей — смятение: выбыла одна полноценная человеко-единица! Но Геннадий Борисович тверд и неумолим. Все должно быть сделано: берите кальки, идите подписывать!

А где кальки?

Вы видите свалку обезумевших людей около кульмана, за которым вчера трудился Кривонос? Кальки — в середине этой свалки! Идет борьба за обладание ими. Обстановка накаливается, трещат швы, летят клочья изорванных чертежей. Ведь кальки нужны каждому все! Не половина, не четверть, а все! Кто выйдет победителем? Из пяти человек — один. Кто этот ловкач?

Робкая тихонькая Нина Кроликова сориентировалась раньше всех: распахнув одну из своих многочисленных кофт, она ложится грудью на стол с кальками и, когда над ней образуется куча мала, потихоньку сводит руки. Вся папка с чертежами оказывается в недрах ее необъятной кофты. Выбраться из-под четырех навалившихся на нее тел — дело нетрудное, и счастливая победительница, прижимая обеими руками драгоценную добычу, бежит к двери. Однако радость омрачает пронзительный голос Тамариного «амулета». Не жалея своих боков, цепляясь за кульманы и опрокидывая стулья, Тамара мчится за Ниной, хватая бедного зайчика, отнимает у него кальки и выбегает в коридор. Остальные четверо сборщиков подписей бросаются за нею.

Начальник остается с ведущим и старшим. Последние сурово молчат, первый напряженно мыслит, но на его высоком челе не отражается ничего. . .

Текут томительные минуты.

Наконец Кривонос поднимает взор на Валентину Ивановну:

— Вам придется ехать в Москву.

У Валентины Ивановны почти останавливается сердце. Зачем? Она не поедет! Разве она патентовед? Она и регуляторато как следует не знает, как же она будет проверять его на новизну?

Начальник обрывает ее:

— Вы прежде всего инженер, Валентина Ивановна! Если не знаете регулятора — изучите, разберитесь! А теперь извольте ехать в Публичку! Узнайте порядки, посмотрите патенты по нашим классам, а завтра-послезавтра — в Москву!

Валентина Ивановна съезживается, скисает и уходит совершенно потерянная.

— А вам, Елизар Иванович, — продолжает исполнять свои обязанности Кривонос, — нужно договориться, чтобы Валентине Ивановне дали переводчицу. В штате у начальника БРИЗа есть переводчица. Идите к нему. Лично! По телефону такие дела не делают.

Бедный Елизар Иванович! Новая эра для него началась скверно! Ни поест, ни поспать, ни подремать!

Геннадий Борисович остается один в отделе. Как мудрый вождь, пославший свое храброе войско в битву, он волнуется: будет ли победа? как помочь своим воинам?

Снимает трубку:

— Секретарь парткома? С вами говорит начальник отдела Кривонос. Считаю долгом сообщить: в нашем отделе сделано ценное изобретение. Срочно требуется изготовить опытный образец. Посодействуйте, чтоб не задерживали подпись калек. . .

Потом он звонит главному технологу и всем-всем главным, потом — начальнику КТОСа и всем-всем начальникам, которым надо и не надо, и всех просит, чтоб они посодействовали или попросили кого-нибудь посодействовать. И вот от этой телефонной деятельности уж весь завод жужжит как потревоженный улей. Люди бегают от стола к столу, из отдела в отдел, из цеха в цех. Телефонные звонки не смолкают. Через час всем — от подсобника до главного инженера — известно, что на заводе появился изобретатель.

А сам изобретатель все звонит.

Прозвенел звонок, возвестивший конец рабочего дня. Уборщица пришла убирать помещение, а он все звонит, звонит и звонит. . .

ВЕНЕРА НА ВЗЛЕТЕ

Венера Вольская явилась на работу в таком шикарном платье, какое Венере Милосской и во сне не снилось. Стройная, загорелая, она встала на середине комнаты в позу из

модного журнала. Восхищенные сотрудники столпились вокруг.

Опьянев от всеобщего внимания и собственной красоты, Венера рвалась к полезной деятельности. Да вот беда — действовать было еще нельзя. Лобык как в воду глядел — чертежи оказались недопеченными. Технологи наковыряли столько замечаний, что переделать все заново было проще, чем исправить.

Геннадий Борисович, как истинный сын двадцатого века, пошел по трудному пути. Две недели весь отдел скоблил злощастные кальки, начальник и ведущий висели на проводе и жалобными голосами уговаривали сердитую трубку:

— Поймите, уважаемая, нам надо только один образец! Потом мы чертежи подправим! Подпишите, пожалуйста!

— Я же вам объясняю: это важное изобретение! А вы говорите о какой-то развертке! И без развертки деталь можно сделать! Поймите! Одна... опытная деталь! Будьте любезны, подпишите!

И так — целых две недели!

У Елизара Ивановича пропал сон и аппетит, на языке с непривычки образовалась мозоль. Геннадий Борисович потерял голос и объяснялся с неумолимой трубкой на одних свистящих и шипящих звуках. А Венера Ивановна развернула такую неукротимую деятельность, что у всех сотрудников руки и ноги тряслись как в лихорадке: Венера бегала от стола к столу и со слезами на глазах умоляла:

— Девочки, миленькие, ради бога скорее! Не погубите! У меня смоемся загар!

Девочки торопились, мальчики — тоже. Скрипели бритвы, раздирающие кальку, разливалась тушь, люди с безумными глазами хватали что-то, бежали куда-то, прибегали обратно и опять убегали. Когда корифей № 1 вошел в отдел, чтобы проверить, как идут дела у нового начальника, его никто не заметил. Более того, Полина Бурдо, взявшая старт в самом дальнем углу, неожиданно на сверхзвуковой скорости выскочила из-за кульмана, ударила корифея по коленке баулом и скрылась в неизвестном направлении. Грозный поморщился, почесал ушибленное место и, решив, что начальник — на месте, удалился, чтоб не мешать.

Только один Федор Лобык оказался устойчивым перед инфекцией всеобщего ажиотажа.

Взгляните на него! Отложив в сторону свою долю калек,

подлежащих исправлению, он сидит за кульманом и что-то чертит. Он не работает ни бритвой, ни ножом, ни тушью, ни борным спиртом, ни эмалитом. В руке у него обыкновенный карандаш 2Т. Этим карандашом Лобык не спеша проводит на ватмане тонкие линии. Проведет одну линию — посидит, посмотрит, погрызет ноготь на большом пальце, потом проведет вторую линию — вырвет из ноздри ненужную волосинку. Вид праздный, скучающий, а в глазах все время что-то горит! Но по глазам разве что-нибудь поймешь? Кривонос, на секунду оторвавшийся от трубки, останавливает на Лобыке мутный взгляд и решает, что Федор сачкует. Подходит к нему, строго, как подobaет начальнику, спрашивает:

— Ну как? Исправил кальки?

Кальки не исправлены. Чистенькие, без единой дырочки, без единой помарочки, они лежат, аккуратно сложенные на столе. Кривонос задыхается от гнева:

— Что ты делаешь?

— Не глядя на начальника, Лобык отвечает:

— Ре-гу-ля-тор!

Геннадий Борисович — бабах ладонью по калькам!

— Вот регулятор, сделан! Какой же ты регулятор еще делаешь?

Лобык смотрит на разъяренного Кривоноса:

— Такой, который будет работать!

Слов у Кривоноса на языке нет. Их без остатка поглотили отрицательные эмоции, но, к счастью, звонит телефон, Кривонос бросается к своему столу. Что было бы, если б звонок раздался секундой позже, — представить боюсь!

Нина Кроликова жалуется начальнику на штамповщиков. Вытяжка, видите ли, им велика. Не могут делать детали! А что они могут делать вообще? Радиусы им не те!!! Да поставь ты им, какие они хотят! Как не получаются? Соглашайся на разрезку в углах, пиши любое примечание! После разберемся!

Расстроенный Кривонос бросает трубку и снова подходит к строптивому подчиненному.

— Извольте заниматься делом, — говорит он. — А не хотите работать — увольняйтесь! Таких работничков мне не надо!

Подбегает Венера, тараторит, суетится, стараясь сгладить конфликт:

— Геннадий Борисович, я ему помогу, не волнуйтесь! Все сделаем!

Она утраивает неукротимую энергию, и в отделе начинают бегать в три раза быстрее. К концу второй недели конструкторы, извините за грубое выражение, делаются похожими на взмыленных лошадей. Но зато финал получается потрясающий. Венера Ивановна с блеском проводит свою гениальную тактическую операцию и вырывает последнюю, самую трудную подпись у начальника производства. Отдел трубит в трубы и бьет в барабаны. Венера — героиня дня! По русскому обычаю мы ее качаем, подбрасывая до потолка, она визжит и бьет в воздухе загорелыми ножками. . .

На другой день после этого мы устраиваем производственное собрание. Улыбающийся Кривонос произносит пламенную речь, расхваливает всех, кроме Лобыка, и предлагает по итогам месяца лучшим конструктором выдвинуть Венеру Ивановну Вольскую.

ВСЕЛЕНСКИЕ РАСПРИ

Валентина Ивановна уже несколько дней в Москве, сидит в тихом зале патентной библиотеки на Бережковской набережной и крутит ручку проекционного аппарата — микрофота. На экране плывут изображения: разрезы, сечения, схемы, диаграммы, длинные описания на английском, французском, немецком, шведском и еще каких-то языках, непонятных даже переводчице Ларисе, сидящей с ней рядом. От постоянного мельтешенья в глазах Валентина Ивановна то и дело впадает в какое-то странное небытие. Оно засасывает ее, увлекает куда-то по спирали. Тогда голова у нее никнет, а туловище, покачавшись из стороны в сторону, вдруг делает отчаянный рывок и швыряет голову вверх с такой силой, словно ей необходимо преодолеть земное притяжение и улететь в космос. В эти мгновения Лариса тоже оживляется. Она вскидывает глаза на экран, и ее сознание выхватывает отдельные несвязные слова. . .

В первый день работы с патентами Валентина Ивановна заставляла Ларису переводить почти все: предмет изобретения, описание, формулу, подписи под рисунками, потом поняла — если работать так, им придется жить в Москве два года. Решили описания не читать, потом пришли к выводу, что и формулы изобретения читать не обязательно, стали смотреть только одни картинки.

Валентина Ивановна очень волнуется.

Иногда ее буквально пришибает к стулу: не проверяет ли она на новизну колесо, изобретенное до всемирного потопа? Но свои опасения она не высказывает Ларисе, боясь уронить свое инженерское достоинство перед гуманитаркой. Она крутит ручку и сокрушенно думает: что сказать Кривоносу? Есть в регуляторе новизна или нет? Проверить по этим дьявольским патентам она не может, признаться в собственном бесилии не хочет. Она хочет только знать: есть или нет? По ночам не спит, утром поднимается с постели, идет в самый конец длинного гостиничного коридора и отрешенно шепчет:

— Есть или нет? Есть или нет?

Однажды на улице около гастронома она увидела цыганку, продающую цветы, и обратилась к ней с тем же вопросом. Цыганка посмотрела на нее как на ненормальную, ткнула ей пальцем в лоб и сказала:

— Нет!

Но что же делать? Надо что-то решать! И в отдел Валентина Ивановна приходит с твердокаменным решением. Она должна сказать Кривоносу: «Мы ничего не нашли. Нам кажется, эта конструкция общеизвестна». А когда Кривонос впился в нее своим гипнотическим взглядом, она на какой-то момент почувствовала себя на парашютной вышке у самого краешка. У нее закружилась голова, но отчаянный порыв смелости все-таки столкнул ее вниз.

— Мы ничего не нашли! — выпалила она, падая. Засветело в ушах, в какую-то бездну покатился земной шар, у Валентины Ивановны начисто отшибло память, и она забыла вторую часть рапорта!

Очнулась Валентина Ивановна от жарких рукопожатий Кривоноса.

— Прекрасно! Я так и знал, что вы ничего похожего не найдете! Мы, Валентина Ивановна, уже оформляем заявку на изобретение! — весело тарыхтит Кривонос. — Весь отдел брошен на это. Мы и вас включили в число авторов.

Твердокаменное решение заколебалось и рухнуло. Валентина Ивановна не стала уточнять подробности, облегченно вздохнула и бросилась поливать высохшие традесканции.

Вдруг до ее слуха донесся ядовитый шепот Тамары:

— Венеру — за ножки, а эту пречистую деву за что?!!

Валентина Ивановна подошла к Нине Кроликовой — та отвернулась, подошла к Бурдо — та демонстративно встала

и ушла. Растерянная, удивленная мышка забралась в свой уголок, стараясь понять, что произошло...

Вольская сверяла кипу спецификаций, иступленным шепотом демонстрируя свою предельную занятость. Остальные работали надутые, ошетилившиеся — ни смеха, ни разговоров. Один только Полубасенков улыбался неизвестно чему.

Валентина Ивановна поманила его пальцем. Ленечка подошел, херувимчиком сел на краешек стула, изо всех сил сдерживая расплзающуюся до ушей улыбку.

А причина оказалась в регуляторе. Геннадий Борисович решил в заявку на изобретение регулятора включить только Елизара Ивановича, Венеру, Графиню и Валентину Ивановну. Бурдо не разговаривала с Венерой, Нина не разговаривала с Графиней, Тамара не разговаривала ни с кем. Назревала буря. Чем все это кончится, Ленечка предсказать не смог.

К концу рабочего дня напряжение достигает апогея. Западом служат всхлипывания за последним кульманом, потом начинается цепная реакция. Венера прекращает шипение и бросает тяжелый альбом на пол:

— Безобразие! Сосредоточиться не дают. Всякая мелкота в изобретатели лезет!

У Полины мгновенно высыхают слезы, и она кидается в атаку:

— Я свою и Ленечкину работу сделала, а ты только телесами трясла, изобретательница!

Венера подскакивает, руки в боки, шея вытянута:

— Это я трясла? У меня ничего не болтается! Вот тебе потрясти есть чем! Что ж ты не пошла, не потрясла?

— Девочки, перестаньте! Некрасиво! — пытается утихомирить женщин Графиня, но кроткий домашний зайчик, неожиданно превратившись в какого-то другого зверька, набрасывается на Графиню с тыла.

— Ах, некрасиво? А красиво одинаковую работу ценить по-разному? Ты больше всех работала? Ты?

— А что, не работала? — забыв правила этикета, вступает в бой Графиня. — Я основные детали сделала! Две пружины рассчитала!

— Она ж нынче диплом защитила! Разве ж ты, Нина, не знаешь? — подливает масла в огонь Тамара. — Она теперь инженер!

— Богородица — старший инженер, а за что? — швыряет

связку гранат Полина Бурдо. — За что, спрашивается? За то, что в Москву прокатилась? По ГУМу походила?

Валентина Ивановна высказывает на поле сражения. Начинается всеобщая перестрелка, которая стихла, когда Тамаре и Полине Бурдо было предложено идти на расширенное заседание профкома. На этом заседании наши воительницы, только что сделавшие хорошую предварительную разминку, отвоевали отделу переходящее Красное знамя и премию сто рублей!

Неслыханный успех! И ничего не скажешь против. Ведь мы сверх плана спустили в производство ПИ на регулятор и по тридцати четырем странам мира сделали проверку этого регулятора на новизну!

КОНЬ В МОНИСТЕ

Над Кривоносом опять поднимаются густые клубы пара. Геннадий Борисович сочиняет заявку на изобретение. Он с фантастической скоростью исписывает страницу за страницей. Со стороны кажется, в голове у Кривоноса вмонтирован бесконечный разматывающийся микрофильм с записью того, что нужно зафиксировать шариковой ручкой на бумаге, и Геннадий Борисович судорожно, боясь пропустить что-нибудь, фиксирует, фиксирует, фиксирует, и конца этому фиксированию не предвидится. Целую неделю крутится безжалостный автомат, целую неделю сотрудники не дышат и объясняются между собою на языке жестов. . .

Едва успев поставить последнюю в этом титаническом труде точку, Кривонос сгребает исписанные листки в папку и бежит в БРИЗ.

Начальник БРИЗа Николай Васильевич Боков, седоволосый интеллигентный человек, берет рукопись, усаживает Геннадия Борисовича рядом, а прочитав несколько страниц и покосившись на Кривоноса, ерзает на сиденье, потихоньку встает и пересаживается на другой стул. Боков явно чем-то озадачен, читает и время от времени с опаской поглядывает на изобретателя.

— Молодой человек, это вы сами. . . сочинили?

— Сам. А что? Плохо?

Кривонос сделал еле заметное движение к начальнику

БРИЗа, а того как ветром сдуло в самый дальний угол комнаты.

— Вы не волнуйтесь, молодой человек! — испуганно лепечет Боков, прижавшись к стене. — Я не сказал «плохо». Не плохо. Кудряво, затейливо, эмоционально!

Боков медленно приближается к своему столу.

— Нет, дорогой, не плохо! В стиле «Моления Даниила Заточника». Помните, как Даниил рисует князя? «Ланиты твои как сосуд ароматный, чрево твое яко сноп пшеничный, сам ты как конь в монисте!» Вы свой чудесный регулятор описали примерно так же.

Кривонос не может понять, смеется над ним Боков или говорит всерьез, но читатель-то, наверно, догадался, что Бокову не до смеха: как пружина на взводе, он в любую секунду готов стрекануть в сторону от изобретателя. Однако у того больше не проявлялись тревожные симптомы, и Боков успокаивается.

— Молодой человек, — ласково говорит он Кривоносу, — в вашей заявке имеются отдельные... недостатки. Сущность, я бы сказал, несколько туманна, назначение и цель всего этого... извините, не очень ясны. Надо подработать. Почитайте вот эту инструкцию. Это — правила составления заявки. Вы в состоянии?

Боков кладет тоненькую книжечку на краешек стола и, очевидно уловив во взгляде Кривоноса нечто осмысленное, продолжает уже посмелее:

— Кроме того, уважаемый, не стремитесь подражать классическим литературным образцам. Не надо никаких кудряшек и восклицательных знаков. Нужны только техника и смысл!

Смысл! А где его взять? Переделывать всю работу заново? Нет! Кривонос на это неспособен. Что делать?

Погоревав часика полтора, Геннадий Борисович вдруг вспоминает, что он — начальник!

— Ну-ка, Полупоэт, причеши немножко стилистику! — небрежно говорит он мне, вручая свою папку. — Только в точности согласно с инструкцией... .

И мне пришлось потихоньку, не торопясь, выводить из храма точных наук Кривоносовых коней в монистах.

ЧЕРТОВА ДЮЖИНА

— У нас очень выросли люди, — говорит Кривонос, листая отпечатанную заявку. — Завтра же побегу в плановый отдел, может, выбью старшего техника. Как ты считаешь, Елизар Иванович?

Намек предназначен для меня, а я, неблагодарный, в это же самое время думаю, куда бы побежал Кривонос, если б я положил ему на стол не заявку, а мою записную книгу?

...После работы между начальником и ведущим состоялся важный разговор без свидетелей. Воспроизвести этот разговор во всех подробностях не составляет никакого труда.

— Главного конструктора — надо? — спрашивает Кривонос.

— Надо! — отвечает Елизар Иванович.

— А начальника производства — надо?

— Надо!

— А начальника сборки?

— Надо!

— Кого еще надо?

Изобретатели задумываются. На ведущего пристально смотрит жуликоватый Христос без усов и бороды, на начальника — старая раскормленная баба с бородой и с усами.

— Кауфмана из московского института! — наконец восклицает Христос. — Туда поступит наша заявка на отзыв.

— Черт с ним, пиши Кауфмана! — соглашается баба. — Плюс наших восемь гавриков. . .

— Лобык отказался — семь, — уточняет Христос.

— Итак, сколько всего?

У Кривоноса на руках не хватает пальцев. Набралась ровно чертова дюжина — признак, не предвещающий ничего доброго. Что делать? Прибавлять или убавлять? И опять две вышеуказанные физиономии в мучительном раздумье уставляются друг на друга. Проходит несколько минут, пока Елизар Иванович не хватается быка за рога:

— А испытывать кто будет? Серега?

— Правильно! Добавим Серегу! — вопит обрадованный Кривонос.

И слесарь-испытатель из сборочного цеха Сергей Коробов становится изобретателем.

На следующее утро я прихожу в БРИЗ с заявкой от имени четырнадцати авторов. Боков вежливо спрашивает:

— Молодой человек, вы не припомните, кто открыл первый закон Ньютона?

— Исаак Ньютон, — сразу же догадываюсь я.

— А кто изобрел ваш регулятор?

Я делаю параболическое движение рукой:

— Вот эти товарищи. . .

— Все сразу?

— Да, все сразу, — уверенно отвечаю я. — У нас все коллективное. . . Мы боремся. . .

— Похвально, — усмехается Николай Васильевич, — но я вашу заявку не приму. Изобретение пустяковое, авторов — корта. Подкорректируйте!

Кривонос подкорректировал Нину, Тамару, меня и перепечатал первый лист заявки. Я опять бегу в БРИЗ, а Боков снова недоволен, требует истинных авторов! Главные и начальники, говорят, изобретают редко, чаще примазываются к чужой славе.

Пришлось корректирование продолжать, и я несколько дней подряд терпеливо курсирую по маршруту: отдел — БРИЗ — отдел — машбюро — отдел — БРИЗ. Со слезами и кровью были откорректированы Венера Ивановна и Полина Бурдо; с ахами, охами и тяжкими вздохами — Валентина Ивановна и Мария Графиня. Начальник БРИЗа оказался человеком настойчивым. Он потребовал объяснить письменно долю участия в изобретении каждого автора, и Кривонос вынужден был откорректировать Елизара Ивановича, Серегу-испытателя, начальника сборочного цеха и даже начальника производства! Будь что будет! Когда в авторах остались трое: главный конструктор Иван Петрович, легендарный Кауфман из московского института и Кривонос, я, уверенный в окончании своих мытарств, положил заявку Бокову на стол и спокойно ушел. Через полчаса мне звонит из БРИЗа переводчица Лариса.

— Вы хорошо подумали? Трех — не много? — спрашивает она.

— Если много — вычеркни одного, пониже рангом! — отвечаю я тоном умирающего.

И Лариса — о святая невинность! — аккуратно вычистила из всех экземпляров заявки фамилию. . . Кривоноса!

Это происходит за две минуты до техсовета, на котором Кривонос должен был защищать свое изобретение. Когда он с заявкой в руках влетел в отдел, всем показалось, что Зевс

Громовержец спустился на землю, а я остался невредим потому, что извергать громы и молнии было некогда — нужно было спешно восстанавливать справедливость...

Справедливость, конечно, всегда торжествует. Техсовет одобрил заявку, Боков отослал ее в Москву, а через неделю в заводской многотиражке появилась обширная статья Кривоноса под названием «Наш вклад». В середине ее — портрет с подписью: «Изобретатель Г. Б. Кривонос».

Мы опять на высоте, бьем в литавры. На расширенном заседании профкома Полина Бурдо без ложной скромности характеризует работу отдела за прошедший месяц, и переходящее Красное знамя остается в отделе. Решающим фактором в борьбе с соперниками является умело и вовремя подброшенная на чашу весов заявка на изобретение.

ЭКСТРАСУДОРОЖНЫЙ ЗАКАЗ

Время летит, и творческие идеи Кривоноса уже воплощаются в металле. Регулятор изготавливается по аварийному заказу с красной полосой, который в обиходе рабочие называют «экстрасудорожным». Спешно отливаются хитрые чугунные корпуса и крышки, вытачиваются поршни и поршеньки, фрезеруются серьги и сережки. Кривонос бегаёт из модельной в литейку, из литейки в кузницу, из кузницы в механический цех. Он изворачивается, объясняя необъяснимое и доказывая недоказуемое, просит, извиняется, требует, выслушивает брань и сам в необходимых случаях бранится, потрясая приоритетной справкой, полученной из Москвы. Иногда это помогает, хоть справка не положительный ответ, а всего-навсего простое уведомление в том, что заявка принята к рассмотрению.

В ход идут все средства воздействия: угрозы, убеждения, просьбы, уговоры. Но одно дело уговорить вежливую дамочку из отдела нормализации, а другое дело — рабочего, стершего зубы на производстве. Работягу не смутит синий ромбик на лацкане у конструктора. Он напрямик спросит:

— А это ты не с похмелья изобретал? Эта деталь тебе зачем? А эту штукюину на чем гнуть прикажешь?

Туго приходится Гене на работе, ох как туго! Но Геня еще молодец! К стене прижмут, а он все свое, и такую немислимую чушь несет, что рабочие думают: «Ну что с него спра-

шивать?» И сами по своей рабочей смекалке спасают испорченные детали.

Геннадий Борисович приходит домой усталый и сразу же падает на диван. Как по мановению волшебной палочки исчезают КБ и злосчастный регулятор, проваливается в тартарары завод с его корковым литьем и прогрессивной технологией. . .

А наутро опять то же самое. . .

Но вот регулятор изготовлен!

Кривонос докладывает об этом главному конструктору, оба корифея взвизгивают, бегут в цех. Серега-испытатель запускает машину. Регулятор дрыгнул своими многочисленными поршеньками и рычажками и застрял. Ни гугу! Хоть дубась его кувалдой!

ВОССТАНИЕ ИЗ МЕРТВЫХ И КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕГУЛЯТОР»

На следующий день Бокову пришло из Москвы отказное решение на регулятор. Опровергнуть это решение было никак невозможно.

Геннадий Борисович на глазах осунулся, исхудал, сгорбился. Спасение пришло из-за кульмана моего шефа.

— Вот закажи-ка такой регулятор! — сказал Лобык удрученному начальнику, положив на его стол несколько чертежей небольшого формата.

Через полчаса сияющий, как хромированная деталь, Кривонос уже сидит в кабинете у главного конструктора, захлебываясь и глотая слова, объясняет устройство нового регулятора.

— Это мы сделали так, — говорит он. — А эту проблему мы решили следующим образом. . . А здесь нам удалось. . .

Что нам удалось, пересказывать, конечно, не имеет смысла.

— Вы молодец, Геннадий Борисович! — говорит Кривоносу Иван Петрович. — Это по-настоящему талантливо. Спускайте белки в цех!

Регулятор Лобыка был предельно прост. В нем не было и десятка деталей. Их сделали в цехе за два дня, на третий собрали и поставили готовый регулятор на машину.

— Работает как часы! — доложил ликующий Кривонос Ивану Петровичу.

Полина Бурдо созвала экстренное совещание.

— Мы настойчиво искали! — бия кулаком в грудь, с пафосом восклицает Кривонос на этом совещании. — Да! И мы нашли! Новый созданный нами регулятор ра-бо-та-ет! Он повысил КПД машин, улучшил их эксплуатационные качества! Это — наша заслуга! Никто от нас ее не отнимет!

Портрет Кривоноса появился на заводской Доске почета.

Часть вторая

НИЗВЕРЖЕНИЕ КОРИФЕЯ

ПЕРЕД НАЧАЛОМ КАМПАНИИ «КЛАПАН»

Прошел с тех пор год. Я за это время, как говорят, возмужал, даже вырос, но по-прежнему порхаю мотыльком. На носу дипломная работа, а я «ха-ха-ха» да «хи-хи-хи», афоризмы да стихи! Правда, в институте у меня дела идут успешно, без хвостов и троек, и на работе Лобык стал поручать мне серьезные дела, а Кривонос по старой привычке нет-нет да и пошлет меня в бега.

— Ленечка! Мигом неси из архива кальки!

И я бегу, если шеф за меня не вступится, сославшись на срочную работу.

Кривоноса больше никто не называет ни Геней, ни Генькой. Его желания угадываются и предупреждаются.

— Геннадий Борисович, вам альбом? — суетится Бурдо.

— Геннадий Борисович, вам ТУ? — подобострастно спрашивает Мария Графиня.

— Геннадию Борисовичу дует! — озабоченно замечает Кроликова и закрывает форточку.

— Геннадию Борисовичу ручку, тушь, стул! — командует Тамара, и все появляется молниеносно.

Геннадий Борисович завоевал в отделе авторитет. Невзiraя на лица и антипатии, он всех до одного повысил в должностях на одну ступеньку. Кто уже дошел доверху, тому подкинул по десятке. Кроме того, в отдел взял трех новеньких девочек, закончивших техникум. Как все это удалось Генна-

дию Борисовичу и на какие рычаги он нажимал в плановом отделе, даже Тамара объяснить как следует не может. А ведь всем известно: похвали человека — весь выложится на работе, прибавь к зарплате — горы своротит. И отдел К-65 ворочает горы. Регулятор Лобыка вошел в производство, получил хорошие отзывы. Копии этих отзывов, снятые на «Эре», Кривонос пачками рассылает по всему Советскому Союзу. На завод сыплется запросы: «Вышлите чертежи регулятора». Кривонос бегает, звонит в редакцию и радиостудию, шумит, срочно заказывает синьки.

Наглядевшись на его старания, я зафиксировал в своей записной книге мысль, которая показалась мне афористичной: «Талант подчиненного — в деле, талант начальника — в рекламе этого дела».

Меня по-прежнему привлекают малые формы, но вот на заводе произошли некоторые события, и потянуло к более крупным. Я перечитал свои записки и решил их дополнить небольшим рассказом о кампании «Клапан».

Что такое кампания — каждый знает. Это нечто похожее на крестовый поход, не обязательно к святым местам, но обязательно ради святой цели.

Возьмем, к примеру, такую цель, как экономия государственных средств. Ради нее объявляется поход за максимальное оснащение производства. Срочно проектируются и изготавливаются штампы, станки, поточные линии. Льет золотой дождь и никого не мочит: предполагается, что оборудование должно окупиться увеличением производительности труда. Технологи как блины пекут свою технологическую продукцию; цеха загромождены ею, пройти невозможно! А что поделаешь? Развернулась такая кампания!

Наконец кампания кончилась. Половина технологических приспособлений за ненадобностью отправляется в переплавку. В вычислительном центре щелкают счетные машины, и вот выясняется, что завод ежегодно тратит на оснастку значительно больше, чем на производство основной продукции. Потом выясняется — конструкторы изменили детали и штампы на эти детали не годятся; потом оказывается — поточная линия построена на морально устаревшую машину, а станки изготовлены для обработки тех деталей, которые через год будут сняты с производства!

Что делать?

Как что делать? Давайте начинать новую кампанию!

И вот ради той же самой цели — экономии государственных средств — организуется поход в противоположную сторону: за минимально необходимое оснащение производства. Технологи зажимают конструкторов: «Эту деталь мы не делаем — надо штамп! Это не годится — надо приспособление!» Спроектированная, нужная позарез оснастка снимается с изготовления, рабочие делают детали на коленке!

Вот что такое кампания. Кампании бывают разные, но характер у них почти всегда как у повара, который или недолил, или пересолил.

ПРОКЛЯТЫЙ ЗАКОН И ХОЛЕРНЫЙ ВИБРИОН

Кампания под названием «Клапан» началась, когда начальник БРИЗа для оживления рационализаторской мысли на заводе объявил открытый конкурс на лучшее рационализаторское предложение. В наш отдел на стол к Кривоносу посыпались заявки. А вы знаете, что это такое? Не приведи вам бог узнать! Удивляетесь? Думаете, рационализаторы — наши помощники, герои современности? Не везде и не для всех! У нас на заводе они конструкторам — лютые враги! Иван Петрович требует, чтобы на разработку конструктора не поступало ни одного рабочего предложения. В противном случае он многозначительно спрашивает:

— Это чья подпись? Вам не кажется, что за такую работу платить следует меньше?

И срезает премию.

Ивану Петровичу нет дела до того, что, будь конструктор хоть Кулибиным, все равно на него найдется рационализатор! Это уж как пить дать! Ведь конструктор один, а желающих получить вознаграждение по БРИЗу — тысячи. Чуть недодумал — получай предложение, получай второе! А если на вашу конструкцию сыплется этакая благодать, всем ясно, что вы как конструктор не выдерживаете критики.

А вам хочется, чтобы вас носом тыкали? Нет?

Нам — тоже нет!

И потому мы с этой, извините, холерой ведем самую беспощадную борьбу. Негласную, но яростную — не на жизнь, а на смерть! Родили крокодила и до последнего дыхания защищаем свое детище. Иногда нам это удается, иногда — нет. Ведь рационализатор — народ дошлый, настойчивый, нахаль-

ный, требовательный! Болт в рот не кладите — откусит и головку проглотит! Попробуйте обмануть этот народ, доказать свою правоту! Он все ходы и выходы знает, все законы ему известны! Желаете сохранить свой авторитет и на месте усидеть — будьте начеку! Предложения не задерживайте, отказные решения пишите подлиннее, помудренее, а лучше всего — пусть кто-нибудь другой напишет. Пошлите сначала механику, потом — металлургу, потом — в ОТЗ или еще куда-нибудь. Если никто из них не откажет — направьте в институт. Там предложению верная крышка, и вас никто не обвинит в консерватизме.

Что? Не прогрессивно? А прогрессивно ездить по рекламациям, разрешите вас спросить?

Однажды мы сэкономили копейку, заменили марку материала на сцепном устройстве, а оно разорвалось и ранило породистого пса, принадлежащего персональному пенсионеру. Кто за это отвечал? Рационализатор? Нет! Он получил денежки, а потом только посмеивался, когда нас тягали по следственным органам!

Рационализация лишь в газетах хороша, а у нас она боком выходит! И самое плохое то, что мы обязаны вежливо разговаривать с рационализаторами и в течение двух дней давать заключение на их бред! Тоже мне закон придумали!

Кому принадлежат эти мудрые мысли — читатель, конечно, сам давно догадался.

..Условия конкурса, объявленного Боковым, заманчивы, потому Кривонос ежедневно получает большую пачку предложений.

Как их отклонить? Изобретает, извивается ужом, а когда силы его покидают, он неподвижно сидит, вперив обезумевший взор в пространство. Со стороны кажется, он беззвучно шепчет:

— По щучьему веленью, по моему хотенью, отклоняйтесь, предложения, сами!

Но стопа рацпредложений на столе Геннадия Борисовича не уменьшается от заклинаний. Все бранные слова, что есть в запасе, извергает Кривонос на несчастных рационализаторов. Особенно достается злостному автору Ивану Жаркову. У Жаркова навязчивая идея. Он задался целью создать новый тип клапана для поршневого компрессора и упрямо долбит в одну точку, выдает одну за другой бесчисленные, по его

определению, вариации. Эти вариации Кривоноса довели до того, что только Жарков открывает дверь в отдел — Геннадия Борисовича уже начинает трясти мелкой дрожью.

Жарков просит, требует, ругается, а когда его вариации окончательно отвергаются, он сам изготавливает в цеху образцы своих клапанов и приносит их в КБ.

— Вот испытайте! Поставьте на машину!

Кривонос отмахивается от него как от назойливой мухи, кричит, стучит кулаком по столу. Жарков тоже не деликатничает, называет Кривоноса пустой консервной банкой и хлопает дверью. Через месяц он приносит другие образцы, а в разговорах с начальником — никакой новизны: шум, треск, бах-трах-гарарах!

Федор Лобык все время внимательно следил за поисками настойчивого рационализатора, помогал ему где нужно, видя проблески смелой мысли в его черновых работах. Кривонос же усматривал в Жаркове личного врага и пытался все производственные неполадки объяснить кознями этого проклятого рационализатора, которому до лампочки машина, лишь бы отхватить десятку за инициативу.

Однажды Жарков приносит Лобыку сплошь изрисованный лист ватмана.

— Вариация «игрек», — застенчиво говорит он.

Я видел обоих в тот момент — и Лобыка, и Жаркова.

У Ивана — ни напористости, ни грубости. Инженер с большим производственным стажем, старший годами и положением на заводе, он стоял перед Федором как ученик, смущенно ожидая приговора. А Лобыку достаточно одного взгляда, чтоб различить подлинную удачу. Глаза у него загорелись, лицо засветилось, он вскочил:

— Во-от! Это — что надо!

Наколочил чертеж на доску, схватил меня за руку, подтащил к себе. В нем клокотала радость, точно ему самому пришла в голову эта счастливая мысль. . .

Вариацию «игрек» Жарков подал на конкурс, а когда его предложение пришло на заключение в отдел, Кривонос целый день с самого утра до вечера проклинал бездельников, которых следует всех до одного заковать в цепи и заточить в Петропавловскую крепость. Пускай лучше экскурсоводы показывают людям в казематах не восковых кукол, а живых злодеев.

ЛЕГЕНДАРНЫЙ КАУФМАН ОБРЕТАЕТ ПЛОТЬ

Звонит телефон. Трубку берет Венера Ивановна, прикрывает ее ладонью, испуганно шепчет:

— Кауфман приехал! Ждет в проходной!

И бежит к секретарю выписывать пропуск. Творческой тишины как не бывало! Кривонос вскочил — суетится, грохочет ящиками своего руководящего стола.

— Где книга Кауфмана? Кто взял мою книгу Марка Исаевича?

Бурдо, Мария Графиня, Нина Кроликова срабатывают, как подключенные к одному датчику:

— У кого Кауфман?

И бросаются шнырять по кульманам, столам и шкафам.

— У меня нет. Я не брала!

— Ищите, Валентина Ивановна! — приказывает Кривонос.

— Честное слово, я не брала! — убедительно поет ее сверхъестественная колоратура.

— Елизар Иванович! — строго окликает начальник ведущего. — Разве это вас не касается?

Ведущий мотает головой и воздевает вверх руки. Сказать он ничего не может потому, что только что запихнул в рот полбатона с маслом.

Книги нигде нет.

Тамара молча поглядывает на ищущих, как профессионал на дилетантов, потом сама берет след — медленно идет меж кульманов, сверля взглядом затрепетавших сотрудников. След приводит ее к столу начальника.

— Открывайте ящики! — приказывает она. — И тот и этот!

— Да там ничего нет! — уверяет Кривонос. — Только одни рваные ботинки.

Из-под рваных ботинок Тамара извлекает пудовый фолиант, грохает на середину стола, и в этот момент в сопровождении Вольской входит автор этого фолианта — профессор московского института Кауфман Марк Исаевич. Его появление спасает Кривоноса от испепеляющего гнева Тамары.

Марк Исаевич Кауфман — круглый, лысый, предельно близорукий и очень вежливый. Предполагая, что в комнате много народу, он долго кланяется в разные стороны, пуская по стенам зайчиков, потом подходит к столу начальника и, расплывшись располагающей улыбкой, протягивает Кривоносу пухлую, как надутая резиновая перчатка, руку. Кривонос

схватывает ее, точно она бриллиантовая, и в свою очередь осклабляется, пытаясь изобразить что-то на лице.

— Ваш труд — наша настольная книга! — спешит порадовать он приезжего корифея. — Спасибо! Пользуемся, изучаем!

И незаметно проводит ладонью по книге, удаляя с нее предательскую пыль. . .

Корифеи беседуют с глазу на глаз.

Беседуют тихо, долго, дружелюбно, хватают мысли с полуслова. . . Тема их беседы осталась в секрете, но Тамара все же кое-что выяснила. Оказывается, профессор привез на заводской рационализаторский конкурс клапан своей конструкции! А потом не только для Тамары, но и для менее проницательных сотрудников стала заметна странная метаморфоза, происшедшая с нашим начальником. Геннадий Борисович воспылал необъяснимой любовью к профессору Кауфману и к его клапану. Сразу же после отъезда московского корифея Кривонос начинает неистовую агитацию за профессорскую новинку, седлает своего любимого коня, и по телефонным проводам несется: Кауфман, клапан, Кауфман, клапан. . . Мы должны, мы обязаны, поддержим, подхватим! . . Он звонит в партком и завком, начальникам, замам, завам, председателю конкурсной комиссии Бокову.

Завод забурился. Руководящие товарищи удивленно захмыкали:

— Давно ли изобрели какой-то регулятор? Опять что-то новое рекламируют! Видно, головастик этот Кривонос!

А головастик делает в отделе краткое сообщение по материалам Кауфмана, кому надо — кое-что намекает, кому надо — приказывает, идет с докладом к Ивану Петровичу, заручается его поддержкой, и вот дребезжащая колоратура Валентины Ивановны в заводском эфире проникновенно вещает о ценной инициативе, появившейся в отделе К-65. Конструкторы решили создать рабочие чертежи профессорского клапана. Этот клапан — новое слово в технике, внедрение его даст народному хозяйству пятьдесят миллионов экономии в год!

Потом на заводской проходной, на досках объявлений КБ, ОГТ, во всех цехах и лабораториях появляется красочный анонс:

ВСЕМИ ВСЕМИ ВСЕМИ

15 ЯНВАРЯ В ЗАВОДСКОМ КЛУБЕ СОСТОИТСЯ ДОКЛАД СТАРШЕГО ИНЖЕНЕРА КБ ТОВ. ВОЛЬСКОЙ В. И. НА ТЕМУ: «КЛАПАН КАУФМАНА»

НАУЧНЫЙ ДОКЛАД И СНЕЖИНКИ НА ВОРОТНИКЕ

Как видите, Венера Вольская опять на переднем крае...

Вот уже полмесяца она готовится к своему докладу. Полмесяца по ее эскизам девочки чертят демонстрационные чертежи, схемы, рисунки, диаграммы. Сама же она, пошептавшись с Кривоносом, убегает и возвращается в конце рабочего дня запыхавшаяся, осунувшаяся. В сердцах она швыряет куда попало свою меховую шапочку, перчатки и, рыдая, падает в кресло. Рыдания усиливаются, шапочка и перчатки летят дальше по мере того, как проходит время и приближается 15 января.

Накануне решительного дня Венера входит в отдел, держа в руках нарядную картонную коробку. Лицо ее сияет загадочной полуулыбкой Джоконды.

— Девочки, купила! — выстывает она и вдруг, уронив коробку, рухает на пол.

Девочки сначала поднимают коробку, потом — Венеру. Прибегает медсестра, делает Венере укол, дает порошок и велит полчаса полежать.

Тамара раскрывает коробку. В ней элегантный черный костюм с блестящими снежинками на воротнике и кармашках! Венера делает усилие, вырывает из рук Тамары костюм и снова откидывается на спинку кресла.

Встревоженные женщины стоят кучками, тихо шепчутся.

— Вольская — в своем репертуаре!

— Голодная целый день бегаёт!

— Поест ей некогда!

— По ночам не спит!

— Каждую ночь до трех часов доклад репетирует!

— Кому он, этот доклад, нужен?

— Сковырнется в ящик, тогда узнает!

... Что имело больший успех — доклад или черный костюм с блестящими снежинками, — сказать трудно.

Венера в ударе. Заученным движением указки она показывает на схемы и диаграммы, говорит что-то и чувствует, что люди смотрят не на схемы и диаграммы, а на нее и думают о ней, выславшейся перед докладом, наевшейся, молодой, привлекательной. Это чувство окрыляет ее, и она, выговорив все заученные слова, вдруг находит какие-то другие, непонятно откуда появляющиеся. Не вникая в их смысл, она

говорит, говорит, говорит, лишь бы подольше остаться под этими пронизывающими жгучими взглядами...

Заводская многотиражка напечатала отчет о докладе, назвав его интересным, глубоким, нужным, и выразила благодарность Венере Ивановне за то, что она в доступной форме рассказала о замечательном творении профессора.

ВАРИАЦИЯ «ИГРЕК» ПРОТИВ УЛЬТРАКОРИФЕЯ

Мой шеф, конечно, никак не может остаться в стороне от всех этих бурных событий, развернувшихся на заводе и в КБ. Он внимательно изучает институтские бумаги Кауфмана — толстую папку описания, экономический расчет, сделанный во всеоюзном масштабе, рисунки, графики, кривые — и при этом думает не столько о Кауфмане, сколько о Жаркове, потому что, как ни странно, но столичный профессор и никому не известный заводской рационализатор независимо друг от друга пришли к одной и той же идее, хоть их клапаны были совершенно различны. Листая страницу за страницей солидное научное исследование профессора, вникая в смысл емких слов описания, Лобык доброжелательно и скрупулезно взвешивает все «за» и «против», не торопясь вынести приговор.

Приступая к работе, Федор Лобык старался не думать о клапане Ивана Жаркова: ему хотелось объективно оценить профессорский труд. Не думать не удалось. Задачи были одни, решения — разные. Невольно напрашивалось сравнение, и Федору пришлось вынуть из стола лист ватмана с вариацией «игрек». За неряшливым размашистым рисунком Жаркова и аккуратным, отточенным чертежом Кауфмана Федор видит две различные живые модели. В обеих — упругой струей по всему проходному сечению течет газ. Ни пережима, ни турбулентности. И эффект налицо — профессорские графики это наглядно показывают. Рабочий орган устроен по-разному, но в обоих случаях тонкая пружинная пластинка пульсирует со скоростью двух тысяч ударов в минуту. Выдержит ли она? Плотнo ли закроет клапан? Не будет ли потерь из-за протечек? Об этом думал профессор, об этом думал Иван Жарков, об этом будет думать каждый, кому придется создавать новый клапан.

Федор Лобык уважает ученых, их знания, эрудицию, опыт, но, мысленно поставив профессорский клапан рядом с клапа-

ном заводского рационализатора и приглядевшись внимательно, он видит, что самые важные вопросы: выдержит ли, обеспечит ли — Жарков решил лучше, необыкновенно легко, изящно и просто, дав два очка вперед московскому корифею. И вот в кульминационный момент своих раздумий, усилием воли подавив радость, Лобык подходит к моей доске, молча рисует две схемы.

— Здесь две тысячи ударов в минуту, — говорит он. — Которая пластина сломается быстрее?

— Вот эта, — подумав, отвечаю я.

— Правильно, эта! — взрывается шеф. — Профессора Кауфмана! А Жаркова — стоять будет!

Федор тащит меня к своему столу, усаживает рядом, говорит волнуясь, заикаясь, тыча пальцем в профессорский отчет...

Через час мы выносим приговор, окончательный и не подлежащий обжалованию. Он гласит, что по всем статьям клапан Жаркова лучше! Никаких сомнений!

...У Геннадия Борисовича екнуло в груди, точно от боксерского удара, когда Лобык заявил ему, что отдел занимается не тем, чем надо, — делать рабочие чертежи на кауфмановский клапан не имеет смысла. Кривонос зашумел, услышав фамилию ненавистного ему Жаркова, Лобык тоже вспыхнул, конфликт распространился до кабинета Ивана Грозного, и вот взъерошенный Кривонос стоит навтыяжку у длинного зеленого стола, кушает глазами начальство.

— Вам известно предложение Жаркова? — спрашивает главный конструктор Кривоноса.

— Известно, Иван Петрович, — отвечает Кривонос. — Я отослал его в институт, Иван Петрович...

— На заключение Кауфману, — уточняет Лобык.

— Совершенно верно, — соглашается Кривонос. — Я счел необходимым проконсультироваться, Иван Петрович...

— Не консультироваться надо, а делать опытный образец! — волнуется Лобык.

Кривонос продолжает подобострастно взирать на главного конструктора.

— Получим рекомендации — будем делать, Иван Петрович! А пока нам рекомендован клапан Кауфмана! И мы его делаем! Я так думаю, Иван Петрович!

— А я не так думаю! — горячится Лобык. — Давайте разберемся! Клапан Жаркова — лучше!

У Ивана Петровича ныл зуб, кроме того, Иван Петрович не терпел ершистых инженеров и никогда не допускал с подчиненными разговора на равных.

— Кто сказал, что клапан Жаркова лучше? — резко спросил он Лобыка.

Лобык поднял на главного конструктора злой взгляд:

— Я сказал!

Эх, шеф! Ну разве можно с начальством быть такой прямой оглоблей?

Грозного аж передернуло.

— А что сказал институт? Ничего? Дайте ему высказаться! Начальник поступил правильно.

И Иван Петрович отвернулся, дав понять, что разговор закончен. Лобык мысленно плюнул на красную ковровую дорожку, пихнул ногой полированную дверь, тоже, конечно, мысленно, и вышел.

Я терпеливо выслушал чертыхания своего шефа.

— А кто виноват? — спросил я. — Вы сами, синьор, потому что в свое время не оценили моего изречения: «Эмоции — не директивы, на них далеко не уедешь».

ТРОЙСТВЕННАЯ АССОЦИАЦИЯ

Результат зубной боли у корифея № 1 оказался неожиданным — на заводе возникает негласная тройственная ассоциация в составе Лобыка, Жаркова и Полубасенкова.

Председателем ассоциации единодушно избран Лобык, и на первом же заседании, устроенном после звонка на рабочем месте у председателя, ставятся нестложные задачи, разрабатываются тактика и стратегия. Эмоции решительно осуждены, а поскольку директив не предвиделось, единственным двигателем к цели признан труд. Необходимо нелегально, по вечерам, своими руками и с помощью цеховых связей изготовить опытный образец вариации «игрек» к моменту готовности профессорского шедевра. Только сравнительное испытание может дать неопровержимые доказательства!

В отделе наступает тишина, приходят мир и благоденствие. Никаких криков, никаких споров. Я черчу детали кауфмановского клапана, женщины — тоже. Лобык внимательно и придирчиво проверяет работу всего отдела. Его стол завален белками и кальками кауфмановских деталей. Валандин

валандается с тропическим и умеренным экспортом, Валентина Ивановна делает пространственный расчет на максимум и минимум. А у Кривоноса ликует сердце. Он простил Лобыку недавний скандал, предполагая, что Федор смирился или признал свою ошибку. Иногда он подходит к Федору, по-дружески болтает о фигурном катании и хоккее. Лобык, не отрываясь от работы, отвечает ему дружелюбным тоном.

Великое дело, которое должно, как на гребне волны, поднять Кривоноса высоко вверх, движается успешно. Кривонос ходит между кульманами, с нежностью смотрит на вычерчиваемые детали, называет их лапушками, душечками. Про себя, конечно! Он готов целовать каждую деталечку, плохую и хорошую, потому что эти деталечки сделают ему доброе дело. Он чувствует себя умным, сильным, даже всемогущим. Он восхищается ловкостью, с какой заставил работать на себя весь отдел, даже весь завод! Вот они, умнички, думает Кривонос, посмеивались, презирали, а теперь вкальвают как миленькие и не знают, что стараются для него! Ведь успех Кауфмана — это успех Геннадия Борисовича!

Кривоноса приводит в умиление собственная находчивость, благодаря которой он обезвредил Жаркова. Ведь Кауфман не дурак, чтоб на завод, где осваивается его собственный клапан, послать хороший отзыв на работу соперника!

Кривонос не бегаёт, как прежде; окрыленный, почти летает по воздуху, едва касаясь земли, а когда в один благословенный день Инна Львовна вручила ему письмо из Государственного комитета по изобретениям и открытиям, он стал парить над землей, как весенний жаворонок. В письме было авторское свидетельство на изобретение клапана двум авторам — Кауфману и Кривоносу.

Заветная мечта Геннадия Борисовича сбылась!

Само собой разумеется, что на следующий же день весь завод знал, что профессор Кауфман получил авторское свидетельство, а передовой отдел Кривоноса, этот постоянный застрельщик в борьбе за технический прогресс, является тем коллективом, который первым в Советском Союзе внедрит на своих машинах замечательное изобретение профессора. Кривоносу, конечно, очень хотелось рассказать всем и каждому, что на авторском свидетельстве рядом с фамилией Кауфмана стоит и его, Кривоноса, фамилия, но раскрывать карты было рано.

Теперь звонки из Москвы в отдел К-65 раздаются каждую неделю. Кауфман держит Кривоноса в курсе, Кривонос держит Кауфмана в курсе. Ласковым, вкрадчивым голосом Марк Исаевич отечески наставляет Кривоноса и однажды сообщает Геннадии Борисовичу, что пытается получить в министерстве разрешение на строительство специализированного завода для производства клапанов!

От радости Кривоноса бросило в жар.

Боже! Специализированный завод для производства его клапанов! Его, Кривоноса, изобретение будет производиться поточным методом для всей промышленности Советского Союза и стран народной демократии! Ни в сказке сказать, ни пером описать!

Геннадий Борисович чувствует себя поймавшим жар-птицу. Перо этой волшебной жар-птицы — авторское свидетельство на два лица — он тайком вынимает из ящика своего письменного стола, разворачивает и, ослепленный его сиянием, подолгу сидит, изучая свою фамилию, имя и отчество. Блаженная улыбка не сходит с его уст, и жена в такие моменты притихает и смотрит на Геннадия Борисовича испуганными, тревожными глазами.

Бедный Геннадий Борисович! Он не знает о существовании у него под самым носом конкурирующей организации, а ведь она действует уверенно и энергично!

Через пятнадцать минут после звонка, возвещающего об окончании рабочего дня, в опустевший отдел К-65 является Жарков, которого уже поджидаем мы с Лобыком. Начинается работа. Отбрасываются в сторону кауфмановские чертежи, из столов вынимаются жарковские, и до поздней ночи три кудлатые головы, почти уткнувшись лбами, склоняются над одним столом. Мы тихо переговариваемся, спорим, дружно радуемся счастливой мысли и огорчаемся, когда она оказывается ложной; не курим, пуская кольцами дым, не рвем в клочья и не бросаем на пол неудавшиеся варианты, работаем не для показухи, а для дела.

Когда были решены принципиальные вопросы, дело пошло быстрее. Молодые, здоровые люди, мы встали к кульманам. Втроем по вечерам нам нужно сделать такой же объем работы, какой запланирован всему отделу в дневное время! Более того, для успеха задуманного предприятия нам необходимо эту работу выполнить раньше. Правда, нам не требуется выпускать ПИ со сбором подписей в восемнадцати службах.

Наша организация все вопросы решает самостоятельно. Должность главного конструктора у нас выполняет Лобык, главного технолога — Жарков, начальника КТОСа — я. Эта самостоятельность сокращает труд, но в процессе работы могут возникнуть непредвиденные осложнения, потому мы торопимся. Работа кипит. Из-под карандашей сыплются искры. . .

И вот пришел первый успех — мы выдали свои белки за полмесяца до спуска ПИ на кауфмановский клапан и перебазировались в цеха для изготовления.

Я становлюсь станочником — делаю токарные, фрезерные, сверлильные работы, Лобык — разметчиком и слесарем, а на Жаркове лежит самая трудная и ответственная работа — вести переговоры с начальством в цехах, вербовать помощников среди рабочих и любыми способами выманить материалы у кладовщиц. Опыт в этой части у Жаркова есть, как у любого непризнанного, но настойчивого рационализатора.

Он заходит в кладовую, с улыбочкой жмет кладовщице ручку и увлекает женщину в сторону.

— Тоня, я к тебе на секундочку! — шепчет он. — Соскучился — не поверишь как! А ты все цветешь! Похорошела! Красивая же ты, Тонька! Боже, ну куда молодые мужчины смотрят! Есть ли у них глаза? Такая красота пропадает!

Тоня вырывает руку и посылает его к черту, но Иван немущается.

— Видела вчера телевизионный фильм? Вот любовь показана!

Идет красочное описание телелюбви, потом опять восхищение Тониной красотой и горькие сожаления, что Иван женат. Секундочка за приятными разговорами растягивается в полчаса, а когда Жарков вынимает из кармана конфеты, расстроганная Тоня такому приятному человеку готова отдать всю кладовую, не то что какой-то несчастный пятикилограммовый алюминиевый пруток диаметром пятьдесят пять миллиметров!

Если кладовщица — замужняя немолодая женщина, разговор протекает совершенно в ином ключе, но и этим ключом хитрый рационализатор владеет мастерски. Вместо рассказа о телелюбви в этом случае Жарков рассуждает о новых школьных программах, которые зарезали несчастных родителей, о каком-то универсальном лекарстве от сотни неизлечимых болезней, о соленьях, вареньях, печеньях и о том, как из селетки, плавленого сыра, масла и недоваренной моркови сделать самую настоящую кетовую икру. Женщина слушает,

поражается и, получив от Жаркова шоколадку для ребятншек, нисколько не жалеет о метровом листе хромованадиевой стали толщиной 0,2 миллиметра, который зачем-то понадобился этому обаятельному человеку.

С мужской половиной рабочего класса Жарков находит общий язык запросто, безо всяких ухищрений. Он рассказывает все как есть и просит помочь, и не было случая, чтоб кто-нибудь ему отказал. Рабочие-сдельщики выкраивают время и выполняют трудные операции, которые нам самим не под силу. Люди понимают — видно, дело стоящее, если к станкам и к слесарному верстаку встали инженеры и трудятся почти каждый вечер до ночи после рабочего дня за кульманом.

Я почти перестал ходить в институт и не слушался Лобыка, который гнал меня из цеха.

Моя бабушка охала, вздыхала и гадала на картах: что случилось с ее любимым внуком? Возвращается поздно, без книжек, без тетрадей — видно, не из института. Говорит, на работе задержался, но какая работа, если он, голубчик, иногда стал приходить навеселе? Связался с плохой компанией! Ох, связался, горюшко горькое!

Бабушка даже плакала, а как ее убедишь, что иногда совсем не грешно выпить рюмочку с человеком, который помог тебе в трудном деле?

СВЯТАЯ ЗАДАЧА

Наступил март. Тускло-матовое небо на час-другой становится прозрачным, голубеет радостно и лукаво. Обманутые им пенсионеры выходят на солнышко для коллективной перемывки соседских косточек и, замерзнув, через пять минут расходятся, унося с собой свои табуретки и стульчики. Однако весна понемногу берет свое. С каждым днем солнце светит дольше и горячее, веселей звенит капель, задорней чирикают воробьи, меньше хмурятся люди, а когда Нева, поднатужившись, взломала лед и, шипя, понесла его к морю на своей широкой холодной груди, люди радостно высыпали на набережные, забыв свои работы и отложив дела. Кажется, они тоже освободили себя от каких-то оков, сбросили с себя какие-то тяжкие пути.

Завод изготовил партию экспериментальных кауфмановских клапанов на сто машин, мы изготовили свою вариацию «игрек» на одну машину.

Счастливым Кривонос на третьей космической скорости носится по заводу, самолично собирая подписи под отчетом о стендовых испытаниях своего клапана. Клапан показал хорошие результаты, хоть трудоемок и не удобен в сборке. В отчете есть рекомендация о постановке его на валовые машины. Сто машин должны быть укомплектованы этими клапанами и отправлены потребителю. Все замечания о работе опытных клапанов пойдут на завод.

...Подвернулось общезаводское собрание — Геннадий Борисович выступает с речью.

— Мы должны поддержать технический прогресс! — орет он во все горло. — Нам необходимо построить на заводе специальный клапанный цех! Производство прогрессивнейших клапанов Кауфмана необходимо сосредоточить под единой крышей! Это — наша святая задача!

И собрание, конечно, поддержало оратора: кто же будет возражать против технического прогресса? Собрание вынесло резолюцию, узнав о которой, Марк Исаевич в Москве пришел в восторг. Профессорский гелос в телефонной трубке дрожал и срывался на какой-то немыслимый фальцет. Профессор благодарил Геннадия Борисовича за находчивость и хвалил его безо всякого зазрения совести.

Кому не ясно, что лучше цех на заводе, чем спецзавод... в небе?



И вот с резолюцией общего собрания Кривонос кидается в атаку на завком, партком и дирекцию завода. Атака в духе Кривоноса — стремительна и нахальна; обстановка — благоприятна: завод имеет средства, ему позарез нужен новый клапан, который оживил бы устаревший парк машин; рекомендации института выглядят солидно, и, кроме того, они подтверждены Государственным комитетом по изобретениям и открытиям, потому строительство цеха утвердили!

Кривоносу показалось — он, Кривонос, поймал жар-птицу!

ЧУДО И ЗАКАВЫКА

Сергей Коробов из сборочного цеха, повывавший много разных клапанов за четверть века работы слесарем-испытателем, раскрыл от удивления рот, когда Жарков принес ему вариацию «игрек» в металле. Сергей вертел в руках клапанные доски, шелкал тугими пластинами, подцепляя их корявым ногтем указательного пальца.

— Хорош, стерва! Хорош!

И сразу же позвонил жене, что останется на работе в ночную смену.

Тщательно проверяем приборы, дифманометр, датчики, регулируем мотор-весы. Испытатель шумит:

— Вот бродяги! Утерли нос профессору!

Сергей был уверен — произойдет чудо, но оно не произошло. Клапан оказался на уровне кауфмановского.

Разбираем машину, кладем клапанные доски на верстак и до поздней ночи сидим, думаем: в чем дело? Как открыть чудо, которое запрятано в клапанах?

— Надо искать, ребята, — говорит Сергей. — Тут есть какая-то закавыка! А клапан — хороший. Вы приходите. В любое время для вас найду окошко в работе. Поставим на стенд. Сколько нужно будет, столько и будем испытывать! Найдем! Отработаем! Не унывайте!

Началась длительная полоса отработки.

Мы изменяли проходные сечения, толщину и форму пластин, конфигурацию корпуса, ставили в клапан особые рассекатели. Когда экспериментировать на этом образце стало невозможно, сделали клапан заново. На этот раз, конечно, значительно быстрее, так как у нас уже был опыт и помощники во всех цехах.

ТОТАЛЬНОЕ ПОВЕТРИЕ

Началось строительство клапанного цеха.

Кривоносу, уже до предела взвинченному ожиданием окончательного исполнения своей мечты, приходит в голову замечательная мысль. Как она приходит — непонятно! Это было какое-то наитие, откровение свыше!

Обыкновенно заводскую молодежь по несколько человек из отдела или цеха посылают на стройку или на уборку урожая в колхоз. Молодежь идет на эти работы без особого энтузиазма, тем более во время подготовки к экзаменам. Строительство клапанного цеха пришлось как раз на этот период. Кривоносу дали распоряжение послать на стройку двух человек, и он решил отыгаться на новеньких девочках. Обе девочки, разумеется, дружно заплакали, кивая на третью: почему не она? И через пять минут в отделе рыдало слаженное комсомольское трио. Как унять эти рыдания — Кривонос не знал, но вдруг его осенило.

— Девочки! — восклицает он. — Вы хотите поступать в институт? Вам надо готовиться к экзаменам?

Девочки притихли.

— Подойдите ближе, — шепчет Кривонос. — Слушайте внимательно! Только никому ни гугу!

Шмыгая носами, девочки приближаются к начальству, а оно шушукает еще таинственнее:

— Мы ведь сами ведем табель. За неделю работы на стройке я вам дам целую неделю отгулов. Сначала — одной, потом — другой. Поставлю восьмерки. Понятно? В университет подготовитесь, не то что в институт, дурочки!

Дурочки смекнули, что к чему! Сразу же вытирают слезы, улыбаются и все трое заявляют о своем согласии работать на стройке сколько будет нужно. Но, очевидно, есть доля истины в народной пословице о короткой девичьей памяти — только отошли от стола начальника и уж забыли, что он им приказал.

Через пять минут к Кривоносу подходит Кроликова:

— Геннадий Борисович, отпустите меня на стройку, а с Котей хочу на недельку съездить в деревню к бабушке.

Потом подходит Тамара, потом — Вольская, потом — Мария Графиня. У всех неожиданно вспыхивает неодолимое желание работать на стройке. Даже комсомолка тридцатых

годов Валентина Ивановна, собирающаяся на пенсию, подошла и скромно осведомилась:

— Геннадий Борисович, скажите, а меня не возьмут?

У Геннадия Борисовича от всеобщего энтузиазма мысли в голове ходуном заходили. Он подзывает профсоюзного вождя Полину Бурдо, о чем-то долго беседует с ней, потом бежит к Ивану Петровичу, потом — в партком, потом — в завком, потом — в редакцию заводской газеты. Лично! Телефону не доверяет!

И вот в один прекрасный день трудящиеся, утром идя через проходную, опять видят красочный анонс. Он кричит, что стройка клапанного цеха объявляется народной и что комсомольцы передового конструкторского отдела К-65 бросили клич: «Все, кто может, — на стройку!» Отдел К-65, понимая важность строящегося объекта, решил за счет уплотнения рабочего дня квартальную программу выполнить за два месяца и на один месяц всем коллективом пойти на строительство цеха.

«Следуйте примеру передовиков!» — призывает анонс.

Родился почин.

Выходит экстренный номер заводской многотиражки с портретами, заводское радио целый день орет для зачинателей, в КБ никто не работает.

Через три дня организуются конструкторские, технологические, цеховые бригады строителей. Строительная площадка оживляется, наполняется шумом, смехом, сутолокой. Помощников оказалось больше, чем мастеров. По этой причине мы с Лобыком, никогда не бравшие мастера в руки, сказались каменщиками. Оглядываясь на мастеров, не спеша принимаемся за дело, бригадир поставил нас на возведение внутренней перегородки. У Лобыка в подсобниках Венера, у меня — Бурдо.

В отделе остались полупенсионеры Елизар Иванович и Валентина Ивановна. Кривонос тоже пошел на стройку. Сначала он и здесь пытался изображать начальника: суетился, бегал взад и вперед, переставляя людей с места на место и путаясь у всех под ногами, но бригадир скоро его успокоил.

— Эй ты, парень! Иди-ка сюда! — сказал он Кривоносу. — Хватит языком работать!

Он дал ему в руку лопату и поставил помощником таежника на подачу раствора.

ГЕНЬКА! РАСТВОРУ!

Стройка клапанного цеха движается успешно. Конструкторы приноровились к работе, втянулись; полуголые, потные, загорелые, они уже не отличаются от кадровых рабочих-строителей. Мы с Федором тоже освоились с кладкой стен, даже стали полушутя-полусерьезно покрикивать на своих подсобниц Венеру и Полину.

Бригадир Вася — распорядительный малый, все видит и повсюду успеваает; людей расставил умно, учитывая силы и сноровку. Тамара — как заправский каменщик, взяла себе в подсобницы Марию Графиню бутить перекрытие. Раствору у нее уходит много, и она, потрясая над головой мастерком и забыв всякое уважение к начальству, кричит:

— Гень-ка-а-а-а! Раство-ру-у-у!

Геннадий Борисович копошится где-то на земле. С высоты второго этажа, на котором работает Тамара, она может называть свое строгое начальство как ей заблагорасудится. Кривонос не догадается, что кричит именно Тамара: узнав имя помтакеджаника, все каменщики и подсобницы, у которых кончался раствор, зычными голосами стали кричать точно так же:

— Гень-ка-а-а-а! Раствору-у-у!

— Гень-ка-а-а! Шевелись!

— Генька-а-а! Давай!

Геннадия Борисовича передергивает от этих криков. Он едва ворокает тяжелой лопатой, наполняя железные ящики и проклиная эту работу, для выполнения которой нужно знать только два слова: «майна» и «вира». Он предпочел бы оперировать тысячей слов, лишь бы забросить куда-нибудь подальше это примитивное орудие, по его же собственной инициативе попавшее ему в руки.

Нет! Начальником быть лучше!

Кривоносу хочется плюнуть на возводимый цех, уйти в отдел и сесть за свой стол с двумя телефонами, но путь к отступлению отрезан. Дело зашло слишком далеко. Геннадий Борисович ограничивается плевками в раствор и не уходит. Кроме того, его все-таки удерживает мысль, что с каждым поданным наверх ящиком, с каждым уложенным перекрытием он приближается к заветной цели. Корпус растет как в сказке, и в короткие перекуры, когда все ящики с раствором поданы наверх, Кривонос уже мысленно осуждает свое малоду-

шие. Задрав голову, он смотрит вверх, и радостная первобытная улыбка блуждает на его измазанном раствором лице.

В наш космический век события совершаются быстро. Строительный месяц для конструкторов отдела К-65 пролетел незаметно. Трогательно прощаются с нами рабочие. Вася благодарит и всех приглашает переходить в его бригаду, обещая хороший заработок. Особенно ему понравилась Тамара.

Конструкторов на стройке сменяют заводоуправленцы, заводоуправленцев — технологи, технологов — цеховики, и вот корпус готов! Монтируется поточная линия, завозятся в цех станки.

Кривоносу в отделе работать некогда. Какая-то неведомая сила тянет его в цех: как там? что там? Он бежит по новому светлому цеху, рассматривает станки, волнуется, суетится, дает какие-то советы монтажникам. Работы ведутся, конечно, не под его руководством. Он и понятия не имеет, что и как должно быть, но уйти из цеха не в силах.

— Кто это? — кивая на Кривоноса, спрашивает кто-нибудь из рабочих.

— Изобретатель клапана. Ты что, не знаешь?

Да, Геннадий Борисович теперь считается изобретателем. Скрывать ему нечего. Отошла пора нелегальности. Столько трудов положено, столько энергии затрачено, странно было бы, если б в авторах был только Кауфман!

КОЗНИ НЕЧИСТОЙ СИЛЫ

Гром загремел неожиданно — из Барнаула пришла рекламация: опытный клапан сломался до гарантийного срока. На другой день пришли рекламации из Читы и из Таллина, а потом посыпались со всех концов страны. За полмесяца завод получил двадцать две рекламации и около десятка слезных писем, в которых эксплуатационники умоляют забрать опытные клапаны и прислать старые: пластины ломаются, клапан ни собрать, ни разобрать, ни починить невозможно.

На заводе корифеи хватаются за головы: что делать? Всем ясно, что допущена ошибка. Клапан не годится! Но ведь для его производства построен специальный цех, поточная линия, закуплены станки, затрачены средства!

На завод нагрянули сверхкорифеи из министерства, приехал вежливый, улыбающийся Кауфман. Начальник сборочно-

го цеха, бывший в курсе всех изысканий тройственной ассоциации, как бы случайно завел высоких гостей в испыталку, где мы с Лобыком только что сняли очень высокие характеристики с вариации «игрек».

— Что это за клапан вы испытываете? — интересуются гости.

— Это клапан заводского изобретателя Ивана Жаркова. Он недавно получил на него авторское свидетельство, — отвечает начальник цеха.

— Ну и как? — осведомляются гости.

— Производительность повысилась на полтора куба.

— Не может быть! — трепыхается Кауфман. — Ошибка замеров! Покажите клапан!

Пришибленный профессор обрел былую уверенность, но ненадолго. В разговор вмешивается возмущенный рабочий класс в лице испытателя Сергея Коробова:

— Ошибок у меня не бывает, не первый день работаю! А клапан — посмотрите! Это — наш, а это — того... полудурка. Кауфмана. Есть разница? Уловили?

Кауфман все уловил значительно раньше, а Сергей никак не может уловить одной тонкости и, не стесняясь в выражениях, порицает московского профессора за то, что у него хватило совести на такой замечательный клапан написать отрицательное заключение и послать на завод! Из-за этого ребятам пришлось покувыркаться!

Профессор хватает воздух открытым ртом и моргает подслеповатыми глазами.

...В этот же день создается авторитетная комиссия во главе с начальником ОТК и Кауфманом для сравнительного испытания обоих типов клапанов.

Показания вариации «игрек» оказались такими, что профессор решил: «Тут не обошлось без нечистой силы!»

Придя в испыталку, он сам проверял приборы, сам записывал показания, сам подсчитывал производительность и затраты мощности. Опровергнуть нас ему не удалось! Вариация «игрек» была по всем характеристикам в полтора раза лучше!

Вечером у директора состоялось заседание. Начальник ОТК зачитал отчет, и после обсуждения главный конструктор предложил срочно приспособить поточную линию в новом цехе для производства клапанов Жаркова!

...Кривонос больше не бегает, не суетится, не звонит по телефону, а когда вдруг стало известно, что на предстоящем



партийном собрании будет поставлен вопрос о работе отдела К-65 и о руководстве технической политикой, он совсем поник — сидит за своим столом и молча рисует на обрывках бумаги кружочки, ромбы, гробики. Какая-то тяжелая работа мысли совершается в его голове.

Накануне партийного собрания Геннадий Борисович приходит в отдел на час позже с большой связкой книг, купленных в заводской книжной лавке. Бледный, молчаливый, он кладет книги на стол, садится на место, ни с кем не разговаривает, не отвечает на телефонные звонки, как будто не слышит их. Сотрудники притихли, работают молча, с тревогой поглядывая на начальника, который явно не в себе. Елизар Иванович на правах старшего подходит к Кривоносу, ласково говорит:

— Геннадий Борисович, пойдем, я тебя провожу домой!

Геннадий Борисович посмотрел на него каким-то странным, тусклым взглядом, но послушался, встал, взял книги. Молча вышли из помещения, молча, не торопясь шли по заводской территории к проходной. У нового корпуса, как раз там, где недавно Кривонос накладывал раствор в ящики, Геннадия Борисовича словно током ударило — упали на асфальт книги, связка рассыпалась. Он виновато взглянул на Елизара Ивановича, болезненно улыбнулся, поднял одну книгу и вдруг неожиданно закричал:

— Гень-ка-а-а-а! Раст-во-ру-у-у!

Лицо его исказилось, он швырнул книгу в стену нового цеха, потом — другую, третью, четвертую! Мудрые авторы полетели один за другим в стену, в стену, в стену! А Кривонос хватал и бросал, хватал и бросал и кричал иступленно и страшно:

— Генька, раствору! Гень-ка-а-а-а! Раст-во-ру-у-у!

Когда кидать стало нечего, Кривонос бросился сам на стену воздвигнутого по его инициативе цеха, пинал в стену ногами, бил кулаками; отшвырнул прочь Елизара Ивановича и какого-то рабочего, поспешивших к нему на помощь, кричал, бился, окровавленный, одичавший. Сбежался народ. С большим трудом удалось повалить на землю и связать Кривоноса. Он лежал на пыльном асфальте жалкий, несчастный и кричал страдальческим голосом:

— Генька, подлюга! Раствору! Раст-во-ру-у-у-у!

Слезы и кровь текли по его лицу.

Подъехала машина «скорой помощи» и увезла Кривоноса.

НАЙДЕННОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

На этом печальном событии я закрыл свою записную книгу и сунул ее в ящик кульмана, но повесть о корифеях и хористах закончилась гораздо позже — года через три.

После злополучной реакции у клапанного цеха Кривоноса целую неделю изучали врачи, сочли вполне здоровым, а как только выпустили из больницы, он взял на заводе расчет и скрылся с горизонта. Мария Графиня раз увидела Инну Львовну в магазине — Инна быстро отвернулась и торопливо ушла.

Жарков получил за свое изобретение премию, а завод — первое место по министерству. Отдел К-65 без звону и

показухи все время в числе передовых. Лобык вроде и руководит-то слегка, сам за все не хватается, а дело идет. Вольская развернулась, Бурдо бросила болтовню, стала вникать в производство.

О Кривоносе и вспоминать забыли, но вот однажды тайна его исчезновения раскрылась. Это случилось после окончания мною института. Я принимал в цеху экспортные запасные части, зацепился за гвоздь, вбитый в ящик, и разорвал брюки. Пришлось зайти в кладовую. Тоня наскоро затянула мне треугольник, чтобы не сверкал, а в субботу я завернул брюки в газету и понес их в починочное ателье.

— Посидите, пожалуйста. У нас производственная летучка, — сказала мне приемщица и ушла.

Из полуотворенной двери слышался удивительно знакомый голос. Я подошел, заглянул в щелку и увидел сначала множество улыбающихся женских лиц, а потом — сияющую физиономию Кривоноса!

Геня вел собрание, радостный, купался в лучах обращенных на него женских глаз. И я понял — Геннадий нашел себя!

Я не смог отойти от щели до тех пор, пока Кривонос не закончил свою летучку. Он показался мне очень симпатичным парнем. На самом деле, вправе ли мы его осуждать? Пожалуй, это не его вина, а его беда, что он не сразу попал на свое место.

В хорошем настроении, весело посвистывая, я ушел из Гениной починочной мастерской, не торопясь, шел по улицам под мелким дождичком и улыбался незнакомым людям. На другой день я с легким сердцем вытащил из кульмана свои записки, на последней странице чертежным почерком написал слово «Конец», расписался и первую букву своей фамилии украсил замысловатым вензелем.

Виктор Романов



ТРИ РАССКАЗА

КАК ПОКУПАТЬ СПИННИНГ...

Однажды захотелось мне свежей рыбки, и решил я стать рыбаком. А с чего начинается рыбак? С удочки! Только благодаря ей и видит рыбак рыбака издалека.

В магазине «Охота и рыболовство» было столпотворение. Покупали разное: крючки, поплавки, дробь, пыжи, грузила. За прилавком порхала девчушка как бабочка. Неужели, думаю, такая понимает толк в ружьях, калибрах, блеснах, удочках! Эх, сюда бы любителя природы со стажем, который один на один с медведем встречался и голыми руками наlima ловил...

— Девушка, покажите, пожалуйста, спиннинг, — попросил я.

Продавщица сунула мне в руки просимое и упорхнула.

— А его качество проверить можно? — крикнул я вдогонку.

— Пожалуйста, — донеслось издали.

— Зря вы быстро согласились. Может, потом жалеть придется, — предупредил я.

Продавщица подлетела и навела на меня свои глаза-телескопы. В них промелькнуло любопытство.

— А как вы намерены проверять?

— Я так и думал, что вы не знаете. Жалко мне вас! Симпатичная вы! Может, мне лучше пойти в другой магазин?

Покупатели наострили уши, так как разговор принимал скандальный оттенок.

— Зачем же в другой? — обиделась девушка. — Я за качество спиннингов ручаюсь.

Это прозвучало как вызов. Я приступил к проверке. Зажав в кулаке тонкий конец удилица, я стал медленно поворачивать кисть руки. Удилище выгнулось, и его толстый конец, оторвавшись от прилавка, поплыл вверх. И вдруг — треск! Пополам. . .

— М-да. . . Так проверять научил меня старый рыбак, — как бы извиняясь, сказал я и передал продавщице обломки. — К сожалению, не подходит.

Девушка побледнела и машинально подала второй спиннинг. Он тоже оказался не лучшего качества — обломился кончик. Покупатели отпрянули от прилавка и взяли меня в кольцо. Всех терзал один бухгалтерский вопрос: платить мне за сломанные спиннинги или не платить?

Когда и третье удилице постигла та же участь, продавщица нервно рассмеялась и сказала:

— Гражданин, вы не имеете права так сгибать!

— А если клюнет белуга на пару центнеров? Что тогда?

Это ее не убедило. Попросив покупателей покараулить меня, продавщица побежала к директору.

— Наломали дров, гражданин; извольте оплатить, — предложил тот.

— Если крупная рыба сядет на крючок, ваш спиннинг выдержит или сломается? Гарантия есть? — напрямик спросил я директора.

— Откуда я знаю? — увиливал он. — Да и где вы собираетесь ловить эту крупную рыбу?

— Как где? — удивился я. — В нашем городе Ленинграде. Например, в канале Грибоедова.

В толпе покупателей кто-то ехидно хихикнул.

— А кого вы там собираетесь ловить, если не секрет? — пытал директор.

— Старый рыбак рассказывал, что там водились лещи диаметром со сковородку, — искренне поведал я. — Надеюсь штуки три подцепить за вечер.

Толпа дружно хохотнула и уставилась на меня, как на заведомая психодиспансера.

— Галоши там дырявые водятся. Вот кто, — объяснили мне рыболовы-любители. — Теперь там и окушка с мизинец не выловишь. . .

— Тогда буду ловить в Мойке, — легкомысленно переменял я решение. — Там, по сведениям моего знакомого, полутораметровые щуки плавали.

Покупателей охватил такой приступ смеха, какой бывает у рыбаков сейнера, когда они видят человека, удящего на воднокрючковую снасть.

Директор смеялся вместе со всеми.

— А в Фонтанке пудовые сомы плавают? Да? — веселилась толпа.

— Братцы, а может, и правда в Карповке карпы живут? — заливался директор.

— Конечно, — соглашался я со всеми.

Магазин я покинул под неприлично громкий хохот публики. В руках у меня был новенький спиннинг, который пришлось купить без проверки, рассчитанной на поимку крупной рыбыны...

Первые же выходы на рыбалку убедили меня, что магазинные pessimисты оказались правы. За весь летний сезон я выловил полдюжины ершей да десяток корюшек.

Но спиннинг я все-таки не выкинул. Теперь я им вылавливаю шляпы, сдунутые ветром в воду с рассеянных прохожих, и выбиваю ковры, когда попросит жена. Очень удобно!

ЕСЛИ ЗАЖЕЧЬ ПУБЛИКУ...

Петь я обожаю, но в консерваторию по этому случаю записываться не собираюсь. Довольствуюсь тем, что пою на эстрадных концертах, не выходя на сцену. Мода теперь такая.

А начал я певческую карьеру так. Сидел, значит, однажды в партере. И вот вышла на сцену уже немолодая девушка в брючном костюме с накладными ресницами и объявила:

— Сейчас я исполню популярную зарубежную песенку. Вы ее все, конечно, знаете и будете мне подпевать!

Не дожидаясь музыкального вступления, она стала танцевать вокруг микрофона и щелкать пальцами, как кастаньетами, надеясь с ходу зажечь публику. Спев первый куплет неизвестной мне песни, певица стала подбивать зал на хоровое исполнение припева. Первый ряд откликнулся довольно дружно, но слова перевирал безбожно. К тому же две старушки исполняли припев на мотив старинного романса. Складывалось впечатление, что зарубежная песенка не столь уж

популярна среди народа. Но певица продолжала зажигать публику. Заметив со сцены мой плотно сжатый рот, она сделала разочарованный вид и трагично развела руками.

Я не верил своим глазам: меня упрашивала петь профессиональная певица! Представлялась возможность показать свой талант огромной аудитории, и я запел русскую песню «Коробейники», которую очень любил и знал наиболее полно. Мой сосед, грузный седой мужчина, поморщился и удивленно вскинул брови. Группа студентов с пятого ряда недовольно на меня покосилась, о чем-то посоветовалась и завела песню о своем студенческом житье-бытье.

И тут произошло раздвоение. Молодые звонкие голоса решительно подхватили студенческую. Зато пожилые зрители поддержали мою песню. Балкон дипломатично молчал и на события в партере смотрел свысока. В оркестре произошел разброд. Барабан и тромбон были за нас, саксофоны и кларнеты подыгрывали студентам. Дирижер повернулся к залу лицом, почесал в затылке дирижерской палочкой и посоветовал музыкантам играть «Коробейников».

Это уже была победа. Балкон отбросил свой нейтралитет и загудел в такт нашей мелодии. Студенты прикусили язык и, посоветовавшись друг с другом, переключились на «Коробейников».

Песня лилась широко и стройно. Все получалось хорошо, только певица загрустила. Она вдруг перевернула микрофон к публике, смерила зал надменным взглядом и гордо удалилась за кулисы.

— И чего она обиделась? — удивлялись в зале речитативом. — Сама же хотела зажечь публику. . .

ИНТУИЦИЯ

Сидел я однажды в автобусе у окошечка, любовался городскими пейзажами. И вдруг — бац что-то тяжелое на колени! Очнулся я — какая-то тетка на мои брюки сумку бухнула. Намекнула, значит, чтобы я место уступил. А надо ли, думаю, ей уступать? Заслуживает ли она этого? Отвернулся к окну, а самого сомнения гложут: почему же все-таки я ей место не уступаю? Где мои вежливость, рыцарство и джентльменство?! Кто же, размышляю дальше, виноват, что я сформировался таким чурбаном? Детский сад, школа или семья?

— Нет, вы только посмотрите на него, — взывала тетка к автобусной общественности. — Сидит — и ни стыда, ни совести... А ведь сколько таких наглецов критиковали...

Действительно, думаю, критиковали. Сначала в баснях. Эзоповским языком. Чтоб сильно не обидеть. Изображали медведями, а женщин овечками. В морали красной нитью идея — мол, неприлично медведям сидеть, когда овцы стоят. Потом косяком пошли юморески. С подтекстом. С яркими концовками, которые били по мозгам тех, кто симулировал сон или превращал городской транспорт в читальный зал.

— В фельетоне бы такого пропесочить негодника, — бушевала тетка, не снимая сумки с моих колен. — Ишь расселся...

И фельетоны, думал я, тоже были. Тяжелая артиллерия для толстокожих, которых баснями и юморесками не проймешь. В них резали правду-матку прямо в лоб без околичностей. В адрес мужской половины лился отборный поток иронии и сарказма. Фамилия же замеченного в сидении и неуступании места писалась с маленькой буквы во множественном числе.

— Откуда только такие нахалы на свете берутся! Никакого уважения! — вопила тетка, стараясь встретиться со мной взглядом.

— А за что вас уважать? Вы скромная женщина или герой труда? — не выдержал я, поняв вдруг причину своей неуступчивости.

— Правильно, — поддержали меня пассажиры. — Бескультурная особа! Всем покоя не дает. Всю дорогу скандалит...

— Она и в квартире постоянно скандалит, да еще и пьянствует, — заметила пожилая женщина, сидевшая впереди.

Тетку будто подменили. Она прикусила язык и бочком-бочком выскочила из автобуса.

Я отвернулся к окну и подумал: есть все-таки на свете интуиция!

Александр Матюшкин-Герке



МАЛЕНЬКИЕ РАССКАЗЫ

А ТЫ ПОДУМАЙ...

- Здравствуй, Барашкин, здравствуй, дорогой!
- Здравствуйте, Николай Кузьмич. Зачем вызывали?
- А ты подумай.
- Наверно, рацпредложение мое приняли.

— Умница ты у меня, Барашкин. И рацпредложение у тебя хорошее. Даже отличное у тебя рацпредложение. Может быть, мы его даже и примем. В виде исключения. Но не за этим я тебя вызывал, не за этим.

— А зачем же?

— А ты подумай.

— Наверно, мастер пожаловался. Так ведь я его давно предупреждал, чтобы не гонял мальчишку за водкой. Да еще в рабочее время. Вот и пришлось его в стенгазете пропесочить.

— Молодец, Барашкин. Так и надо. Решительно и оперативно. Незирая на лица. Смелость, она города берет, а трус, как известно, в карты не играет. Только не за этим я тебя вызывал.

— А зачем же?

— А ты подумай.

— Тогда, значит, из-за Петра Егорыча. Но сами посудите: в цеху половина женщин, а он как пойдет с самого утра словечки всякие выкаблучивать... Мужики и те краснеют.

— Нет, не зря мы тебя, Барашкин, три раза на курсы по-

вышения отправляли. Ох не зря. Ишь как повысился! Не видать нам тебя простым глазом теперь, не видать. . . А с Петром Егорычем я и сам как-нибудь разберусь. Мой он заметитель, а не твой. Понятно? Стало быть, не за этим я тебя вызывал.

— А зачем же?

— А ты подумай.

— Должно быть, письмо пришло из народного контроля. Насчет навеса для деталей. У нас ведь не Сахара, Николай Кузьмич. Нет-нет и дождик пойдет. А железо, оно воды не любит.

— Ну и глазастый ты у меня, Барашкин, чисто Шерлок Холмс. Все углядишь, все заметишь. Только не за этим я тебя вызывал.

— А зачем же?

— Ну ладно, не буду я тебя больше томить, хороший ты мой. Посовещались мы тут с Петром Егорычем, с мастером потолковали и решили мы тебя, родной ты мой, уволить по сокращению штатов.

— Как же так, Николай Кузьмич?! Ведь у нас есть такие, кто действительно зря брюки просиживает. Почему же именно меня?

— А ты подумай! . .

ЗАЙКА

Дома ее все называли Заяц. Нет, вовсе не потому, что у нее были длинные уши. Ушки у нее были маленькие и почти прозрачные. И волосы черные, прямые, только немного загибались у щек, отчего лицо, казалось, выглядывает из черной, блестящей коробочки.

А вот характер у нее был действительно заячий. Натворит что-нибудь, а потом спрячется в угол и смотрит, накажут или не накажут.

Зайка очень любила две вещи: блинчики с мясом и своего соседа Вовку, шестилетнего крепыша, коновода всей дворовой мелюзги, очень серьезного и ужасно одаренного, как утверждала его мама. Любовь эта была безответной, потому что Вовка всю свою сознательную жизнь презирал женщин. Правда, его папа утверждал, что со временем это пройдет. Но проходило время, а это не проходило. И тогда Вовка решил влюбиться назло всем и самому себе.

Что такое любовь, он уже знал, потому что мама разрешала ему смотреть вечером телевизор. Это когда ходят вместе, дарят цветы и целуются в парадной. Одно только смущало Вовку — это то, что гулять надо было с девчонкой. Уж лучше бы это был соседский Витька или, на худой конец, Сережка из дома семнадцать. Но надо было соблюдать правила, и Вовка выбрал Зайку.

Зайка тоже смотрела по вечерам телевизор, и поэтому предложение пойти вместе погулять было принято с восторгом.

После ужина Вовка надел свой праздничный костюмчик, подаренный мамой на день рождения, вылил на голову полфлакона одеколона, почистил зубы (так всегда делал папа, когда уходил вечером на совещание) и, деловито взяв Зайку за палец, вышел на улицу.

Так они прошли два раза вокруг своего дома.

— Вовка! Я устала гулять, — капризно заявила Зайка. — Давай сядем.

— Ты же видишь, что эта скамейка уже занята, — нравоучительно произнес Вовка. — Мы не можем сидеть там, где уже кто-то сидит. Это не полагается.

Соседские мальчишки разинув рты смотрели на Вовку и ровным счетом ничего не понимали. Наконец Сережка из дома семнадцать решил спросить, что все это значит.

— Ничего особенного. Просто я женюсь, — сказал Вовка.

— На ком?!

— На ней.

— Так она же дура, — сказал Сережка, ковыряя в носу пальцем.

— А где ты видел умных женщин? — пробасил Вовка паниным голосом и пошел к цветочной клумбе.

— Не хочу тюльпан, хочу подсолнух. Он большой, и в нем семечки!

— Бери что дают, — рассердился Вовка и потащил Зайку в парадную.

Там он долго вертел ее голову, вспоминая, как же целовались во вчерашней телевизионной передаче. Наконец вспомнил и чмокнул три раза в обе щеки.

— Хочу еще, — пискнула Зайка и подставила губки.

— Хватит, — отрезал Вовка. — Иди домой, а я приду после. Не надо, чтобы нас видели вместе. А завтра, если меня не увезут на дачу, снова пойдем гулять.

Домой он вернулся через час. В прихожей долго вытирал ноги, чего раньше вообще никогда не делал, потом пошел в ванную, еще раз вычистил зубы и направился прямо к Зайкиному папе.

— Здравствуйте, дядя Миша, — сказал он и откашлялся. — Я пришел поговорить с вами как мужчина с женщиной.

Дядя Миша отложил в сторону журнал «Работница», снял очки и приготовился слушать. Зайкина мама с тарелкой в руках выглянула из кухни.

— Мы с вашей дочерью давно любим друг друга, — сказал Вовка. — Вот. И хотим пожениться. Для порядка требуется ваше согласие.

В кухне раздался шум. Это Зайкина мама уронила тарелку.

— Ну что же, Владимир, — глубокомысленно сказал дядя Миша, — человек ты серьезный, умный, скоро в школу пойдешь. . . Так что в принципе я согласен. Но, видишь ли, все дело в том, что, если у вас действительно настоящая любовь, в чем я ни минуты не сомневаюсь, ее надо испытать временем.

— Как это? — не понял Вовка.

— Ну, подружить несколько лет, побыть врозь, словом, проверить свои чувства. Вот мы с тетей Клавой, если мне не изменяет память, были знакомы до свадьбы лет пять или шесть.

Тетя Клава хмыкнула и закрыла в кухню дверь.

— Понятно, дядя Миша, — сказал Вовка и протянул руку. — Будем проверять.

— Желаю удачи!

Дядя Миша закрыл за Вовкой дверь, надел очки и снова взялся за журнал.

Зайка лежала в своей кровати, крепко зажмурив глаза, и чувствовала, как ее сердце медленно поднимается из пятки в то место, где оно обычно находилось. Потом пришла мама, и они с папой начали смеяться. Тогда Зайка окончательно поняла, что ее не накажут, и, повернувшись на другой бок, сразу заснула.

Утром мама сказала ей, что Вовка уехал на дачу проверять свои чувства. Зайка вздохнула, стащила из кухни блинчик с мясом и побежала на улицу.

А в парадной, пряча с спиной ядовито-желтый тюльпан, ее уже целый час ждал. . . Сережка из дома семнадцать.

Анатолий

Надь



ЮМОРЕСКИ

ЧУЖИМИ РУКАМИ

«Только бы дотянуть до города, — беспокоился шофер первого класса Хватов. — Неужели опять заглохнет мотор?»

Автомобиль, словно простуженный старик, расчихался не на шутку и, вконец обессилев, снова остановился.

Дул сильный, пронизывающий ветер.

«Ну и погодка, — подумал Хватов, нехотя вылезая из тепла на стужу, — опять грязью забило бензоотстойник. Третий раз отворачивать придется».

— Ты что копаешься? — спросил Хватова водитель подошедшего самосвала. — Может, помочь?

— Выручи, будь другом, а то я только лишь шоферские курсы закончил, ничего еще в машине не смыслю, — беззастенчиво соврал Хватов. И, надеясь, что бензоотстойник отвернет за него сердобольный коллега, потянулся в карман за папироской.

— Ну что стоишь руки в брюки?! Пошевеливайся! Искру проверь.

— Не в искре дело. Да и замерз я здорово.

— Яйцо курицу учит: не в искре дело! Слушай, что тебе говорят старшие, и выполняй, — приказал Хватову его добровольный помощник. — Заодно согреешься.

«Будь он трижды неладен, такой помощник», — мысленно выругался Хватов.

Искра оказалась в порядке. Вывернутые свечи — тоже в исправности.

— Тогда снимай карбюратор! — деловито распорядился водитель самосвала.

— Карбюратор здесь ни при чем.

— Не учи ученого! Делай, как тебе говорят. Ты только курсы шоферские закончил, а я уже целых два года работаю.

Хватов скрепя сердце сделал и эту ненужную операцию: снял исправный карбюратор.

— Может быть, клапаны отказали? — после некоторого раздумья произнес водитель самосвала.

— Нет, не клапаны. Бензоотстойник грязью забило, — поспешил подсказать истинную причину неисправности Хватов, боясь, что его ретивый помощник снова предложит делать никчемную работу.

— Хотя ты еще и желторотый в автоделе, а угадал, — сказал наставник Хватова, глядя на стеклянный набитый грязью стакан бензоотстойника и стал его отворачивать.

«Наконец-то я смогу перекурить», — обрадовался Хватов.

Но радость его оказалась преждевременной. отсоединенный чужими руками стакан бензоотстойника словно живой выпрыгнул из незнакомых ему ладоней, и от него остались лишь стеклянные осколки на сером холодном асфальте.

— Теперь помочь тебе никто не сумеет. Без отстойника дело труба. Сливай воду, а то, чего доброго, радиатор разморозишь, — давал свои последние наставления добровольный помощник Хватова, собираясь уезжать.

— В город приедешь, сообщи хоть в гараж Птицеторга: Хватов, мол просит техпомощь прислать.

— Сообщу. Так и быть, сообщу. Горе с вами, начинающими. Одно горе.

НЕ ОБЕЗЛИЧИЛИ

«А вдруг шеф, дьявол его подери, обезличит все подарки и не узнает, что я для него пол-аванса не пожалел, — подходя к крупнопанельному дому-башне, в котором жил его начальник, забеспокоился конструктор Матушкин. Затем, дойдя

уже до самого подъезда, ни с того ни с сего повернул обратно. — Пойду вложу в подарок поздравительную открытку. Тогда-то уж поймет юбиляр, дьявол его побери, кто именно из подчиненных для него ничего не жалеет».

Но когда Матушкин снова подошел к дому-башне, где должно было состояться пиршество, опять его охватило сомнение:

«А что, если супруга виновника торжества, одержимая любопытством, распакует подарок и выронит при этом открытку с дарственной надписью? В таком случае моя щедрость опять-таки останется никем не замеченной. Лучше, пока не поздно, схожу домой да прикреплю к подарку крепко-накрепко аккуратненькую бирочку с пожеланием шефу, дьявол его побери, счастья и долгих лет жизни, — решил он. Но тут же усомнился. — А вдруг меня с этой бирочкой на смех подымут?»

В конце концов конструктор Матушкин пришел к правильному решению возникшей перед ним проблемы: он обратился к граверу.

«Теперь-то уж никто не обезличит мой подарок. На нем навсегда останется дарственная моя надпись шефу, дьявол его побери», — размышлял моржно настроенный Матушкин, приближаясь (уж в который раз!) к крупнопанельному дому-башне, в одной из квартир которого должно было вот-вот начаться торжество.

На следующий день, возвращаясь с работы, конструктор Матушкин стал невольным свидетелем разговора, происшедшего между двумя дамами, в одной из которых он узнал жену своего шефа.

— Ну как, вчера много народу у вас собралось?

— Тьма-тьмущая. Человек сорок. Почти все конструкторское бюро.

— А как подарки? — поинтересовалась первая.

— Богатые. Начальникам плохих не дарят, — ответила вторая. — Всех дешевле оказалась бронзовая статуэтка, которую преподнес мужу конструктор Матушкин, — сморщив чосик, добавила она.

— Как же тебе это удалось установить? Ведь при такой уйме подарков их легко было обезличить.

— А гравировка дарственная для чего делается? — резюмировала жена шефа.

ХВАТИТ УМНИЧАТЬ!

— Ну как, — спросил свою жену Антон Иванович, — сдала часы в ремонт?

— Сдала. Семь рублей пришлось заплатить.

— Ого-го! Я же тебя, Наташа, предупредил — часы в полном порядке, одни лишь стрелки надо укрепить. А тебе в квитанции чего только не написали! И ось маятника, и чистка, и волосок. Ох и проучу я этого бессовестного плута! — сказал в заключение Антон Иванович. — Будет знать, как приписками заниматься.

В день, когда надо было получать отремонтированные часы, он пошел за ними вместе с женой.

В мастерской, как только супруга их получила с прикрепленной к ушку корпуса квитанцией-гарантией, Антон Иванович распорядился:

— А теперь дай часы мне, а сама отойди в сторонку.

— Не посмотрите ли у меня часики, — произнес Антон Иванович, обращаясь к приемщику, — что-то они совсем захандрили, — добавил он, пряча гарантийную квитанцию.

Бегло взглянув на механизм, часовщик заунывно пробормотал:

— Н-да, как же им не хандрить, когда надо менять и ось маятника, и волосок. Ну и чистку, конечно, делать надо.

— Надо — так делайте! — воскликнул Антон Иванович и с торжествующим видом преподнес квитанцию на только что отремонтированные, с шестимесячной гарантией часы.

— Умничаете?! — процедил сквозь зубы обиженным тоном приемщик.

— Кто только из нас умничает — вот вопрос, — злорадно смеясь, произнес Антон Иванович и потребовал жалобную книгу.

Спустя примерно полгода, когда Антон Иванович с только что купленными в универмаге часами проходил мимо часовой мастерской, с которой у него были связаны не весьма приятные воспоминания, его вдруг словно осенило.

«А что скажет плутоватый приемщик, если ему предъявить совершенно новые часы?» — подумал он и зашел с этой целью в мастерскую.

— Барахлит что-то механизм, — надев очки, стараясь быть неузнанным, произнес Антон Иванович, протягивая приемщику новехонькие часики «Полет».

— Н-да, — сняв крышку и бегло взглянув на блестящие шестеренки, пробормотал невесело мастер, — как им не барахлить. Будем менять и ось маятника, и волосок. Да и чистку делать придется.

— Чистку надо сделать вашей совести! — с гневом произнес Антон Иваныч, предъявляя магазинный чек с заводской гарантией на новые часы.

— Ах, это опять вы! — воскликнул изумленный часовщик. — Может быть, все-таки хватит умничать?

— Вот именно. Хватит. Так и запишем. «Хватит умничать!» — сказал Антон Иваныч, раскрывая вновь книгу жалоб и предложений.

Нина Аптер



РАССКАЗЫ

ЭВМ НА ТРАНСПОРТЕ

— Граждане, пройдите вперед, впереди свободно!

— Вы заметили, нигде так охотно не продвигают, как в трамвае. Повышения по службе — не дожدهшься.

— Граждане, дальше трамвай пойдет без остановок, до самого кольца двери не откроются, потому что из пятидесяти человек, что вошли в вагон, заплатили только тридцать семь. В кассе недобор в сумме тридцати девяти копеек.

Публика оживилась, и все с подозрением стали оглядывать друг друга.

— А вы, молодой человек, определенно не платили, я сразу это заметил, как только вы вошли. И не спорьте, и не показывайте мне старый билет. Нет, нет, я и смотреть не буду, я не контролер, но вы мне сразу показались подозрительным.

— Гражданка водитель, пожалуйста, очень вас прошу, уважаемая, остановите на следующей остановке, я тороплюсь, мне в аэропорт нужно.

— Никакого снисхождения, в кассе недобор, — холодно отрезала водитель, молоденькая хорошенькая девушка в форменном синем, довольно кокетливом костюме. Синий беретик едва держался на ее пушистых нейлоновых волосах.

— У кого вы просите, я ее знаю, почитай, шестой год, и не было еще случая, чтобы она выполнила чью-либо просьбу, — сухарь, буква, будет стоять на остановке с закрытой дверью целую минуту, но тебя не выпустит, если ты проспишь, умоляй не умоляй.

— Что вы говорите, а такая молоденькая и хорошенькая!

— И не стареет, заметьте.

— Такие бессердечные вообще не стареют и не болеют.

Тут один из собеседников что-то сообщил другому очень тихо, шепотом. Второй сделал большие глаза, и все его лицо выразило крайнее удивление.

— Не может быть! — воскликнул он.

— Да, да, вы обратите внимание на нее на конечной остановке. Думаете, она бросится в буфет или еще куда?.. Ни разу не видел. Сидит себе, наверное, в сеть подключается.

А водительница то и дело поглядывала в салон через зеркало, и хоть синие глаза ее были строги и несколько не теплели даже тогда, когда встречались с глазами молодых мужчин, но все же в них загорался какой-то огонек.

— Как же мне быть, я опаздываю на самолет, — не унимался пассажир, чей довольно вместительный чемодан был весь в пестрых наклейках.

— А вы заплатите эти тридцать девять копеек, — посоветовала старушка.

— Ах, вы знаете, почти в каждом транспорте я доплачиваю, но сейчас у меня только пять рублей, совсем нет мелкой монеты.

У кассы началось какое-то оживление, когда трамвай, не сбавляя хода, проехал пятую остановку.

— Пожалуйста, передайте.

— Возьмите билет.

— Благодарю вас.

— Вот вам сдача.

И вдруг этот деловой и вежливый разговор прервала громкая, но занудная сирена.

— Уважаемые граждане, не опускайте в кассу пуговиц, — наклоняясь к микрофончику, насмешливо сказала водительница, а из бокового раструба кассового ящичка вылетела белая пуговица от наволочки.

Трамвай стремительно пронесся мимо шестой остановки.

СИМУЛЯНТКА

Галактиона Крониевна села в кресло и подумала: «Как меняется время! Еще каких-то пятьдесят лет назад нужно было разуваться и ставить ноги на холодные контакты, а те-

перь достаточно положить руки на подлокотники — и через пять минут электронный терапевт выдаст рецепт».

Но сегодня ей нужен был не просто рецепт, ей нужно было освобождение от работы хотя бы на три дня. Она чувствовала себя усталой, в канун праздника космонавтов ей исполнилось ни много ни мало — 118 годочков, только два года оставалось до пенсии. Два года, но их еще надо прожить...

Она опустила пальцы на контакты, и терапевт зажегся всеми своими огнями.

— На что жалуетесь?

— У меня, доктор, слабость, пропал аппетит, и новые клапаны моего сердца так стучат, что я просыпаюсь по ночам и долго не могу заснуть.

— Гм, гм... — Терапевт пощелкал своими реле, на минуту задумался, а потом выдал ответ: — Несмотря на это, мадам, вы практически здоровы.

Галактиона Крониевна и сама знала, что практически она совершенно здорова, то есть ту несложную работу, что она делала из года в год вот уже в течение многих лет, она могла бы сделать с завязанными глазами. Она была заведующей кафе центрального аэропорта.

Там все делали автоматы, и главным из них был пекарь, он выпекал пирожки, булочки, кексы, биксвиты, пирожные — одним словом, различную сдобу. В закуточном зале было много автоматов коктейльменов, кофеваров и смешной подвижной автомат Ерошка. Он протирал столы, после того как сами посетители поставят грязную посуду на подстолешники, а те опустят ее в подпольный конвейер. Так дело и шло.

Время от времени автоматы портились. Мойщик вдруг начинал бить стаканы, и тогда в кабинете у Галактионы Крониевны раздавался звонок, а вслед за тем характерный звук, словно автомат жует стекло. Подналадка требовала всего двух минут, за это время она успевала поменять все узлы твердой схемы, сигнальную лампочку, триммер, триггер, все диоды, катоды и пантоды, сколько их там было.

Сначала ей работа нравилась, но прошло много лет, и сама она стала казаться себе автоматом. Глядя в окно закуточного зала, Галактиона Крониевна видела в течение дня толпы людей, которые, подобно волнам, накатывали одна за другой. Чай, кофе, какао и другие напитки текли из автоматов рекой, пирожные и прочая сдоба лоток за лотком опускались в зал.

— Доктор; у меня болит голова, живот, поясница...

— Гм, вот извольте получить рецепт.

— Рецепт?.. Зачем он мне нужен!.. Не нужен мне ваш рецепт. Дайте мне освобождение от работы... хотя бы на три дня.

— Вы практически здоровы, мадам, и вполне можете работать.

— Я устала...

— Это не причина, мало ли кто устал, я, может быть, тоже устал.

Зашелкали реле, но впечатление было такое, будто захрустели старческие кости. Все лампочки, означающие профессиональные знания, интеллект, разом погасли, и он стал глух и слеп, как может быть глуха и слепа груда металла.

Галактиона Крониевна надавила пальцами на контакты, но автомат не включился, и тогда ярость охватила женщину, ей казалось ужасным, невыносимым, нетерпимым, что какой-то паршивый автомат не желает с ней разговаривать, с женщиной, которая всю свою жизнь управляется с ними, и еще не было случая, чтобы какой-то ничтожный автоматика вышел у нее из повиновения.

Галактиона Крониевна встала с кресла и строптиво, поженски расправилась с ним: выбила стекло на одном из индикаторных приборов и хорошенько постучала кулаками по передней стенке. И тотчас же все лампочки загорелись, и одновременно с возгласом: «Мадам, вы практически здоровы!» — в прорези автомата появился больничный лист, в котором было четко отпечатано: «Расстройство центральной нервной системы на почве крайнего переутомления».

Галактиона Крониевна легко и удовлетворенно вздохнула. Она совершенно успокоилась и, только выйдя на улицу, вспомнила, что уже двадцать лет, как отменили всякие больничные листки и ей достаточно было позвонить управляющему и сказать, что она не выйдет на работу, и все. Никаких объяснений. Она засмеялась: «Ну и склероз... Завтра расскажу подругам, как я выбила из автомата больничный лист».

Ее мысленному взору представился маленький лесок, куда они собирались идти за грибами. Правда, настоящих грибов там совсем мало, протянешь руку за хорошеньким боровичком, а в нем загорится лампочка. Но штук пять или шесть они найдут, а если нет — так не в грибах счастье, важно побродить по настоящему лесу да вспомнить молодость.

Статьи и рецензии



РАЗГОВОР С МОЛОДЫМИ

Рождение стиха — это сложный и тонкий процесс, в котором стремление поэта выразить содержание как бы само находит нужную форму. Иначе говоря, рождение стиха во многом интуитивно. Далеко не всегда написанное стихотворение является конечным результатом творчества. Думаю, не ошибусь, если скажу, что чаще всего новое стихотворение представляет собою строительную площадку для дальнейшей работы. Взыскательный автор — и архитектор, и прораб, и рабочий, действующий на ней.

Михаил Луконин как-то рассказывал, что его стихотворение «Пришедшим с войны» сперва заканчивалось так:

Я вернулся к тебе,
Но кольцо твоих рук —
И замок, и венок,
И спасательный круг.

Однако поэту показалось, что в этих строках есть несвойственная ему интонация. Ведь говорит поэт в этом стихотворении от имени всего поколения, и замкнутость образа несвойственна людям, перед которыми раскрыт мир, кому «жажда трудной работы... ладони сечет». И вот результат раздумья: появляется новая концовка, превращенная как бы в свою противоположность:

Я вернулся к тебе,
Но кольцо твоих рук —
Не замок, не венок,
Не спасательный круг.

Образы «замка», «венка», «спасательного круга» остались, но выражать стали, и, нужно сказать, гораздо тоньше, то, что хотел сказать поэт. Понятно, что эта концовка одного из лучших луконинских стихотворений целиком и полностью обязана первоначальной, давшей толчок, ищущей мысли.

Только примитивизируя творчество, можно говорить о том, что стихи пишутся «на тему». Убежден в обратном: тема рождается и вырастает из материала. Маяковский писал про то, как «по длинному фронту купе и кают чиновник учтивый движется», а получились стихи, воплотившие в себе идею и тему советского патриотизма. Строчкам, словно кровеносным сосудам, необходимо живое, жизненное наполнение. Чего не терпит поэзия — так это прописных истин.

Слава богу, кажется, пришло время, когда и у критиков не в чести декларативные, трескучие стихи, которые почему-то именуются «газетными». И все-таки они появляются, эти многословные, внешне актуальные произведения. Думая об этом явлении, хотелось бы привести слова В. Г. Белинского: «Они (то есть читатели. — Л. Х.) отличат Лермонтова от какого-нибудь фразера, который занимается стукотнею звучных слов и богатых рифм, который вздумает почитать себя представителем национального русского духа потому только, что кричит о славе России (нисколько не нуждающейся в этом)». Как убийственно верно это сказано! У метода, при помощи которого пишутся подобные стихи, очень мало общего с реализмом, а тем более с социалистическим.

Риторические, многословные стихи в моем представлении противоположны понятию талантливые. Недаром древние греки говорили: «Талант — это самоограничение». Только понимать этот афоризм нужно не поверхностно, а глубоко. В чем необходимо самоограничение? Речь, конечно, идет о том, чтобы в художественном произведении не было бы ничего лишнего, мешающего восприятию главного, основного.

Мы коснулись понятия таланта, заговорили о талантливости или неталантливости стихов. Так что же такое талант? На этот сакраментальный вопрос существует множество ответов. Мне хочется привести одно определение таланта, данное покойным Л. А. Кассилем в его недавно опубликованных дневниках: «Талант — это умение удивлять правдой». Прекрасная, верная мысль. Это определение точно прежде всего тем, что связывает искусство с жизнью. Жизненность — сущность искусства. Больше всего на свете художник должен

любить жизнь. Только тогда он сможет быть настоящим художником. Но о каких явлениях жизни нужно писать, что нужно поэтизировать? Совершенно не важно, большое или маленькое событие отражает поэт, важно, чтобы это событие глубоко волновало его, важно, чтобы оно было достойно поэтизации, чтобы оно могло рождать большие мысли и чувства:

Я
много дарил
 конфет да букетов,
но больше
 всех
 дорогих даров
я помню
 морковь драгоценную эту
и пол-
 полена
 березовых дров.

Простая морковка и полполена дров вырастают в большой и емкий поэтический образ, так много и живо говорящий о времени и о сердце поэта.

Несуразности, встречающиеся в стихах, часто объясняют так называемым «своим видением» поэта. Спору нет, свое видение, свое восприятие мира необходимо поэту, но оно должно быть органичным, должно быть свойством природы, а не намеренным желанием соригинальничать. «Дожди идут зеленым косяком. . . дожди плывут на белых плавниках», — пишет молодая поэтесса, вероятно, думая: как по-своему у нее получилось! Вспоминая слова Белинского о том, что «лишь тот образ хорош, который доступен созерцанию», попробуем представить себе «зеленые косяки дождей» и убеждаемся в том, что образ получился надуманный, нереальный.

У П. Агейченко, выпустившего недавно свою первую книгу стихов, есть удивительно живописное стихотворение «Пруд закипел», а в нем такая строфа:

И однажды,
 под трепет листвы у осин,
У высокого сруба колодца
Земноводный,
Зеленый лягушечий сын
На свои локотки обопрется.

Простые слова, а какая добрая улыбка светится в них, улыбка человека, влюбленного в жизнь, в природу. Стихотворение являет собой цельный поэтический образ.

О концентрированности, емкости поэтического слова говорить можно очень много. В нескольких строчках, буквально в нескольких словах поэт может нарисовать целую картину, внушить читателю важную мысль. Возьмем начало одного из ранних стихотворений Михаила Светлова:

Ночь стоит у взорванного моста.
Конница запуталась во мгле.
Парень, презирающий удобства,
Умирает на сырой земле.
Теплая полтавская погода
Стынет на запекшихся губах.
Звезды девятнадцатого года
Потухают в молодых глазах.

Рисуя главное — смерть красноармейца, как бы мимоходом, поэт сообщает нам целый ряд сведений: мы узнаем, что дело происходило под Полтавой, в девятнадцатом году, теплой украинской ночью. Целый поток информации. Но какими высокими чувствами окрашен этот поток! «Звезды девятнадцатого года» — звучит торжественно и романтично. В этих стихах все слова стоят на месте, точно выражая мысль.

Очень часто можно встретить стихи, в которых, вопреки добрым намерениям, слово выходит из подчинения автора. Попались мне на глаза недавно такие строки:

Не морская бригантина —
Эта вятская земля
Стала родиною Грина,
Фантазера и враля.

Употребление слова «враль» здесь явно случайное. В данном стихотворении слово «враль» оскорбляет представление о замечательном писателе-романике Александре Грине.

В стихах важно каждое слово, каждая запятая. Вспомним пример одного словоупотребления у Пушкина. В «Скупом рыцаре» на вопрос: «Твой старичок торгует ядом?» — звучит ответ: «Да. И ядом». Какая огромная смысловая нагрузка легла на союз «и»! Чем только не торгует старик — всем на свете!

Большим недостатком многих наших поэтов является бедность их словаря. Кажется, что поэты довольствуются и обходятся сотней-другой слов. Не так-то просто встретить в стихах молодых свежее, не стертое от частого употребления слово. Сплошь и рядом поэты обходятся стандартным набором поэтизмов: эпитетов, сравнений, образов. Вспоминается мне один случай, происшедший со мной в молодости.

В 1946 году я собрал вторую книгу стихов, назвав ее «Новоселье». Время было послевоенное, душу захлестывали мирные настроения. Потянуло писать о природе. Принес я рукопись в издательство. Главный редактор принял рукопись, велел прийти через несколько дней. Прихожу. Он подает мне мою рукопись и говорит: «Полистайте!» И что же?! Наверно, в двадцати местах рукописи было подчеркнуто одно и то же слово — «ветер». «Ну, — думаю, — ничего себе главный. Как скрупулезно он прочитал мою книгу, если смог обнаружить столько досадных мелочей!» Однако редактор сказал: «Не думайте, что я прочитал вашу рукопись. Просто я все рукописи молодых поэтов просматриваю на слово «ветер», и, как видите, не напрасно. Возьмите рукопись и поработайте, поищите что-нибудь посвежее ваших «ветров».

Кстати, о редакторах и о литературных учителях. В развитии и становлении молодого поэта старшие товарищи, учителя играют первостепенную роль. Мне, например, очень повезло на учителей. Первым поэтом, с которым я говорил, был Гитович. Помню, еще школьником я принес свои стихи в редакцию газеты «Смена». Литературную консультацию там вел тогда двадцативосьмилетний — казавшийся мне чуть ли не классиком — Александр Гитович. Узнав о моих успехах на конкурсе юных дарований, бегло просмотрев мои стихи, Александр Ильич сказал: «Поэт — это друг, собеседник. Он обязан быть интересным читателю, который волен и отложить стихи твои в сторону, если ему станет скучно». Гитович искоса посмотрел на мои листочки. Я покраснел до ушей.

«В первую очередь, — продолжал Гитович, — стихи пишутся для читающих глазами, то есть для читателей. Горлом тут не возьмешь. Нельзя доверяться успеху у слушателей. Хлопают они вовсе не твоим стихам, а твоей молодости, твоему задору и просто по доброте душевной». Он посоветовал мне годика два не выступать, а только писать. «Стихи по редакциям носить тебе еще рановато. Не надо торопить события. У тебя еще все впереди», — сказал мне Александр Ильич на прощанье. И нужно сказать, у меня хватило ума выполнить его советы. До сих пор я храню как реликвию тетрадочный листок, исчерченный его авторучкой, заправленной зелеными чернилами, — немой свидетель нашего разговора. . .

Позже я познакомился с поэтом Павлом Шубиным, стихами которого зачитывался. Именно он, фанатично влюбленный в литературу, в поэзию, зажигал в нас творческий огонек,

именно он с завидной для его лет мудростью пробуждал желание и умение работать над каждой строчкой стихотворения. Именно его имея в виду как первого читателя моих стихов, написал я «Икону», «Рябину», «Учительницу», «Короля крестей». Кроме названных поэтов большое влияние на меня, на мое развитие, в том числе и поэтическое, оказал мой отец Иван Васильевич Хаустов, горный инженер по профессии. Зная про мое увлечение поэзией, он не уставал повторять: «В этом деле все упирается в культуру». И продолжал: «Все приложится к главному — к культуре».

Выходом в свет моей первой книжки во многом я обязан Александру Прокофьеву. В конце 1944 года я принес ему свою рукопись. По-домашнему простой, из большой бухгалтерской книги он читал мне свои новые стихи. Читал как-то очень скромно, словно был не уверен, хорошо ли у него получилось. А потом на пороге своей маленькой квартиры на улице Халтурина, 7, держа в руке мою рукопись, с присущей только ему интонацией Александр Андреевич говорил: «Прочту. Очень скоро прочту. Как художник художника». Я шел через Марсово поле и все повторял эти слова: «Как художник художника». Да разве одному мне решительно, как умел это делать только он, помог встать на ноги замечательный русский поэт Александр Прокофьев!

Восприятие стихов — процесс сугубо творческий. Чтобы испытывать радость от чтения стихов, как и при их сочинении, необходимо, не скупясь, тратить душевную энергию. К сожалению, приходится встречать молодых поэтов, которые заявляют, что, мол, читать стихи они не особенно любят, любят только их сочинять. Смею уверить: тем, кто равнодушен к поэзии, никогда не удастся написать что-либо стоящее. Воспитать в себе читателя пристрастного, заинтересованного, компетентного — первостепенная задача каждого молодого человека. Открывать для себя явные и скрытые красоты стиха, общаться душою с душой поэта — ни с чем не сравнимая радость.

Не хотелось бы проходить мимо такого вопроса: как и почему рождается стихотворение? Конечно, сколько поэтов, столько же и методов творчества. Я бы даже сказал: сколько есть стихотворений, столько и историй их создания. Но об одном приеме, облегчающем работу, вернее настраивающем на работу, хотелось бы сказать. Речь идет о записной книжке поэта, или о так называемой «системе заготовок». Об этом не-

мало писалось, но несколько в ином плане, чем хочу поговорить я. Совершенно ясно, что поэту, как, впрочем, любому литератору, можно записывать для памяти и пришедшие в голову сравнение, и удачную строку, которая может потом пригодиться. Но не это главное. В первую очередь поэт должен запечатлеть в памяти сердца свое чувство, вызванное чем-либо. Не важно, как вы застенографируете это чувство: в виде поэтической строки, прозаической ли фразы или даже рисунка, — важно то, что эта «заготовка», как провод под током, будет под напряжением вашей души. Вот из таких «наэлектризованных заготовок», нередко уже являющихся замыслом конкретных стихотворений, и должна состоять записная книжка поэта.

Хочется высказать ряд пожеланий, которые могли бы пригодиться молодому поэту в его жизни и работе.

В поэзии то плохо, что хотя чем-то не хорошо. Поэзия не любит середины. Стих не терпит инертности, вялости, «неработающей» строки.

Тот, кто не поднимается в своем искусстве хотя бы на сантиметр, тот немедленно скатывается к подножию холма. Здесь предполагается, конечно, не формальное мастерство, а то, что имел в виду Николай Заболоцкий, когда писал: «Душа обязана трудиться и день и ночь, и день и ночь!»

Писать — наслаждение, печатать — ответственность.

Употребляй слова, значение которых знаешь абсолютно точно. А то может получиться, как у одного поэта-песенника: «Помнишь, в саду городском пел нам с тобой коростель». Если учесть, что «пение» коростеля напоминает скрип несмазанной телеги, и то, что в городском саду невозможно его услышать, — станет ясно, на каком уровне у автора находится знание жизни, а вместе с тем и знание русского языка.

Величие искренности — вот что прежде всего поражает в классиках.

Имей учителей, но помни, что плохо своему учителю оплачивает тот, кто навсегда остается учеником.

Леонид Хаустов

«СТИХИ — ТРУД ПАХАРЯ УПОРНЫЙ»

В декабре 1974 года в городе Смоленске проходило выездное заседание секретариата правления Союза писателей РСФСР, на котором обсуждалось состояние и развитие русской поэзии 70-х годов.

«То, что такое ответственное мероприятие проводится в Смоленске, — говорил председатель правления С. Михалков, — конечно, не случайность. Смоленская земля богата историческими событиями, не однажды она первой принимала удары завоевателей, посягавших на независимость нашей страны. Эта земля прославлена мужественными подвигами советских людей. В то же время Смоленщина имеет богатейшие литературные традиции, связанные прежде всего с творчеством А. Твардовского, М. Исаковского, Н. Рыленкова. К великому сожалению, этих мастеров уже нет среди нас. С тем большим вниманием и заботой должны мы относиться к сегодняшнему состоянию и развитию русской поэзии, замечать новые явления и имена».

Петр Агейченко — среди новых имен в поэзии 70-х годов. И хотя он давно ленинградец и первая книга его вышла в Лениздате, почти все стихи, вошедшие в книгу, обращены к родной Смоленщине.

Ему дорог Смоленский край с его прошлым и настоящим, с неповторимыми красотами природы, с его людьми, их разными судьбами и нелегким крестьянским трудом, с детских лет полюбились ему родные смоленские напевы. Именно так — «Родные напевы» — и назвал поэт свою первую книгу стихов.

А прошлое дореволюционной Смоленщины безрадостно, это безземелье, голод и безграмотность крестьян, это деревни, от которых «остались имена — печальные и памятные звуки».

Лихошки, Слизики. . .
В краю я этом рос,
От подзатыльников спасаясь,
С бабкой древней.
Был глуп и мал,
Чтоб задавать вопрос,
Пошто так называются деревни.

Но в деревнях этих жили удивительные люди, удивительные своими талантами, невероятной тягой к знаниям, неиссякаемым трудолюбием. К ним, к своим предкам, с любовью и

гордостью обращается Агейченко в стихотворении «Памяти бродячих плотников»:

И кто вы есть?
Российское вы чудо!
Не зря своим гордитесь ремеслом,
Когда заводите неспешный разговор
О том великом городе Смоленске,
Где жил художник — дедушка-топор —
Еще задолго до рублевской фрески.

Умение трудиться и ценить труд издавна почитались на Руси. Дед поэта, «на Смоленщине, может, первый ходок», мастерски плел и латал пеньковые лапти и не раз, бывало, говаривал внуку: «Где ступаешь — гляди. Зря да попусту, малый, ты в лаптях не ходи!» По сей день дивится внук дедовой «бережливости той — к той обувке заветной, золотой-золотой!». А как красив и величествен был он, когда, «держа в руках совок, бросал по ветру крутые зерна». «Мой дед был на поэта не похож, теперь я понял: дед мой был поэтом!» Стихи о поэзии труда занимают ведущее место в творчестве Агейченко.

Не минует его поэзию и образ русской крестьянки, образ матери, фронтовой подруги, невесты и вечной труженицы.

Память об отчем доме всегда с поэтом. Никогда не зарастет дороженька «в тот родительский дом, где рябина высокая вся горит над прудом». Потому и книгу свою автор начинает стихами, посвященными самому дорогому человеку — матери.

Четыре части поэмы «Матери» — четыре страницы биографии смоленской крестьянки.

А ты была веселой жницей,
И серп твой — молния в руках.

И теперь каждый раз, как слышит песню в поле «сквозь шум комбайна в поздний час», поэт вспоминает материнские руки, которым все под силу и в привычку: и дров нарубить, и полотно выткать, и черники в лесу набрать.

Все торопилась
Встать из-за стола,
Дать волю им на кухне:
Мыть да стряпать.
А если в гости званою была,
Все думала:
Куда б их лучше спрятать?

Образ этот — самый сильный и самый лиричный в книге.

В годы Великой Отечественной войны смоленская крестьянка явила миру пример мужества и душевной стойкости. Стихи о ней: «Кричат паровозы, как дети...», «Узловатыми пальцами слив набрала...», «Про песню», «Гармонь», как и стихи: «Наполняются росами травы...», «У обелиска Заслонову», «Убивали людей», — еще и еще раз напоминают читателю о тех страшных днях, когда «убивали людей — изощренней нельзя» и «вдоль дорог, в изголовье полей», один за другим вырастали обелиски. Но, несмотря на трагизм содержания, стихи эти утверждают жизнь, оптимизм их очевиден.

Жизнь послевоенной Смоленщины вызвала в творчестве ее певцов новые жанры и темы, новых героев.

Поэзия Петра Агейченко безусловно рождалась под некоторым влиянием поэзии его старшего соотечественника Михаила Исаковского. Большой популярностью Исаковского, как известно, немало способствовали его песни, и то, что поэт в свое время обратился к ним, не случайно. Любимый герой Исаковского — человек деревни, крестьянин. А кто, как не он, является носителем богатых народно-песенных начал?

Песенный характер большинства стихов книги Петра Агейченко, — первое, на что обращает внимание читатель. «Фольклорность его поэзии — явление глубоко внутреннее. Ее истоки — в действительной близости поэта к душе русской деревни», — верно заметил автор предисловия к книге, поэт Л. Хаустов.

Родные напевы — это прежде всего частушки, лирические и плясовые, о любви и измене, то насмешливые: «Проходили девушки мимо окон стайкою, уводили за собой парня с балалайкою...», задорные: «Пара — слева! Пара — справа! Приглашаем наших дам. У кого любовь — забава, я и виду не подам», то грустные: «А что скажу я матери, подружка моя верная? Он был ко мне внимателен, и я открылась первая».

Непременные героини песен и частушек Агейченко — балалайка и гармонь. Выменял он однажды гармонь у цыгана за ячмень. «Четыре ночи и три дня она скулила у меня, рвалась с плеча, рвалась с ремня — и вдруг «цыганочку» запела!» — рассказывает поэт. О гармонии, которая то «плачем заливаётся», то «лихо переходит в пляс», говорит поэт в стихотворении «Подруга», где есть такие строки:

Не знаю, где и родилась,
На чьих коленях петь бралась,

Саратовская ль,
Тульская ль?
Но знаю точно — русская!

Читаешь частушки Агейченко, даже не читаешь, а невольно подпеваешь автору, и так явственно слышишь и мелодию гармонии, и перестук девичьих каблучков, залиvistые голоса парней и девушек и даже будто бы видишь их раскрасневшиеся лица. И становится ясно, что частушки, разные по содержанию, по настроению, по форме, хотя предпочтение автор отдает четырехстрочной частушке, — это то, что составляет стихию поэта, то, что любимо им.

Поэт Петр Агейченко давно горожанин, но «городских» стихов у него немного, да и те проникнуты острой тоской по родным местам. Ему тесно, душно среди каменных громад города, тянет в родное смоленское приволье к «хороводу берез», к реченьке «в сабельном звоне осок», тянет туда, где «роща песен полна», где «ночь в лунный бубен гулко бьет».

Природа у Агейченко настолько органично сливается с ним самим, сопереживает ему, что ее нельзя не воспринимать как одну из тем его творчества. Она отнюдь не статичный фон, — активно вторгаясь в стихи, природа живет в них. Вот «усатый ячмень на боку колосится», а солнце «за ушко потянуло травинку», здесь верба «ждет, все серьги нацепив», а там «травы, как сытые лошади, чешут друг другу бока», «яблоком август хрустит», и, конечно, весна —

Она пришла, пришла. . .
Смотри!
До срока, после срока ли
Капели звонкую кадрили
На ножках — раз-и-два-и-три —
На тоненьких затопали.

Поэт не жалеет красок, описывая природу, здесь все оттенки красного, зеленого, синего, но особенно много в палитре художника Агейченко серебряной краски (серебристая роса, травинки-серебринки, весна сверкает серебряной сосулькой, ива проливает серебряный свет и т. д.), этот серо-серебристый тон удачно подчеркивает «негромкость» природы родного края.

Все, о чем пишет поэт, можно объединить одним словом — родина, и это уже не только Смоленщина, а много шире — Россия.

Александр Твардовский однажды сказал: «В поэзии

нельзя притвориться взволнованным, если не взволнован по-настоящему». Поэт Агейченко рассказывает о России по-настоящему взволнованно.

Конечно, как в любой поэтической книжке, и в этой есть менее удачные строки, менее удачные рифмы, но, прямо скажем, недостатки ее незначительны, книга создает светлое и радостное впечатление. А предшествовал ей упорный труд, годами приобреталась власть над словом.

Поэзия. . .
Я верен ей.
Стихи — труд пахаря упорный.
Они сквозь толщу трудовой
Пробьются к свету, словно зерна.

Но лишь в союзе с талантом поэта труд дает хорошие стихи. Книга Агейченко «Родные напевы» — плод именно такого союза.

Наталья Алексеева

«Я ПОМНЮ»

Так назвал свой первый сборник стихов, изданный в Петрозаводске, молодой ленинградский поэт Герман Цветков. Название достаточно точное и емкое. Что же такое стихи, как не по памяти восстановленный образ мира в точно найденном слове.

Книга рождалась долго, как и многие первые книги сегодняшних молодых авторов. Молодых — по количеству публикаций, а не по паспорту.

Стихи этих поэтов, собранные в сборник, это уже не плод первых впечатлений, не этюды, а картины, сделанные из этих этюдов. Конечно, выполнены они с присущей каждому автору степенью таланта и мастерства. Но это книги скорее о пережитом, чем об увиденном.

Сборник Германа Цветкова еще раз подтверждает ту истину, что биография поэта неотделима от его творчества. «О блокадном, горьком январе» пишет автор в разделе, открывающем книгу, о мужестве и душевной щедрости ленинградцев. Всему этому поэт был свидетелем в раннем детстве. И надо сказать, что ему удается найти здесь свои, незаемные слова:

Я хлеб жую. «Спасибо, Марь Петровна».
В ответ старуха тяжело молчит,
И в печке непротопленной упорно
Она рукой костлявой шевелит.

Тема Великой Отечественной войны — одна из основных в сборнике. С эхом того времени встречается поэт и в мирные дни: «Согнулась ель, как знак вопроса, над рваной крышей блиндажа». Это под Ленинградом на Вуоксе, когда уже «ни прямым, ни перекрестным никто не поразит огнем». А вот совсем далеко от дома, в Карелии, куда поэта забросила журналистская судьба, он встречает землячку:

Сколько лет миновало, милый!
Разузнала: схоронен здесь.
И приехала, а могилы
Только братские, братские есть.

И наверное, прав поэт, когда говорит в издательской аннотации, что тема военного детства живет в нем постоянно.

Ни у детей среди узлов,
Ни у больных старух
Не слышно плача, горьких слов —
Все превратилось в слух.

То недолет, то перелет...
Горит вода огнем.
Но вот уходит самолет,
По Ладоге плывем!

Странные вещи иногда происходят с людьми: вот, кажется, знаешь этот край, эту местность и не раз бывал здесь, но ничего особенного, примечательного не заметил. Но однажды вдруг все видишь в каком-то ином свете и понимаешь, что уже тебе чего-то будет не хватать без этих лесов, проселков, раздольных и спокойных озер.

Так открыл поэт Герман Цветков для себя Вуоксу. Ленинградцам знакомы эти озера на Карельском перешейке, соединенные протоками. Состоялось не просто открытие пейзажа, но проникновение в мир северной природы, когда даже лесная тропа кажется необыкновенной «посреди застроенной земли». Этот край для поэта не туристская экзотика (многие стихи связаны с холодной и дождливой осенью), сюда притягивают его не охотничьи страсти («не рыбак, не охотник я»), этот край для поэта — малая часть нашей большой родины.

Опять меня тянет к Вуоксе.
А ночи теперь коротки.
И тучи вдоль медленных просек
Висят, как большие платки.

.....

Как тихо. Светло. И тревожно.
Знаком перелесками путь.
И незачем и невозможно
С него на другие свернуть.

О содержании раздела, завершающего сборник, говорят уже сами названия стихов: «Репортер», «Иваныч», «Мелиоратор», «Рыбачки». Это стихи о людях, об их работе, об их подчас нелегкой судьбе. Журналист Герман Цветков долгое время работал в газете «Комсомолец Петрозаводска». Карелию он изъездил вдоль и поперек, и не случайно тема дороги — одна из сквозных в сборнике. Но если на Вуоксе состоялось для поэта открытие северной природы, то журналистские встречи помогли ему чутко разглядеть душевный мир нашего современника, занятого обычной работой, внешне неприметного, от которого, как говорит сам поэт, «отодвинулись большие города», и в судьбу его «вплетаются и воды, и небо, и земля, и леса».

Река рванулась, лед сломав...
Мы начинаем нынче сплав,
Нам длинный день — короткий.

.....

А солнце бьет из-за горы
Лучами прямо в спины.
И струнами звенят багры,
Сбивая в плот лесины.

Что можно сказать о поэтике первого сборника Германа Цветкова? Автор чуждается вычурных метафор. Точно найденная деталь, зримый эпитет — вот приемы его поэтической речи: «плоты, макая лбы», плывут, «и, хозяина встречая, бакен пляшет на волне», «сосны пришли по воду». Нельзя не сказать, что иногда вкус и чувство меры изменяют поэту, тогда появляются лосиные рога, которые «бронзовеют жестоко», или такие уже давно запатентованные образы, как жилы рук, «похожие на дельты рек». Хотелось бы и большего ритмического разнообразия в сборнике.

Заканчивая эту небольшую рецензию, хочется верить, что первый сборник Цветкова — это обещание, обещание и новых встреч, и новых открытий.

Валерий Козлин

«МИР НАЧИНАЛСЯ У ИНГУЛЬСКОЙ ХАТЫ...»

Первую книгу поэта всегда берешь с особым волнением, даже, не побоюсь этого слова, трепетом. Что в ней? Есть ли в ней свой, не похожий ни на чей и вместе с тем непридуманный мир? Я хочу подчеркнуть это слово — непридуманный. Есть ли в ней свой, собственный голос, свой тембр, своя интонация? Есть ли в конечном итоге поэт?

Как часто, к сожалению, приходится разочаровываться: пять-шесть бойких стихотворений, приуроченных к очередной моде, и все! Случай довольно типический. Оттого, должно быть, так много авторов, пишущих стихи, и так мало среди них поэтов.

Скажу сразу же: книгу Алексея Полишкарлова «Хлеб и соль»¹ я прочитал с интересом и закрыл последнюю страницу с чувством глубокого удовлетворения. Мне совершенно ясно — дебют состоялся.

Мир начинался у ингульской хаты.
Росла трава, звенели поезда,
Всходила над черешневым закатом
Далекая вечерняя звезда.

Так негромко и неброско начинает возникать этот естественный, как хлеб и соль, мир Алексея Полишкарлова, мир, в котором есть место и тихой горлице, и легендарной тачанке гражданской войны. В этом мире живут и древнерусские рати, отстаивающие свою славянскую землю, и лихие запорожцы, и солдаты Великой Отечественной, и парни и девчата наших гудящих дней. И эта «даль времен» так же естественна, как естественно поэтическое дыхание поэта.

Все мне чудится зов киевлян,
Крик гортанный над нашей землей,
Черный дым, и багровый туман,
И славянские рати — стеною.

¹ Алексей Полишкарлов. Хлеб и соль. Л., «Советский писатель», 1975.

Воочию я, читатель, вижу эти «славянские рати», слышу «конский топот под ливнями стрел», «медный клетот над Киевской Русью».

Вообще следует отметить, что стих А. Полишкарлова всегда добротен оснащен. У него, например, «пробуют темень на ощупь горячие пальцы костра». Или несколько неожиданно, но очень органично в контексте книги:

Дымы над трубами заводов —
Как запорожские чубы.

Хочу отметить, что стихия украинской мовы довольно часто врывается в русскую ткань стиха А. Полишкарлова. И это неудивительно: украинец родом, Алексей Полишкарлов многие годы живет в нашем северном городе, и для него тема русского Севера такая же родная, как тема украинского Причерноморья. В одной книге рядом — «Домик беленький в Николаеве. . .» и «По Неве голубая прохлада. . .», «Запорожская Сечь» и «Соловки», «Причерноморье» и «Ладога». Я даю только названия стихотворений. Поэтический мир, заключенный в них, как и положено в поэзии, образно уместился в одном сердце, для которого Украина и Россия — единая родина.

Это очень примечательная черта книги Алексея Полишкарлова, может быть даже самая главная.

Алексей Полишкарлов в поэзию пришел не вдруг. Первые стихи его появились лет десять назад, а книжка складывалась медленно и трудно. Это в поэзии случай не первый и не единственный. Может быть, именно поэтому, рассматривая первую книгу поэта, я совершенно без преувеличения могу говорить и о зрелости, и о поэтическом мастерстве ее автора.

Вот, к примеру, две строчки:

И плывет над белыми ночами
Золотым корабликом луна.

Пейзажей в книге много. И южноукраинских, и северорусских, и ленинградских. И все они наособинку, все очень конкретны, неповторимы. Это и есть свидетельство творческой зрелости поэта.

Не скажу, что многим, но некоторым стихотворениям рассматриваемой книги присущ острый драматизм, без которого поэзия, сказать по совести, пресна. Вот, скажем, стихотворе-

ние «Соловки», посвященное последнему атаману Запорожской Сечи Ивану Петровичу Калнышевскому, по монаршей немилости заточенному в подземелье знаменитого монастыря.

На душе России, словно камень,
Монастырь кровавый — Соловки!
Морем не отмыть. . .
Не скрыть туманом
Куполов воздетых кулаки.

Прекрасное начало! Можно только поздравить коллегу. И далее это стихотворение получает убедительное развитие, прочно запоминается.

Удача не может не вдохновлять. И говорить об удачах поэту необходимо. Как, кстати, и о просчетах, поэтических издержках.

Так, например, образ: «клин вбивает гусяная стая между летним теплом и зимой» — был бы прекрасным, если б был он самостоятельным. Но, как говорится, увы!

Есть и красоты типа: «И заката малиновый колокол замурлычет напевы пунцовые. . .» Эти «пунцовые напевы» явно не от хорошей жизни.

Да, недостатки в этой книге есть, но не они создают тот главный фон, ту атмосферу, которой дышишь, вступая в глубокий и интересный мир поэта Алексея Полишкарова.

Вячеслав Кузнецов

В МОРЕ — ДОМА. . .

Замечательный советский писатель Петр Андреевич Павленко как-то заметил: «Мне нужно хоть одним глазом видеть или чувствовать рукой теплоту описываемого события». У молодого литератора Александра Бологова при создании первой книги такой нужды не было. Сборник его повестей «Если звезды зажигают. . .» (Лениздат, 1972) — о морях. А сам Бологов в свое время окончил мореходное училище и затем плавал на Севере. То, о чем он рассказывает читателю, не только хорошо ему знакомо и близко, но это часть его жизни, и, судя по тому, как он рассказывает, часть жизни очень дорогая — память сердца.

В книгу вошли две повести — «Если звезды зажигают. . .» и «Товарищи курсанты». Герой первой — юноша, только что

окончивший школу и мечтающий о море. Но для поступления в морское училище необходим стаж практической работы. Он идет мотористом на полурейдовый-полуморской буксир. На борту этого судна и разворачивается основное действие повести. А заканчивается она тем, что герой уезжает поступать в училище. Герой второй повести — курсант мореходного училища. И повествует она о буднях курсантской жизни. Таким образом, вторая повесть как бы продолжает первую, хотя герои в них разные. Впрочем, разные они скорее по фамилиям, а по складу характера, по сути своей очень близки друг другу, можно сказать — из одного теста слеплены. Писателя привлекают личности сильные. Он их даже несколько романтизирует. Хорошо это или плохо? В разбираемых повестях Бологова — хорошо. Потому что сильная личность в интерпретации автора — это не супермен. Сила и волевые качества характеров главных героев существуют не сами по себе, а опираются на прочный, надежный фундамент душевной чистоты, высокой нравственности, развитого чувства гуманизма, внутреннего благородства. Нет, они далеко не ангелы. Ничто человеческое им не чуждо. Знакомясь с ними, невольно вспоминаешь высказывание Ильи Эренбурга: «Мы сложнее, чем о нас думают. Ад и рай — это у Диккенса. А у нас жизнь, все вперемежку». И суть героев повестей Бологова в том, что, какие бы сложные задачи ни предлагала им жизнь, они в большинстве случаев разрешают их, руководствуясь не скрупулезным расчетом, пусть основанным на самых благих намерениях, а биением сердца, душевным порывом, который — и это главное — всегда устремлен к торжеству справедливости, порядочности, к утверждению красоты человека и жизни.

На первый взгляд, у героя повести «Если звезды зажигают...» Димы Лобова больше возможностей выявить себя как личность, так как автор сюжетным ходом ставит героя в обстоятельства драматические, в ситуацию, грозящую смертельной опасностью. Буксир, на котором плавает молодой моторист Лобов, садится на мель. Чтобы спастись, команде в ледяной воде необходимо доплыть до берега, а затем в мокрой одежде по морозу пройти семнадцать километров до ближайшего поселка. И вот в этих нечеловеческих условиях герой повести не только спасается сам, но и, падая и задыхаясь, выносит на себе престарелого обессилевшего капитана. Можно сказать, что Лобов совершил подвиг. Так оно, в сущности, и есть. Но характерно для созданного писателем образа мо-

лодого моряка то, что мы, читатели, не воспринимаем проявленное им мужество как нечто неожиданное, из ряда вон выходящее. Шаг за шагом раскрывая перед нами духовный мир героя, его нравственные устои, писатель подготовил нас к тому, что мы воспринимаем подвиг Лобова как нечто безусловно закономерное и естественное. Мы уверены — он не мог поступить иначе. Было бы противоестественно для его характера, если бы он, рискуя собственной жизнью, не помог даже товарищу.

У героя второй повести — «Товарищи курсанты» — Виктора Головачева нет такой, как у Лобова, возможности проявить всю силу духа. Правда, и он показывает образец смелости, решительности, выдержки, когда вышедшей в залив шлюпке грозит гибель от налетевшего сильного шквала. Но по сравнению с ситуацией, в которой оказался Лобов, это, как говорится, мелочи жизни. И все же, познавая его день за днем в не очень-то богатых подлинно драматическими коллизиями курсантских буднях, убеждаешься, что и он потенциально способен на подвиг. И не только способен, а непременно совершит его, если того потребуют жизненные обстоятельства. Совершит не расчетливо, не взвешивая все «за» и «против», а просто в силу, может быть, даже неосознанной внутренней потребности, веления сердца.

Писатель явно любит своих героями. Именно любит, а не умиляется. Что ж, он имеет на это полное право. Они действительно достойны восхищения. И не потому, что такими их создал автор, а потому, что такими он их подметил в жизни и сумел показать нам полнокровно и многокрасочно. Они наши современники, они живут рядом с нами. В этом притягательность повестей Александра Бологова, и в этом одно из основных их достоинств.

Но только одно. Естественно, что герои повестей живут и действуют не сами по себе. Они постоянно в коллективе. И писатель не назойливо, а полностью сохраняя чувство меры (что далеко не так-то просто: всегда подстерегает реальная опасность переборщить), показывает, как — будь то в море или в кубрике мореходного училища — коллектив влияет на становление характеров героев, способствует формированию их мировоззрения. Ведь и Лобов и Головачев — совсем молодые ребята, только еще начинающие самостоятельную жизнь, постоянно ищущие ответы на бесконечные вопросы, которые эта жизнь не только ставит, но и настойчиво требует незамед-

лительно разрешить. Конечно, как и в любых коллективах, и на буксире и в училище люди встречаются разные: одни лучше, другие хуже, но в основном это единомышленники главных героев, их собратья по духу, по крепкому морскому товариществу. Коллектив в повестях Бологова не безликая масса, на фоне которой так удобно, без лишних затрат творческой энергии, разрисовать исключительность героя. Каждый из экипажа буксира, каждый из курсантов и преподавателей училища наделен индивидуальностью, каждый в фокусе авторского зрения и в меру своих способностей участвует в развитии сюжета. Пожалуй, повесть «Товарищи курсанты» даже излишне перенаселена: на небольшой площади многим действующим лицам явно тесновато, да и читателю не просто быстро сориентироваться в плотном окружении действующих лиц.

Александр Бологов — писатель-реалист. И хотя сюжет повести «Если звезды зажигают...» более динамичен, имеет ярко выраженную кульминацию, а повесть «Товарищи курсанты» — это скорее хроника жизни и быта морского училища, — обе они насыщены воздухом моря, романтикой морской службы. Не той ложной романтикой, где морская жизнь — это якоря, синий воротничок и белые паруса, а романтикой трудной и суровой службы, повседневной работы, которая требует отдачи всех сил, работы, которая лишь на картинке выглядит постоянным красочным праздником, перемежающимися эффектными героическими поступками под аплодисменты, фейерверк и восторженное ликование. И жизнь на буксире, и жизнь в училище показана писателем предельно точно и в главном — в самом духе морской службы, — и в деталях. Показана так, что каждый, кому приходилось или обучаться в каком-либо морском учебном заведении, или не раз выходить в море (не в качестве пассажира, конечно), сразу же окунается в знакомую до мелочей обстановку, где нет приукрашивания подлинной жизни, нет сглаживания острых углов, где достоверны в большинстве случаев и сами характеры людей, и их взаимоотношения, и их язык, их шутки, их юмор, в котором, кстати, оба произведения не испытывают недостатка.

Каждая глава повести «Товарищи курсанты» снабжена эпиграфом. Это отдельные статьи старого морского устава. Заметим, что таким образом писатель подчеркивает преемственность славных морских традиций русского флота. Так вот, последней главе предпослан эпиграф: «Корабль есть дом

служащих на нем». Александр Бологов гостеприимно и радушно приглашает нас в этот дом. Не на праздничный ужин, а так, запросто, в любое время дня и ночи.

Но, как говорится, не хлебом единым жив человек. И не морем одним живет моряк. Любовные коллизии занимают в обеих повестях весьма значительное место. И в проявлениях высокого чувства, в бережном отношении к нему вновь смыкаются характеры Лобова и Головачева. Нет, они не наивные младенцы и не фарисействующие поборники слишком строгих нравов, но им органически претит грубость и пошлость по отношению к женщине. Чувства их чисты и светлы, они суть красоты духовной.

Нужно сказать, что и основные женские образы удались писателю. Искренне симпатизируешь и по-человечески от всей души желаешь всего доброго и молоденькой преподавательнице английского языка в мореходном училище Ирине, находящей в Головачеве родственную душу, и особенно буфетчице буксира Зойке. Судьба Зойки по-настоящему волнует, задевает за живое. Неустроенная в своем внутреннем мире, ищущая, спотыкающаяся, наверняка бы осужденная воинствующими пуританами — такой Зойка встречается с Лобовым, и жизнь для нее вдруг наполняется новыми, неизвестными дотоле красками. . .

Послушайте!
Ведь если звезды
зажигают —
значит, это кому-нибудь нужно?
Значит, это необходимо,
чтобы каждый вечер
над крышами
загоралась хоть одна звезда?

Отношения Лобова и Зойки сложны, запутанны, очень нелегко приходится и тому и другой, чтобы увидеть звезды. Но писатель настолько любовно и подлинно, с сердечной болью рисует образ Зойки, что не сопереживать ей нельзя: для этого нужно быть уж слишком черствым и равнодушным человеком.

Нельзя сказать, что все в одинаковой мере удалось автору в первой книге. Часто можно слышать сетования писателей на то, что, мол, образы положительных героев создавать неизмеримо сложнее, чем отрицательных. В справедливости подобных утверждений не раз приходилось усомниться, но тем не менее мнение такое бытует. Не знаю, как работал Бологов над образами, сужу по результатам. А результаты говорят

о том, что именно отрицательные персонажи у молодого писателя подчас наиболее схематичны, статичны, однозначно запрограммированы. Таков, например, моторист буксира Шило — эгоист и трус. Читателю нет необходимости распознавать его. Он приходит в повесть уже готовеньким, заранее поджаренный автором на огне презрения и отвращения. Что ж, в данном случае брезгливость автора вполне понятна, но это ни в коей мере не снимает с него ответственности за ходульность образа.

Встречаются на страницах повестей и персонажи, давно знакомые по другим произведениям, наделенные всеми атрибутами добротных литературных штампов.

В этом отношении наиболее характерен преподаватель училища Веретэ. Вполне допускаю, что у него, возможно, был даже реальный прототип, но все же, честно говоря, образ такого чудаковатого, строптивного и одновременно добродушного, с наивной хитрецей ученого весьма ощутимо пахнет литературным нафталином.

Эти, как говорят, издержки производства особенно досадны, потому что в целом книгу «Если звезды зажигают. . .» отличает правда жизни и правда характеров. Читаешь ее увлеченно, с неослабевающим интересом и радуешься, что в свите Нептуна появился еще один достойный оруженосец и певец.

Андрей Адашевский

СТИХИ ЕСЕНИНСКОГО КРАЯ

Еще один новобранец поэзии призван из рязанской земли. Его родина — древний русский город Касимов, что стоит испокон веков на берегу Оки выше села Константинова, «ветрами оцелованный, Окою окольцованный». Это цитата из стихотворения «Мещерский городец», давшего название первой книге Геннадия Морозова.¹ Первую книгу и редактировать и рецензировать нужно особенно бережно, если автор ее человек способный и самобытный. А о Морозове сказать так можно с полным на то основанием. До выхода первой

¹ Геннадий Морозов. Мещерский городец. «Современник», 1974.

книжки он печатался в журналах «Волга», «Москва», «Нева», «Огонек», ленинградских газетах. Однако его стихи как бы напоминали фрагменты какой-то одной большой картины. Картину, видимо, смогла нарисовать только книга. В стихах Морозова не было полемичности, формального поиска, исторических ретроспекций, современной лексической оснастки, без которых не могут обойтись иные молодые поэты. Это и плюс и минус автора «Мещерского городца». Минус — потому, что волей-неволей он обрекал себя на определенную тематическую узость, заведомо сужал поэтический горизонт. Плюс — потому, что это давало ему возможность неоглядно петь о том, о чем он не петь не мог.

За последние годы много написано стихов о деревне, о сельской стороне. На фоне их «Мещерский городец» стоит несколько особняком. У Морозова нет любования стариной, а есть любовь к старинной и постоянно обновляющейся земле. Он сумел просто и естественно синтезировать такие понятия, как русское раздолье, родная речь, память о войне, новые приметы в деревне. Плавность, гармоничность свойственны его лирике. Даже буйство молодости он стремится показать средствами тактичными, экономными, оставаясь в русле свободной, но негромкой песни. Небо у него «распахивает свой ворот», роса «студит горячие виски», землекопы поднимают почти до солнца «блестящие лица лопат».

В стихах Морозова пространство обвенчано с историей. Но история в лицах и действии ему пока недоступна — она еще статична и говорит голосом природы. «Русская радость простора» открывает поэту душевную щедрость людей, родных и близких не по степени родства. «И стоишь ты — былинная — белый снег в волосах» — так он величает героиню стихотворения «Рязанские вдовы». А в «лесной Мещерской стороне» «ветры сказывали сказки, крестьянки пели о войне». Этим простым словам о недавно пережитом веришь искренне. Они впечатляют больше, чем рассуждения поэта о «сусанинской стати» и чертах легендарного Ильи Муромца. Минувшая война для поэта тоже является уже былинной, сквозь нее он «про-растал» в детстве.

Народная песня всех времен — полноправная героиня стихов Морозова. Порою он сбивается на частушку, пишет в частушечном ритме и пытается пробраться через эту форму к большому содержанию, играя ритмом и лексикой, но частушечные мотивы залетают в иные его стихи порою случайно и

воспринимаются как строительный мусор. Например, в одном из самых удачных стихотворений сборника, «Я полюбил простую песню», вместе оказываются слова «конопатый» и «лик». Лик становится конопатым. Смещение стилей разного порядка у Морозова пока не сулит художественных открытий. Однако в том же стихотворении приковывают взгляд и обостряют слух такие строки:

И словно колокола зык
в заокских дальних поселеньях
крутой
народный наш язык!

В стихотворении «Приметы», радуясь добрым переменам деревенской нови, Морозов стремится увидеть не одни лишь внешние черты, постичь которые немудрено. Он делает акцент на том, что «даже язык обновился, разительный русский язык».

Как же обновился язык самого поэта, поэтический язык его произведений? В последних стихах его вдруг прозвучала есенинская интонация, на первый план выступили есенинские образы. В стихотворении «Косовица» неожиданно в центре оказались слова: «а цветы, как дети, цедят поднебесье», а выше строфой о поэте «заголосило» совсем по-есенински «раздолье». Однако здесь урок Есенина впрок не пошел. Зато в другом стихотворении, начатом, правда, немного неуклюже («самолетом везомый, долетел, как дошел»), Морозов сумел не только взять этот урок, но и сдать первый экзамен в школе традиций:

Небо было высоко,
а сползло на глаза.
Как на родине спится! . .
Дождь — как шелест газет. . .
Семицветною спицей
солнце вяжет рассвет. . .

Семицветную спицу-радугу похвалил бы и Есенин, прочитав эти строки. Берет поэт уроки и у Никитина, и у Кольцова. Пока — самые первые! В стихотворении «Осень моя, осень. . .» читаем: «Отлетело лето, преломился колос». Это хотя и поэтично, но пока не свое. Совсем из другой поэтической школы последние две строчки стихотворения «Осень на родине»: «И глас пророческий поэта сквозь дым метельной кутерьмы». Трудное это дело — на традиционно биографическом материале осуществить свою тему без невольных заимствований и влияний. И тесно на этом пути и просторно одновременно.

Николай Сотников

СОДЕРЖАНИЕ



Стихи участников VI Всесоюзного совещания молодых писателей:	
Анатолий Белов, Валентин Голубев, Владимир Головяшкин, Григорий Калужный, Евгений Колюхов, Светлана Молева, Николай Севастьянов	5
Диана Куваева. Мы ведь с одной планеты. <i>Повесть</i>	24
Алексей Любегин. Монумент. Доброта. Пастух. <i>Стихи</i>	54
Виктор Парфенов. Топовцы. <i>Повесть</i>	56
Владимир Беспалько. Окраина. Ранняя весна. 9 мая. «Белила мазанку старуха...». <i>Стихи</i>	114
Николай Коняев. Плывите, кораблики. Старухи. <i>Рассказы</i>	117
Юрий Федоров. Возвращение. «Засыпают в городе дома...». «Люди смотрят в окно...». <i>Стихи</i>	126
Константин Баранов. Супешник. Блокадной зимой. <i>Рассказы</i>	129
Николай Шумилин. Петрищево. <i>Стихи</i>	136
Валентин Соболев. Учитель мореходных наук. <i>Рассказ</i>	137
Андрей Романов. Выпускная баллада. <i>Стихи</i>	149
Анна Смирнова. Дикарка. Баиха. <i>Рассказы</i>	151
Владимир Кузнецов. Зрелость. <i>Стихи</i>	155
Леонид Замятнин. Такой белый снег. <i>Рассказ</i>	157
Александр Беляков. «Так неужели я совсем чужой...». «Я приеду и сразу оденусь в гражданское...». <i>Стихи</i>	168
Николай Шумаков. На берегу. <i>Рассказ</i>	170
Анатолий Жульков. «Где-то между Брянском и Орлом...». <i>Стихи</i>	200
Наталья Ивасенко. Признание. Потому что у меня Алешка. <i>Рассказы</i>	201
Валентин Мельников. Главное. «Твое лицо...». <i>Стихи</i>	210
Виктория Вартан. Корот. Тост. <i>Рассказы</i>	212
Галина Букалова. Баллада о моей фотографии. Камчатка — Ленинград. Портрет. <i>Стихи</i>	222
Валентин Романенко. Под открытым небом. <i>Рассказ</i>	225
Татьяна Мартынова. «Я неплохо живу...». «Весь день изнывая...». <i>Стихи</i>	243
Николай Ивановский. «Не скосить нас саблей острой...». <i>Рассказ</i>	245

Наталья Гранцева.	«Торжественная лирика парада...». «Огибая во- ронки и ямы...». «Не назначай ни улицы, ни дома...». «Не слишком ли тяжелая удача...». <i>Стихи.</i>	258
Нина Катерли.	Гроза. Осень. <i>Рассказы.</i>	261
Александр Орлов.	Ассенизатор. <i>Рассказ.</i>	264
Петр Железнов.	Оранжевые мандарины. <i>Рассказ.</i>	269
Юрий Тейх.	Миниатюры. <i>Стихи.</i>	278
Эмилия Кундышева.	В пятницу к маме. <i>Рассказ.</i>	281
Владимир Шалыт.	Тишина. «Если все невзгоды отлетели...». <i>Стихи.</i>	294
Алексей Ларионов.	Корифеи и хористы. <i>Повесть.</i>	296
Виктор Романов.	Три рассказа	349
Александр Матюшкин		
-Герке.	Маленькие рассказы	354
Анатолий Надь.	Юморески	358
Нина Аптер.	Рассказы	363

СТАТЬИ И РЕЦЕНЗИИ

Разговор с молодыми. <i>Леонид Хаустов</i>	367
«Стихи — труд пахаря упорный». <i>Наталья Алексеева</i>	374
«Я помню». <i>Валерий Козлин</i>	378
«Мир начинался у ингульской хаты...». <i>Вячеслав Кузнецов</i>	381
В море — дома... <i>Андрей Адашевский</i>	383
Стихи есенинского края. <i>Николай Сотников</i>	388

Альманах

МОЛОДОЙ ЛЕНИНГРАД

Л. О. изд-ва «Советский писатель». 1975 г. 392 стр. План выпуска 1975 г. № 35. Редактор *П. И. Кочурин*. Художники *Н. И. Васильев, О. В. Титов, В. Ф. Алексеев, Н. А. Нефедов*. Худож. редактор *А. Ф. Третьякова*. Техн. редактор *М. А. Ульянова*. Корректор *И. Г. Клейнер*. Сдано в набор 20/VI 1975 г. Подписано в печать 20/X 1975 г. М 24689. Бумага 60×84¹/₁₆. Печ. л. 24¹/₂ (22,78). Уч.-изд. л. 20,31. Тираж 30 000 экз. Заказ № 695. Цена 89 коп. Издательство «Советский писатель». Ленинградское отделение. Ленинград. Невский пр., 28.

Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградская типография № 5 Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Ленинград, Центр, Красная ул., 1/3.

89 к.

7

С СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ